

ВЛАДИМИР  
ОГНЕВ

Югослав-  
ский  
ДНЕВНИК

СП







**Владимир  
Огнев**



**Югослав-  
ский  
Дневник**

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»  
МОСКВА 1975



В «Югославском дневнике» Владимир Огнев рассказывает о своих поездках по стране, о встречах с самыми разными людьми. Действие происходит в наши дни, но тема отгремевшей тридцать лет назад второй мировой войны явственно звучит в книге, бросая ответ на описываемые события.

© Издательство «Советский писатель», 1975 г.



*23 сентября 1970*

В Белграде я был в полдень московского времени. Тихий сентябрьский день томился желтым и синим за высокими стеклянными стенами аэропорта. Это чудо современной строительной техники вызвало у меня странные ассоциации: казалось, в аквариуме поменялись местами «внутри» и «снаружи». Гигантские рыбы проплывали — почти беззвучно отсюда — за стенами, а я смотрел на них изнутри. Их плавное скольжение входило в ритуал иллюзии так же бесспорно, как синие козырьки пластика в верхней части стен, где дробились и стихали солнечные лучи, как монотонный шум фонтана за моей спиной (фонтан отражался в зеркале, и я видел дрожащий от холодных струй цветной пол из цветной, бело-голубой мозаики). Я сидел на кожаном диванчике красного цвета, рядом с немцем, который внимательно читал бедкер. Время от времени раздавался удивительно мелодичный и спокойный звоночек: знак внимания, и голос невидимой женщины, такой же спокойный и с легкой хрипотцой, еще более усиливающий впечатление, что она только что пробудилась ото сна и еще не вполне пришла в дневное состояние, произносил — сначала по-сербски, потом по-немецки, потом по-французски — сведения об очередном рейсе.

Меня клонило в сон. Встал я рано, устал от полета, одет был теплее, чем следовало (в Москве было холодно),



и разница температур, перепад в давлении, нервное состояние — самолет на Загреб опаздывал, говорили надолго, — все это как-то притупило чувство радости нового, которое обычно испытываешь в путешествиях, мучительно хотелось лечь и закрыть глаза. Иногда я забывался, убаюкиваемый ровным и приглушенным шумом голосов, шарканьем ног по блестящему мрамору пола. И тихой музыкой. Она ненавязчиво звучала откуда-то сверху и стихала, обрываясь за секунду до того, как дрогнет сигнал колокольчика, и снова начинала свой вкрадчивый, интимный монолог. Когда я открывал глаза, я видел, что черные негры с ярко-желтыми чемоданами говорили о чем-то с толстым человечком в шортах, который по-прежнему размахивал руками перед своим лицом, будто сигнализировал азбукой Морзе проплывающим за стеной самолетам, видел, как прогуливалась высокая молодая женщина в розовом шелковом костюме, с пепельно-серым пуделем на руках, видел, как менялись буквы на световом табло с цифрами рейсов и начальными буквами авиакомпаний.

Сначала я боялся пропустить свой рейс и то и дело подходил к девушке за пластиковой стойкой с надписью: «Information», но потом, присмотревшись к пассажирам, заметил, что ближайшие три рейса можно различить по цветным авиакарточкам, посадочным талонам, которые здесь носят в нагрудном карманчике. Зеленые, «наши», на рейс Анкара — Белград — Франкфурт, торчали на груди у многих. У моего соседа по диванчику была красная. Теперь он изучал какую-то карту, делая на ней пометки. Я вытащил из кармана зеленую блестящую картонку и сунул ее в кармашек. Немец, в это мгновение оторвав свой взгляд от карты, улыбнулся мне и подмигнул, как бы говоря этим, что он и не сомневался в моем рейсе и нечего, мол, было играть в прятки — с ним это не проходит... Мне стало неприятно, я сделал вид, что не заметил амикошонства, и, придав своему выражению сосредоточенную строгость, принялся рассматривать проходящие мимо меня розовые брючки клеш.

— Вы говорите по-английски? — спросил немец.

Я посмотрел на него не сразу, давая понять, что вопрос был не подготовлен нашими отношениями, и поднял брови. Потом с достоинством ответил по-немецки:

— Вы обращаетесь ко мне?



Пауза моя была, честно говоря, продиктована не только соображениями гордости,— я мысленно составлял фразу. Мое знание немецкого далеко не идеально. Но немец не собирался, как видно, тратить дорогое время на условности. Он обрадованно залопотал что-то, из чего я понял только следующее: «Почему же я сразу не спросил господина по-немецки? Ах, это гораздо проще... Английский я знаю достаточно, но так, разумеется, проще... Я видел, как господин читал «Правду». В прошлом году я наконец был в Москве. Огромное впечатление. Хотите курить? Нет?.. Да, это плохие сигареты, честно говоря. Дома я курю получше. Но здесь...» Он отогнал в сторону дым, как будто тот мешал видеть меня, и продолжал, твердо выговаривая слова, как диктуя:

— В России по-прежнему говорят о войне. Прошло столько лет, но когда речь заходит о Германии — я живу во Франкфурте,— почему-то говорят только о фашизме и Гитлере. Меня это удивляет. Если бы мы, немцы, были в плену памяти,— о, конечно, кошмарно все, что было в то время! — разве бы мы достигли того, что имеем?

— А что вы имеете? — спросил я все еще хмуро.

— Я имею в виду стандарт. Стандарт. До войны я не жил так хорошо, как сейчас. И мы, немцы, вообще не жили так хорошо.

Он посмотрел на меня выжидающе, с интересом. Лицо у него было круглое, не немецкое, виски седоватые, зубы хорошие, загар преотличный. Одет немец был прилично, но как-то странно было видеть на новом твидовом пиджаке кожаные налокотники и кожаную обшивку на бортах. В голубых глазах немца мелькала смешинка и сразу пропадала, как только он изготавливался слушать.

— Вы воевали? — спросил я.

— Да. Конечно. Как все.— Немец сморщил нос и потер лысину.— Я был сейчас в Дубровнике. В войну наша часть стояла в Идрии, Словения. Но туда я не поехал. Я хотел, очень хотел, но не поехал.

— Почему?

Вопрос мой, видимо, удивил немца. Во всяком случае, такое выражение появилось на его широком лице. Немец потер лысину и сказал тихо:

— Я думаю... я полагаю, что это неморально.

Я внимательно посмотрел в его глаза. Смешинки в них не было. И вообще в круглом лице его было что-то расте-



рянное. Только теперь я понял, почему немец казался моложе своих лет: веснушки! По обе стороны носа разбегались светлые по загару веснушки. Я спросил:

— Неморально потому, что жителям Идрии есть что о вас вспоминать?

Сказал и почувствовал грубость, ощутимую и в немецком. Попытался улыбнуться, но мышцы лица не слушались — то ли не прошла еще настороженная неприязнь, то ли просто давала знать усталость.

— Неморально,— упрямо повторил немец и вздохнул.

Мелодично прозвенел колокольчик, и женский голос с прежней зевотцей пригласил на рейс Анкара — Белград — Франкфурт через Загреб. Я встал и откланялся. Немец тоже встал и порывался еще что-то сказать, но я его не понял и, кивнув еще раз, быстро направился к выходу на перрон. В стеклянном кубике холла блестящие турникеты разделили нас с обладателями красных карт, среди которых я заметил и «моего» немца. Очевидно, его рейс был первым, так как их раньше выпустили на перрон. Я смотрел на розовые брючки, пепельный пуделек лаил через розовое плечо хозяйки и тянулся назад, за ним шел толстячок в шортах и тирольской шляпе с пером, он тащил два баула и о чем-то на ходу переговаривался с «моим» немцем, который нес нечто большое и плоское в синей оберточной бумаге,— вероятно, картину. Стало совсем жарко. Солнце слепило турникеты и алюминиевую обшивку дверей, которые автоматически открылись, пропустив обладателей красных карточек, и теперь молчаливо ожидали очередной команды. Слева, за стеклянной стеной, отделявшей холл от зала, я видел бар, девушку с подрисованными, громадными глазами, которая разговаривала с неправдоподобно живописными неграми, не расстающимися со своими теперь казавшимися оранжевыми чемоданами. За столиками сидели молодые люди с женскими прическами и девушки, похожие на узких мальчиков. И те, и другие сидели так, что это смахивало на то, что они лежат. Движения их были ленивыми и очень плавными, как в замедленной съемке кино. Мне снова захотелось спать. Возбуждение, овладевшее мной при начале посадки, вновь уступило место расслабленной сонливости. Опять играла тихая музыка, на этот раз я знал мелодию — это был вальс из знакомого кинофильма: пронзительная тоска, и нежность, и лихая готовность ко

всему, что еще сбудется, чему суждено сбыться... Почему-то мне показалось, что эта музыка обо мне, что я тоже ожидаю чего-то особенного, не просто посадки на самолет, и стою вот так, зажатый турникетами, пакетами, немками, воспитанно говорящими вполголоса на языке, сразу ставшем непонятным, как только я потерял интерес к предмету разговора, зажатый в этом горячем стеклянном кубе, отрезавшем меня от мира, где скользят огромные хвостатые рыбы, где ветерок треплет полосатые флажки, локоны стюардессы в беспощадной мини-юбке — она стоит у трапа самолета и, подняв лицо к солнцу, загорает...

«Неморально...»

Это слово всплыло откуда-то из глубины, спокойной и не отзывающейся чувством.

Самолет, на котором мы летим, кажется, «дуглас». Я помню такие с войны. Ну, не совсем такие, похожие. Теперь все не такое. «Стандарт» не тот, как сказал бы «мой» немец. Подымались по трапу мы со стороны хвоста, сильно пригибаясь в дверях. Кабина полупустая. Опускаюсь в желтое кресло у окна. Кресла цветные: обивка оранжевая, желтая, красная чередуется по ряду. Через проход две старушки в очках, суетливые, все что-то снимают с себя, опять надевают, лопочут. Осматриваюсь: обивка стен из пенопласта кремово-белого цвета, окошки более частые, чем у нас, по борту, вертикально-продолговатой формы, с чуть закругленными углами. Тронулись мягко. Взлетная дорожка очень далеко. Взлет незаметный, в течение секунды, крутой, но уши не заложило. Через три минуты — горизонтальный полет. Стюардесса с непроницаемо красивым лицом, таким красивым и таким непроницаемым, что кажется неживой, стоит с ярко-желтой маской в руках — кислородная. Постояла, ушла, задернув шторку. Почему они так тщательно задерживают ее? На всех уважающих себя авиалиниях принято так вот аккуратно задерживать шторку. Звук мотора похож на шум ветра по ветровому стеклу автомашины. Хорошо. Почти неподвижен мой столик из белого пластика на прочной металлической поддержке... Через проход слышна воркотня старушек. Теперь они выгребают мелочь из карманчиков своих туристских курточек и складывают из нее горку на свободном сиденье красного цвета. За мной —



розовые брючки, пепельный пудель и коротышка в шортах. Оказывается, они муж и жена. Или что-то в этом роде. Может быть, начальник какого-нибудь департамента или отдела и секретарша. Откуда мне знать? Но коротышка ревнует. К кому — можно только догадаться: там, в Дубровнике, на курорте, что-то было не так. Он так и шипит длинноногой спутнице: «Не так, не так, как надо... Нехорошо». Они препираются из-за какого-то «адресе». Ну, ясно, розовые брючки в обтяжку взяли какой-то адресок. Я пытаюсь подремать, но сон не идет, тем более что до Загреба близко. А тут еще новость: отодвигается шторка, и появляется лучшее улыбка лицо... «моего» немца. Вот те и раз! Он машет мне рукой и просит разрешения присесть. Пожалуйста! Все объясняется просто: он летит первым классом, а я — туристским. Красный лакированный талон в его нагрудном карманичке означал тот же рейс, но более привилегированное положение. Теперь догадался прочесть надпись на передней стенке нашего салона: «Prednia kabina je za putnike prve klasse». «Мой» немец представился: «Петер Майер». От него разит дорогими духами. Он предлагает что-нибудь выпить и довольно наглядно рисует пальцами, густо усеянными веснушками, форму фляжки и даже дозу предполагаемого разврата. Доза, даже нарисованная, не выходит за границы здравого смысла. Фантазия у Петера небогатая, решаю я и, отказавшись от более тесного контакта, спрашиваю:

— Итак, мы остановились на Словении, Идрия, одна тысяча девятьсот сорок... — Тут я сделал вопросительную паузу.

— ...четвертый год. Только четвертый. Вообще там были не мы, итальянцы. Нас, немцев, было мало. После измены Италии, я имею в виду выход из коалиции, — поправился Майер, — наша часть заняла район Идрии... О, это Швейцария! Богатый, культурный край. Люди вполне разумные. Но в лесах накопились партизаны. Их много, и воевать трудно. — Он отдергивает рукав пиджака и показывает след раны. — Мне пришлось ходить по деревьям патрулем. Все-таки я принесу...

Немец вскочил и шмыгнул за занавеску. Старушки насыпали довольно высокую горку из монет и теперь сортировали их и пересчитывали. Над их головами в сетках для багажа лежало много пакетов, пакетиков, коробок

и коробочек. Почему-то старушки стояли за предельную интеграцию своего багажа. Сзади послышалось учащенное дыхание и сопение. Поправляя ремень, я покосился на коротышку — он плакал. Плакал самым настоящим образом, уткнувшись в носовой платок. Розовых брючек рядом с ним не было.

Майер появился с плоской бутылочкой коньяку и двумя мини-стопочками из серебра. Пиджак он оставил и был в белой рубаше с засученными рукавами и полуспущенным галстуком.

— Не будете? Никак? — он вздохнул и выпил сам. — Мне не в чем винить себя. Я исполнял приказ. И, когда мог, не стрелял. Или стрелял не прицельно. Когда они, партизаны, не могли причинить нам зла. Но согласитесь — бой есть бой. И тогда думаешь о себе...

Майер сосредоточенно тер лысину. Лицо его выражало крайнюю степень усталости и нежелания вспоминать прошлое. Прошла женщина в розовом, прижимая собачку к щеке, лицо ее было задумчиво, пальцы машинально щекотали пуделиную шейку. Сопение сзади прекратилось. Майер на минуту задержал рюмку в руке, пока женщина прошла мимо нас, и выпил.

— Вы купили картину? — спросил я.

— О, это не то слово. Я коллекционер. У меня особая коллекция. С годами ей не будет цены.

— Модерн?

— Секрет фирмы! — Майер засмеялся. Он уже пьянел, но, в отличие от большинства людей, которых мне приходилось наблюдать в подпитии, он — как бы это сказать? — становился не лучше, не раскритее. Он явно хитрил, петлял, губы его складывались в неприятную линию, а в желтоватых зрачках появилось что-то злое. — Танцуют! — подмигнул он мне, указывая на бордюр вдоль борта салона, под самыми сетками: розовым пером нарисована длинная цепочка танцующих «коло» — югославский народный танец.

Вышла стюардесса с подносом, и конфеты на нем были разноцветные — красные и зеленые облатки. Майер взял красную.

— Приближаемся к Загребу.

Лаконичное объявление стюардессы привело в действие Майера. Он подтянул галстук, встал и церемонно попрощался со мной.



— Очень был рад, господин журналист. Вот моя карточка.— Майер протянул мне визитную карточку.

— Извините, у меня нет с собой,— сказал я и сделал вид, что не заметил протянутую руку.

Майер ушел, а карточку я изорвал на мелкие клочки и сунул их в пепельницу.

...В Загребе я еще раз увидел Майера. Он покупал журналы пачками, что-то тут же искал на их страницах. Я удивился, что он вынес картину и передал ее какому-то типу в дождевике. В Загребе шел монотонный дождь.

Я прошел к стойке для взвешивания багажа и опустил чемодан. Здесь меня должны были ждать. Людей у стойки не было. Вообще в зале было не много людей,— видимо, все рейсы уже прошли. Майер стоял ко мне спиной. Женщина с пуделем стряхивала зонт. Коротышка говорил ей что-то быстро и торопливо. Она не отвечала. И тут я увидел картину, обернутую плотной синей бумагой. В таких обертках в детстве моем продавали сахар в головах, а потом я видел такую бумагу на пачках финской бумаги «верже». Картина стояла рядом с вещами встречавшего Майера «типа», рюкзаком, баулом, другой картиной, или чем-то такого же рода, плоским, соответственных размеров. И завернутым в такую же синюю бумагу. «Поменяют?» — подумал я...

В это время дверь бесшумно раздвинулась и в зал вбежала девушка в черном лакированном плаще, стриженная под мальчика. Голова ее блестела от дождя, макси-плащ был распахнут, под ним вельветовые брюки, длинный свитер перетянут широким ремнем ниже талии.

— Здравствуйте, вы — Огнев, я знаю, я опоздала, извиняйте, это очень хорошо, пойдемте, вы первый раз? Меня зовут Смилька.— И крепкое рукопожатие. Поток слов без паузы, неверные ударения в русском произношении, веселое радушие и размашистые жесты...

— Я могу помогать? Что вы! Хорошо, очень хорошо! Есть машина? Да, да, нет, нет... Такси. Здесь. Нет, там. Очень хорошо!

Мы, смеясь, бежим под дождем к такси, шофер предусмотрительно открывает дверцу.

— Здравствуйте, товарищ (по-русски).

Мы сидим на заднем сиденье «мерседеса». Дождь пропустил всюю. Шофер оглядывается по сторонам. Оказывается, кто-то поставил свой «пежо» так, что мы не мо-

жем выехать из ряда машин. Надо подождать. Смилька хохочет и легонько толкает меня в бок:

— Нет проблема!

Я смотрю по направлению ее пальца. «Тип» тащит картину, накрыв ее плащом и изогнувшись. Майера с ним нет. Оказывается, «тип» и загородил нам путь. Он прислонил картину к крылу своего «пежо», торопливо отпирает дверцу, пытается втащить картину, торопится, запутывается... Бумага цепляется за ручку дверцы и с треском разъезжается. Я потрясен, то, что я вижу, ошарашило меня. «Тип» заталкивает наконец картину.

— Извините,— говорю я Смильке растерянно. Она что-то говорила.

Мы несемся по скользкому шоссе. Смилька щебечет, но я отвечаю невпопад.

— Вы устали? — наконец останавливается она.

*24 сентября*

Тяжелая ночь. Видно, поднялось давление. Какие-то кошмары. Проснулся среди ночи. Я на пятом этаже отеля «Интернационал». Бледное море огней до самого горизонта — автомобильная трасса. Машины идут и ночью. Гул сливается в сплошную, ровную нитку звука. Я лежу и смотрю в белый потолок. В номере серый полумрак, как будто светает. В сотый раз вспоминаю разорванную упаковку картины и то, что я увидел... Это страшно. По кремовому фону черная — китайской тушью — рука скелета, ослабившийся череп, чуть обтянутый кожей. Труп лежит в гробу, но не один, голова, чуть вывернутая, приходится на колени другого трупа, — бесстыдная оголенность смерти. Концлагерь. Номера на руке и груди.

Наверное, у Майера много этих листов, а рамка только предохраняет углы и края. Бумага тонкая, пожелтела. «У меня особая коллекция. С годами ей не будет цены...»

Я вспоминаю свой сценарий о немце, следователе гестапо. Он у меня читал Гердера. А режиссер, молодой литовский режиссер А. Араминас, сказал: «Мы нашли другое решение, он будет собирать знаете что? Плачи...» В фильме «Ночи без ночлега» теперь есть сцена: крутится иголка патефона, заело... Вводят героя на допрос. Он смотрит на пустой круг, слышит скрип иглы. Следователь выходит из задней двери, улыбается, блестят очки, здороваются, поправляет иглу. И мы слышим запись литов-



ского народного плача. Это была хорошая «находка»... Тогда я не думал, как она близка немецкому духу коллекционирования. И духу порядка. Рисунки, сделанные в концлагере, нужно пронумеровать, собрать, классифицировать. Им «с годами не будет цены»... Из плачей и рисунков смерти рождается искусство каталога, наука холодного изучения слез и горя.

И еще я думал о том, что уже на белградском аэродроме началась эта странная фантасмагория «антимира»... Рыбы самолетов плавали снаружи, облака, и ветер, и акации, чуть тронутые желтизной, и девушка-стюардесса, подставившая солнцу лицо, и локон, треплемый на ветру, и рокот моторов, и самолеты, пахнущие расстояниями,— все это было снаружи огромного стеклянного куба, в котором звенели сказочные колокольцы, и все было ненастоящее, игрушечное, играющее в какую-то игру, разбуженное ото сна и готовое снова уйти в сон — с пепельной собачкой и длинноногой, розовой женщиной с улыбкой Джоконды, маскарадные негры с ярко-оранжевыми чемоданами, воркующий немец с веснушками, вальс из знакомого фильма...

И еще раз «антимир»: красные лакированные карточки «*prve klasse*», демонстрирующие «стандарт» Петера Майера («До войны я не жил так хорошо, как сейчас. И мы, немцы, вообще не жили так хорошо»).

И в третий раз «антимир»: Петер Майер, который считает «неморальным» лишь посещение Словении, района Идрии, партизанского края, где не все люди оказались «благоразумными»...

Или правда мы живем в мире абсурда?

*24 сентября (вечер)*

Вчера по прибытии в отель Смилька:

— Ну вот, все хорошо. Комната на пятом этаже, ванны нет, номер хороший, без особых удобств, отдыхайте, вечером придут Михалич и профессор Флакер, потом будет программа, деньги у меня нет, хорошо, проблема нет, отдыхайте, спокойная ночь!

И, помахав мне ручкой, повернулась на каблуках тяжелых, модных туфель, в которых, наверное, было бы удобно ходить на Луне.

Вечером я спустился в холл и увидел Михалича и Флакера. Славко Михалич, темпераментный, жестикули-

рующий широко, как итальянец, худой, с большим носом, в роговых очках, полон простоты и ненаигранного обаяния. Хороший поэт.

Александр Флакер — типичный профессор. Очки на середине короткого носа, усы, рассеянная улыбка. Умница необычайный. Крупный знаток славянских литератур, в первую очередь русской советской литературы. Флакер молод, но мне долго не давалось предложенное им «ты». Как-никак европейская знаменитость. Сколько он сделал для пропаганды нашей литературы, трудно даже пересчитать. Только за последние несколько лет им подготовлены и изданы четыре объемистых тома: «Двадцатые годы. Критика и манифесты», «Три тома русского сказа», куда вошли действительно лучшие произведения 20-х, 30-х, 40-х, современный рассказ. Он познакомил читателя с прозой Тендрякова, Айтматова, Нагибина, Аксенова и других авторов, ставших потом популярными здесь. Флакер не только комментатор, составитель и редактор, он не чурается и переводить сам. В Загребском университете Флакер ведет кафедру русистики. В приложении к журналу «Книжевна смотра» («Книжное обозрение»), который он издает совместно с другим редактором, его учеником, под названием «Уметност речи» («Искусство слова»), помещена в 1969 году работа А. Флакера «О реализме». Мне приходилось читать доклады Флакера о Горьком и Шолохове, исследования о стиле, композиции и жанре современной прозы, о советской литературе и ее истории. С громадной любовью и пиететом говорит профессор Флакер о русском искусстве вообще, о его вкладе в мировую культуру.

И вот я говорю с Флакером и Михаличем в холле гостиницы «Интернационал», и мы составляем «программу». Все республики охватить невозможно. Цель — изучение поэзии, связь ее традиций с эпохой Сопротивления фашизму. В Боснии и Герцеговине я был в прошлом году. Адриатика, хотя ее синий плеск я слышу в крови, — увы... Нет времени. Поездка по местам боев одной партизанской бригады? Очень интересно. Но как это осуществить? Союз писателей не обладает транспортом. Что-нибудь придумаем. В конце концов, у вас много друзей, каждый имеет машину. Что-нибудь придумаем. Славко тянет джинн с тоником через соломинку, как работает насосом. На дне жалкий кружок лимона и нарастающий



лед. Славко настоящий поэт. Говорить предпочитает за столиком и бокалом. Он предлагает не терять времени, так как с «протоколом», слава богу, покончено. Флакер улыбается в усы, опустив веки, и сопит трубкой. У нас еще не допито, но Славко машет рукой и торопит.

Прекрасный вечер. Зажглись первые огни. Мы идем пешком, спускаемся под эстакаду, по которой прогрохатывает поезд. Вдоль эстакады красочная реклама: «Каждое утро — одно яйцо!» И улыбающееся куриное яичко с трещиной в черепе. Светятся газетные киоски с развернутыми на самых завлекательных местах цветными вклейками. Это мы уже знаем по прошлому году. Делаю постное лицо и так же, как мои хозяева, равнодушно прохожу мимо зовов пышных форм и гибких наклонов купальщиц. В небе зажегся еще один шифр: «ИНА». Синий, с крупной точкой, поставленной над «и». Почему-то на этой улице все подчинено автомобилю. Роскошный магазин с машинами импортных марок, магазин запчастей, ярких цветов бензозаправочная станция. Флакер говорит: «Минутку!» — и покупает сигареты в окошке. Я удивляюсь, что сигареты продаются прямо под надписью: «Огнеопасно». Но, наверно, так надо. Мы переходим оживленную улицу с милиционером в белых нарукавниках и светящимся жезлом. Он долго и азартно махал руками, пока мы наконец не перебежали на противоположную сторону.

— Сколько же у вас машин?

Флакер пожимает плечами. Славко говорит:

— В Загребе каждый шестой имеет. В Любляне — каждый четвертый. Будете там, убедитесь — бедствие, негде поставить машину.

Ну, это еще не бедствие, думаю я.

Маленький сквер, старинные дома.

— Ну, не такие старинные, — уточняет Флакер, — девятнадцатый век. Старинные наверху.

Он машет рукой вперед и вверх. Но там темное небо. Старый город только угадывается. По узкой улочке с массой магазинчиков доходим до перекрестка.

— Запомните это место — лучший книжный магазин... — говорит мне Флакер.

— Лучший ресторан, — весело перебивает Славко. — Рыбный.

Мы входим в неярко освещенный маленький заль-

чик. Тесно стоят столики, вид не очень презентабельный. Нас проводят в дальнюю комнату. Садимся у стены, и сразу гаснет свет. Все смеются.

— Это бывает,— смущен Славко.

Некоторое время мы говорим в темноте. Потом приносят свечи. И рестораник сразу же принимает уютный вид и даже некоторую таинственность.

— Будем есть устрицы. Правильно? — Славко потирает руки и откидывается в кресле. — Вино, которое нам нужно, есть. — Он закрылся огромной карточкой меню и говорит теперь сам с собой.

— Это особое вино, с острова... — поясняет Флакер.

— Ура! Сегодня есть... — Славко называет какие-то блюда, закуски, он явно поглощен содержанием карты.

Флакер, снисходительно улыбаясь, переводит мне:

— Это вроде шпината, далматинский специалитет, только в Далмации, вроде такой травки... Это он говорит про рыбу, не знаю, как перевести... Такая...

Официант торжественно несет большой продолговатый жестяной поднос. Устрицы горячие, каменные блюдечки с дрожащей студенистой капелькой.

— Брызги моря,— говорю я.

Устрицы надо очищать умело, чтобы добро не пропало, но добро цепляется за раковину. Постепенно это можно освоить. Вино холодное. Некоторое время слышны только сопение и стук каменных блюдечек. Стопочки раковин растут быстро.

Появляется дымящаяся громадина, просто кит на блюде. Официант гордо подносит рыбину к нашим носам, дает полюбоваться и... уносит. Мои спутники спокойно реагируют на этот фокус, смиряюсь и я, но беспокойство остается. Устрицы — вещь призрачная, еда аристократов. А «траварица далматинска», попросту водка, настоящая на травах, с которой мы начали трапезу, сделала свое коварное дело. Аппетит мой выиграл не на шутку. Я с трудом поддерживаю интеллектуальную беседу, тем более что за соседним столиком, увешанным, как гроздь винограда, телами веселой молодежи, идет настоящий лукуллов пир — огромная ложка носится вдоль и поперек стола, куски рыбы с полбуханки ситного плюхаются в подставляемые тарелки. Флакеру кажется, что сейчас самое время выяснить мое отношение к структурализму, Лотману, статье Шкловского против Якобсона, про-

содии чешского стиха и «верхней границе реализма — «Бедным людям» Достоевского...» Все это крайне интересно, я отвечаю почти механически, стыжусь самого себя, но думаю о другом: почему он унес рыбину? Или эти несчастные эстеты ее забраковали невидимым мне жестом? Славко ведет себя более понятно — пьет вино. Узнав, что мой отец был коммерческим директором винкомбината, он явно оживился и потребовал, чтобы я дегустировал местные вина. Принесли бутылок пять. Открыли. Но пока Флакер сел на своего конька и не слезал с него до тех пор, пока, как мне показалось, бока того не покрылись пеной, Славко сосредоточенно дегустировал вино сам. Вероятно, он хотел потом сопоставить свои и мои выводы.

— Классическим для русского, а в известной степени и для хорватского реализма является фабула о «лишнем человеке», — говорил Флакер, перегнувшись ко мне и поправляя сползавшие очки указательным пальцем. — А полюбил Б, Б любит А, но А не хватает сил, чтобы принять любовь Б...

У меня тоже не хватало сил поймать нить рассуждений профессора. За соседним столиком молодежь уже разделилась на пары, гроздь винограда была местами выщипана, руки лежали на плечах соседей, смех взрывался петардой, пламя свечей испуганно металось.

Официант появился, как бог в машине, откуда-то сверху, накрыв своей мефистофельской тенью полстола. Рыбина была та же, но разделанная. Он ловко рассовал ее по тарелкам, добавил гарнира в виде зеленого от приправ спагетти, чем-то полил, посыпал перцем, сделал пассы над тарелкой и исчез под дружное наше: «Хв́ала, хв́ала, хв́ала лепо...» Теперь все пошло как надо. Слово взял и долго не отдавал его Славко. Он сыпал остротами, рассказывал смешные случаи, декламировал стихи и с помощью Флакера переводил их на русский. Сопоставить свои выводы по дегустации с моими Славко не удалось до тех пор, пока батарея бутылок не была заменена новой, боееспособной. Старая, пока мы с Флакером хватились, стреляла уже холостыми...

Нить рассуждений Флакера была распутана, обострившееся чутье к чужим языкам творило чудеса — мы понимали друг друга теперь с полуслова. Стало тепло, хорошо, дружно. Славко рассказывал о том, как отец ух-



дил в партизаны, как остался маленький томик на столе, как Славко взял его после ухода отца. Это был Пушкин. Он открыл его.

— «О, няня, няня...»

— «О, Таня, Таня...» — подсказал Флакер...

— «О, Таня, Таня, в ваши лета мы разве знали про любовь?» И мы в наши лета не знали... Уходили в горы в пятнадцать-шестнадцать лет...

Я спросил про Ковачича. Поэма «Яма» потрясла меня. Да, у нас ее перевели... Переводили и стихи Славко, только мало. А знаю ли я Цесареца? Нет? Он тоже погиб молодым. После смерти нашли его автограф на стене тюрьмы. Он писал о советском народе, о разных народах, населяющих СССР.

...Да, в общем-то мы мало знаем друг друга. А это странно. Кому же, как не нам, и дружить литературами! Югославия—это гордая, красивая страна, добывавшая себе свободу в неравной борьбе с сильным и коварным врагом, покорившим Европу. Южный оплот славянства, она издревле славилась свободолюбием.

— Это вино с острова Хвар,— говорит Славко.

Хвар, Хвар... А, вот что я вспоминаю — первое упоминание в летописи Диодора Сицилийского: «В это время параны основали колонию на Хваре... Местные уроженцы, обитавшие на острове, и недовольные присутствием греков, и призвавшие на помощь иллирийцев, населяющих противоположный берег на суше, переправились на многих маленьких лодках на Фарос,— а было их больше десяти тысяч...» И была битва, и пять тысяч иллирийцев пали в бою за родину. Если считать, что начало истории народа — первые письменные источники, то уже на первой странице истории южных славян мы находим освободительную войну...

Иллирийцы не раз разбивали и гордые легионы Цезаря.

— Эта травка с острова Корчула...

Славная это травка! Она помнит, как Октавиан, будущий Август, вырезал все население Корчулы. Но, оказалось, не все. Некий иллириец проник в спальню деспота и был схвачен с ножом в руке лишь в последний момент. «Неизвестно, сошел ли он с ума или только притворялся,

так как во время допроса из него нельзя было ничего выжать», — записал римский писатель Гай Светоний Транквилл, современник Тацита.

А восстание Бато? Светоний говорит, что война с иллирийцами при Тиберии и Германике была «самой трудной из всех внешних войн после Пунических». 16 января 12 года н. э. Тиберий праздновал свой панноно-далматинский триумф в Риме. Перед колесницей шел с опущенной головой, закованный в цепи Бато, вождь восставших... В память триумфа была сделана одна из самых известных гемм — «Гемма Августа», на которой изображены Август, Тиберий и Германик среди богов, а на другой рельефной группе — пленные. Мы видим, как римский солдат тащит за волосы иллирийскую женщину. Последний акт исторической трагедии свершился в одной из боснийских крепостей, где ни одна женщина не сдалась в плен — они бросались в огонь с детьми! Вот почему гемма запечатлела женщину-иллирийку...

Искусство завоевателей не может не лгать. Но потом остается память об искусстве и забывается повод. И кто знает, может быть, и мастер римлянин запечатлел в этом гордом повороте головы непокорность древней иллирийки, непокорность, которой он сочувствовал сам?.. Достоинно удивления, что Бато не был казнен, как это было принято во время триумфов, а был сослан и умер в Равенне. Его имя упоминает Овидий.

— ...А в Бакре, — говорит Флакер, — в Бакре эта рыба ценится особенно, редкая рыба...

...Бакра. Каждое название говорит здесь историческим голосом. И я улыбаюсь собственным мыслям: надо же, такое совпадение — будто нарочно от древнейших времен до наших дней протянулась эта ниточка связи героической преемственности свободы! Бакра... 1927 год. Летний вечер. Кричат чайки. Рыбаки уходят в море. Группы гуляющих на набережной. И вдруг в предзакатном воздухе раздается звон цепей. Из местной тюрьмы ведут скованных одной цепью коммунистов. Их семь. Седьмой — коренастый молодой человек. Его имя Иосип Броз Тито... Загребская газета «Новости» писала потом: «Вчера продолжался коммунистический процесс... После окончательного допроса обвиняемого Новоселича в зал привели

Иосипа Броза, безусловно самую интересную личность в этом процессе...» На допросе Тито сказал, между прочим: «Я считаю, что естественные законы выше тех, которые один класс создает, чтобы угнетать другой. За свои идеалы я готов пожертвовать жизнью». Среди других документов найден протокол от 30 ноября 1931 года (правление Мариборской тюрьмы). Там есть такое место: «Из камеры приведен заключенный № 483 Броз Иосип и на вопрос, почему он не просит условного освобождения, он заявляет: «По моему мнению, предписания об условном освобождении вообще не могут применяться к политическим заключенным, так как это бы означало, что они должны отказаться от своих политических убеждений... Я же не могу отказаться от своих политических убеждений, и поэтому я и не прошу об условном освобождении».

— Это южнее Караванки,— говорит Славко.

И снова название это приводит на память заявление ЦК КПЮ: «...Вчера солдатня Гитлера растоптала свободу австрийского народа, сегодня она уже готовит удар против Чехословакии, а завтра ее части через Караванки ворвутся в Югославию...»

Хвар... Корчула... Бакра... Караванки... В этих названиях живет история, как в старых сербских названиях Прахово, Деспотово, Враново говорит история турецких нашествий.

Но кроме этих старых общеславянских воспоминаний, кроме истории общей героической борьбы с фашизмом разве и сегодня не общее дело делаем мы в мире?

Нет, не только литературные интересы сблизили нас за этим щедрым столом!

И, как бы отвечая моим мыслям, доносится голос Саши Флакера:

— Масштабы, милый, масштабы!.. Живели! Живели!

Возвращались поздно. Остановили такси. Водитель «мерседеса», частник, оборудовал машину стереовоспроизведением звука. Славко был в восторге,— оказалось, он владелец крупнейшей в Загребе фонотеки классической и современной музыки. Мы давно уже стояли у подъезда

«Интернационала», и швейцар трижды пытался открыть дверцу, но убегал, ежась от ветра,— Славко и шофер свистели друг другу мелодии и радостно хлопали в ладоши, если оказывалось, что у обоих есть в коллекции «этот экземпляр». Они умудрялись «свистеть» даже Баха и Хиндемита. Наконец я шутя обратил внимание на счетчик. Шофер машинально выключил счетчик и продолжал:

— Та-а-ап-тап... Синкопа!

— Синкопа!— радостно закричал Славко.

— А потом это: ти-рилири-пара, пѣамб, пѣамб...

— Выходи,— тихо сказал мне Флакер,— Теперь он его не отпустит скоро.— И открыл дверцу.

Славко пожал протянутую руку, продолжая дирижировать и не оборачиваясь. Мы поцеловались с Флакером.

Подымаясь в лифте, я поймал себя на том, что вполголоса напевал «Ти-рилири-пара, пѣамб, пѣамб...»

### *25 сентября*

Мы едем в Вараждин. Вараждин — это древняя столица хорватов. А мы — это брызжущий здоровьем толстяк и весельчак Бранко Хечимович, режиссер Звономир Байсич и я. Байсич — типичный Грегори Пек, лучше не определишь. Сдержан, сухощав, мускулист, прищуренные глаза, умная ироничность и благородство. Он за рулем какой-то сумасшедшей машины, какого-то загребского экземпляра «ягуара», этот зверь даже не перебирает лапами, а просто летит, не касаясь земли. Эта дикая кошка, эта пантера — предмет особой любви Звонко. Он написал не один телевизионный сценарий, чтобы купить эту полумную тигрицу, а сценарии телевидения дело наиболее доходное в Югославии. Не могу даже представить цену. И не хочу представлять. Только бы не разжать пальцы, судорожно вцепившиеся в кожаные кольца на потолке. Скрежет, визг, рев, мир слит в одно зелено-желто-голубо-белое месиво. Когда мы наконец останавливаемся у корчмы, чтобы Бранко, у которого все время почему-то сегодня пересыхает в горле, мог пропустить стопку ракии, а Звонко выпить чашку кофе, мимо корчмы, гудя каким-то замысловатым сигналом, наподобие крика петуха, которым пугают черта в опере Гуно «Фауст», проносится машина вараждинского режиссера... Звонко бледнеет. На



столик швырнется бумажка, мы выбегаем к машине, ди-кая пантера гонится за мышонком. Конечно, мы их догоняем, конечно, они виляют и щедедушно гудят своим петушиным гудочком, чтобы загородить нам дорогу, но все это заканчивается как всегда: я зажмуриваюсь, Звонко вжимается в сиденье и резко выворачивает баранку, мы куда-то летим, кажется — на сосны, но потом опускаемся на три точки далеко впереди вараждинского режиссера и его компании, Бранко хохочет, включает музыку, я немного разжимаю потные пальцы...

Мир заключается где-то в сумерках, не доезжая километров десять до Вараждина. Мы все сидим в корчме и поем народные песни. Две дамы — жена и дочь вараждинца — то и дело поглядывают на часы, но мы спокойны: режиссер с нами, представление все равно не начнется, пока мы не приедем.

Вараждин подобен средневековому замку, из которого на время выгнали рыцарей. На выложенной плитами площади у городской ратуши, похожей по размерам на коммунальную кухню в старой московской квартире, стоит сотня велосипедов, слабо подсвеченных железным фонарем с цветными стеклышками. Матово мерцают спицы.

Взошла луна, мы бродим по старому городу, по кри-вым и узким улочкам, притихшие, очарованные. Театр окружен машинами, светятся рожки фонарей, колонны, уходя вверх, теряются во тьме.

В театре сыро, холодно, как и подобает быть в старом рыцарском замке. Сегодня премьера, открытие сезона, и много загребской публики. Мои друзья не успевают кланяться. Бранко тихо представляет мне каждого и каждую. Я улыбаюсь: это похоже на то, как только что мне представляли дома Вараждина: «Десятый век. А это позднее средневековье, обрати внимание на линию портала... Здесь жил бургомистр... Видишь эту виноградную ветвь?..» Я таращил глаза, но все сливалось в темноте. Я старался угадывать, мобилизовал фантазию, вспоминал прочитанное... Теперь Бранко хочет, чтобы я понял разницу между Здравко Длинным, ну, тем, что написал рецензию на второе издание монографии о Мештровиче, и Здравко

Толстым («да не этот, с баками который...»). Я смеюсь и зажимаю уши. Он хлопает меня по спине и тоже хохочет. Бранко тащит меня в артистическую, распахивает крашенную синим дверцу — там кто-то визжит. Он захлопывает синюю и распахивает желтую. На шею ему бросается какая-то дама в средневековом одеянии: «Бранко!» Я толкаюсь в узком коридорчике среди пажей, крестьян, мещан, мимо меня проходит женщина в такой широкой шляпе, что она вынуждена положить головку на плечо, и так, будто ее перекосило от паралича, она и проходит, не забывая даже из этого крайне неудобного положения скосить нарисованные глаза, — о любопытство! Кроме меня, тут, видимо, все знают друг друга, и я на минуту представляю себе, что было бы, если б Бранко не привез меня, кому бы они впервые играли...

По дороге в ложу мы наталкиваемся на Звонко. Он прижал к стене какого-то старика в одежде дворянина с шпагой и в парике и клянчит у него запасные части к автомобилю.

— И у вас это проблема? — спрашиваю я уже в ложе, шепотом.

Звонко отвечает уклончиво, делая жест правой рукой, как дирижер, который собирался дирижировать «на три четверти», но потом раздумал.

Занавес подымается.

— Тут несколько профессионалов, остальные... любовники, — сообщает мне по-русски Бранко.

— Любители, — шепчу я. — Любовники — это другое.

— Другое, — послушно вздыхает Бранко. — Я стал забывать. Мало практики.

После спектакля — импровизированный банкет, цели которого я как-то не понял: все быстро съедали бутерброды с икрой и колбасой, выпивали пару рюмок виньяку, бокал-другой вина и спешили в соседнюю залу. Она была вся в виньетках и амурах и нагоняла какой-то виньеточно-амурный дух на гостей. Посреди зала сидели три бородача (саксофон, гитара с электроприводом и контрабас). Одна из бород пела в микрофон, а две других издавали звуки, напоминавшие хлопанье пробок. Все три бороды, конечно, неимоверно дергались ногами, сучили разнообразных расцветок носками, корчились в судоро-

гах и при этом имели на лицах выражение полной индифферентности к окружающему. Когда долго смотришь на современный джаз, почему-то вспоминается Будда и самоуглубление в форме внутреннего экстаза философии «дзэн» или «чань», для которой характерно отрицание иерархии таланта и бездарности, серьезных дел и пустяков, здравого смысла и абсурда... Одна из актрис, хорошенькая, со вздернутым носиком и длинными ногами, едва стерев грим и переоблачившись в вязаное мини, двигала худенькими руками и волнообразно перемалывала бедрами невидимое зерно. Этот жернов работал хорошо и не подводил. Публика, в основном молодежь, делала вид, что не смотрит на ее ухищрения,— так велит неписанный закон модерна, тот, кто танцует, в свою очередь должен делать вид, что он — на необитаемом острове. Потом вторая актриса, небрежно сбросив туфельки и потянувшись с видом сомнамбулы, вошла в воду... Такие жесты сопровождали ее движения: она попробовала носочком плитки пола (старинная мозаика превратилась в озеро), зябко свела плечи, охватив голые локти гибкими кистями, потом потерла коленкой коленку, опускаясь все ниже... Контрабас гудел неистовой дрожью, а женщина начала хватать себя растопыренными пальцами за бедра, сильно подбрасывая локти назад. Закричал саксофон обиженно и призывно.

— Едем в Чаковец,— сказал Бранко, увлекая меня.

..Ночной туман сделал дорогу невидимой. Звонко трубил, как архангел, и не сбавлял скорости. Я почему-то перестал волноваться,— видимо, отупел. За нами вихлялся мышонок вараждинца. Он то отставал, то нагонял нас, когда мы стояли у шлагбаума или просто поджидали его. У второго шлагбаума из приемника раздались звуки югославского гимна. Звонко вышел, выпростал антенну повыше и стоял по стойке «смирно». Вышли и мы с Бранко, и хотя они явно дурачились, изображая ритуал, мне показалось, что лица их стали немного сентиментальными. Дослушали гимн мы вполне серьезно.

Чаковец — маленький городок, который я не видел. Была глубокая ночь, а по ритуалу вараждинцев премьер «обмывается» в ночном ресторане Чаковца. Все тут было, как бывает в ночном ресторане. Люди с синими

кругами под глазами усиленно выполняли программу по веселью, хотя у каждого читалось в глазах одно и то же: «И какого черта я ломаю комедию перед ними, а они передо мной? Ничего так не хочу, как завалиться спать...»

Коля, вихрастый и наивный малый (он играл в спектакле одного из слуг), допытывался у меня, есть ли такой городок Романовск в России, он его никак не может найти на карте. Его дружки сопели, готовые вот-вот расплакаться от сочувствия: Коля был сирота, кто-то кого-то бросил — не то мать Колю, не то отец Колину мать. Коля мне понравился. Он все расспрашивал меня про Украину. Фамилия отца была Божко, а материнская девичья — Шевченко. Больше он ничего не помнит. Родители уехали за границу до его рождения. Типичная военная история. Отец попал в окружение, бежал из лагеря военнопленных, воевал в партизанах, но вернуться на родину побоялся, — говорили, что всех окруженцев либо расстреливают, либо ссылают в Сибирь. Он женился на украинке, которую угнали в Германию, но которой удалось бежать от хозяина. Она выступала в цирке, пела цыганские романсы, ездила с партизанским ансамблем по лесам и горам и так познакомилась с Божко. Он ее увез с собой ночью, подсадив на лошадь, навьюченную листовками и газетами, которые Божко вез в штаб бригады из партизанского центра. Лошадь была умная и знала горные тропки, Божко шагал сзади, держась за хвост лошади. Так они шли две ночи и два дня. Циркачка иногда всхлипывала — жалела оставленную трупку, — а Божко скрипел зубами от ревности. Потом они мирились где-нибудь на лужайке, слушали шум горного ручья и пение птиц. На последнем перегоне их обстрелял немецкий патрульный самолет, лошадь была смертельно ранена, и бедная циркачка видела, как Божко пристрелил несчастное животное. Потом они шли молча, таща на себе тяжелые выюки с пропагандистскими материалами. Впоследствии циркачка говорила, что решение оставить Божко созрело у нее еще тогда, на горном перевале, когда он целился в голову лошади... Правда, от замысла до воплощения прошло года четыре, и за давностью лет женщина могла что-то запомнить. «Русский Коля» почти не помнил ни отца, ни матери. Я обещал написать ему, есть ли такой город Романовск на карте СССР, если, конечно, его не переимено-



вали, так как фамилия Романов была несколько подозрительной.

Из других впечатлений чаковецкой ночи запомнился носатый барабанщик-виртуоз с густыми бровями и прямой спиной. Руки его выделяли чудеса, но лицо оставалось надменно-презрительным. Мои друзья уважительным шепотом поведали мне, что человек этот едва ли не главная достопримечательность Чаковца — он последний в роду аристократов. Фамилия его такая древняя и такая знаменитая, что мне ее даже не осмелились произнести, только покачали головами. Я нет-нет да и поглядывал на аристократа, который подбрасывал палочки и ловил их с видом молчаливого упрека эпохе войн и революций.

*27 сентября*

Пишу уже в Любляне. Вчера встал в восемь, а лег в пять часов. Пантера Байсича пронесла нас через ночь, утренние сумерки и розоватый рассвет. Эта ночь добила даже Бранко. Его крупная стриженная голова принимала самые причудливые позы, сползала по плечу, выпрямлялась, скатывалась, как спелый плод, снова, чтобы уже вместе с туловищем начать заваливаться на баранку. Байсич невозмутимо отваливал локтем бречное тело Бранко, и оно на некоторое время принимало удивительно вертикальное положение.

Хорошо еще, что мы успели к утру в Загреб. Бранко обуревала идея ехать в Будапешт, чтобы выпить хорошего кофе.

Я побрился, собрал вещи, позавтракал, а Смильки с билетами на поезд Загреб — Любляна все не было. Спустился в вестибюль. Пока я глазел на яркую рекламу Дубровника и Сплита и ежился от холода — здесь вдруг похолодало, — ворвалась Смилька:

— Здравствуйте! Хорошо спали, а я танцевала, можем опоздать на поезд, хорошо, нет проблем, вполне можно опоздать... Такси, минут десять, первый класс, два часа — и Любляна, нет проблем...

Мы втащили чемодан в такси и с ходу понеслись, шофер понял свою задачу. На вокзале страшная толчея. Я, запарясь, бегал за Смилькой, которая бодро просила меня не думать, что есть какие-то проблемы, но почему-то

бегала по замкнутому кругу. Оказалось, что, во-первых, нашего поезда еще нет, во-вторых — что наш поезд есть, но на другом пути, в-третьих — что вагон первого класса находится в голове, а не в хвосте поезда, в-четвертых — что в голове состава нашего вагона нет, а он и есть тот самый, который прицеплен в хвосте.... В довершение всего в поезде было столько народу, что я не мог и мечтать пробиться с чемоданом сквозь тамбур. Смилька, махнув мне ручкой и улыбаясь, побежала вдоль поезда, а я, вздохнув поглубже, кинулся головой вперед вверх по лестнке, ведущей внутрь. Мне удалось пробить брешь в толпе и застрять где-то на уровне третьего купе. Здесь я успокоился. За стеклянными дверцами сидели счастливыцы, отирая разгоряченные лица. Красивые авиационные мягкие кресла, вроде старинных вольтеровских. Виды Сплита и Дубровника в аккуратных рамочках. Я отвернулся, чтоб не расстраиваться. За минуту до отправления ко мне ввинтилась сияющая Смилька:

— Прощайте, вернее — до свидания, все хорошо, мест нет, будете стоять, все вагоны то же самое. Даже хорошо — красивые виды, мне приятно!

— Мне тоже, — вежливо сказал я.

Смилька вывинтилась в тамбур, поезд тронулся. Пошли красивые виды, которые мне обещала Смилька.

Понемногу я стал прислушиваться к тихой по-европейски беседе крестьян, от которых вкусно пахло копченостями. Они стояли за моей спиной — два старика и старуха, — жевали и беседовали. Речь шла о цене на сливы и о том, как их лучше хранить, в песке или без. Справа от меня, ближе к тамбуру, стояла девушка в вязаном длинном свитере и широком ремне ниже талии, копия Смильки, только русая и с зелеными, а не синими, веками. Она читала конспекты и шевелила губами. Спиной к дверям, засунув руки в грязно-желтые вельветовые брюки, в кожаной куртке и ярком шейном платке, зевал парень с длинными пушистыми баками. Он мне как-то не понравился. Таких у нас рисуют в «Крокодиле». Разве что у него не было приклеенной сигареты, которая вот-вот выпадет изо рта. Он, как и полагалось отрицательному персонажу, смотрел на девушку, готовясь задать ей один из тех оригинальных вопросов, которые приходят в голову, — например: «Где это мы встречались?» Но спросил он иначе:

— Вам не холодно?

Тут только я заметил, что из открытого окна дует, а девушка подняла худые плечики и прижала локти к телу.

— Нет, ничего,— сказала девушка и улыбнулась.

Парень все-таки закрыл окно и при этом заглянул в тетрадь.

— О, так я и думал. Естественник?

— Да. А вы?

— Я тоже. Рано вы начали читать.

— Боже, как мне это надоело,— просто сказала девушка,— но что делать, мама убивается, что я плохо учусь, а мне в голову не лезут эти тычинки...

— А что лезет в голову?

— Разное,— она вздохнула,— разное. Я люблю литературу.

— Странно, но я тоже думаю не о тычинках. Только мне хочется перейти на геологию. Я только что из партии. Три года хожу...

Девушка тихо засмеялась.

— Все занимаются не своим делом. Моя подруга вышла замуж, а через неделю уехала в Далмацию и не оставила адреса. Он пристаёт ко мне: «Ты знаешь, где Гитица?»— а я и правда не знаю... Какое-то сумасшествие! Дядя мой был большим начальником, его опять позвали, говорят: «Яро, ты теперь будешь...» (слово не расслышал), а он раскричался, наговорил лишку, что ему всю жизнь не давали делать то, к чему он способен... Ну, и вообще.

— Такое время,—серьезно сказал парень с бачками.— Как вас зовут?

Девушка смущенно засмеялась.

— Да, верно, мы не познакомились. Вида.

— А меня — Йоже.

Продвигаясь боком, приближается контролер с большой рыжей кожаной сумкой. Я заметил, что билеты у всех бумажные, а у меня картонные и зачем-то целых три. Контролер посмотрел на меня, на билеты, пробил их и отодвинул дверцу купе. Там что-то долго возились, потом контролер сердито говорил, показывая на меня. Пожилая женщина тоже показала на меня и потом на свою дочь, которая встала, густо покраснев, и отодвинула дверь купе. Контролер строго сказал:

— Непорядок. Гражданин с билетом первого класса

стоит в коридоре, а вы не хотите доплатить за второй класс! Садитесь, пройдите, уступите место, безобразие!

Я отказывался, но все в купе стали хором просить меня, и пришлось войти и сесть. Я понял, что в связи с этим поступком одновременно отпадает вопрос и о доплате. Некоторое время я порывался уступить место стоящей передо мной, как немой упрек, девице, но та гордо отказывалась, продолжая пламенеть. Постепенно меня перестали разглядывать исподтишка, и начал разглядывать остальных я. Это были две семьи. У тех и у других неимоверное количество вещей. Из разговоров выяснилось, что едут одни — во Франкфурт-на-Майне, а другие — так вообще в Аргентину. В Аргентину ехала мать или тетка с двумя девицами. Та, которая уступила место, и другая, постарше, зрелая, с заплаканными глазами. Они шептались о чем-то, и потом заплаканная сказала:

— Говори по-испански.

Они стали громко и быстро чесать по-испански, и тут я уже совсем ничего не мог понять. Этим они мне отомстили, видимо, за вторжение.

Зато старики и молодая женщина, возбужденная и то и дело проверявшая свои клунки, как будто они могли исчезнуть путем черной магии, говорили на сербском и очень медленно, так что я мог получить интересную информацию по теме экономической эмиграции. Во-первых, я понял, чем обязан такому столпотворению пассажиров. Я угодил на рейс, которым обычно для внутренних сообщений люди не пользуются. Возвращались отпускники, работающие в ФРГ по договору. В это время все вагоны переполнены, и различие в классах относительное. Работа ведется по сезонам, люди ездят в ФРГ и обратно иногда целыми семьями, но чаще кто-то остается на хозяйстве. Эта женщина, например, что пересчитывает узлы, рассказывала:

— Я говорю Васко: «Что ты наработаешь? Гвоздь забить не можешь, все валится». Кашляет, чуть что — «Полежу маленько». Я говорю: «Оставайся с детьми, — их двое было, — отправляй в школу. Сготовит старшая — ей девять, она все умеет, в меня, — а ты смотри, чтоб порядок. Ну, и через день, — он шофер, — поезди туда-сюда, не надорвешься. Я, гляди, скоро вернусь...» — Она хитро засмеялась. — Так по-моему и вышло. Надула я немца. Ох надула! Я уже на шестом месяце была. Получи-



ла сполна отпускные, соцстрах ихний, отпуск и вот еду опять...

— Понравилось, поди? — восхищенно смеется беззубая старуха, а ее старик что-то, наклонясь, шепчет молодой на ухо.

Та прыскает и делает вид, что смущена, совсем по-русски закрывая лицо краем платка.

Потом рассказывает старик:

— Да, он, немец, умный. Порядок знает. Опять же работу понимает. А глядишь — дурак дураком в некотором роде. Вот, к примеру. Купил я немцу-хозяину ящик пива, бутылок двадцать, и попросил, чтоб вместо двух три недели отпуска дал мне, — говорю, по хозяйству надо поделать, а потом приеду, как же, «гут». А чего, казалось бы, «гут»? Взятку не берет, а за пиво пустил, а пиво это гроши стоит...

Старик хлопает себя по коленям ладонями и беззвучно сотрясается, — приятно вспомнить, как и он надул немца.

— Как вы только решились в Аргентину? Даль-то какая... — начинает говорливая молодуха.

— И не говорите... — Мать или тетка девиц, щебечущих по-испански, только горестно разводит руками и не прибавляет ничего.

— Я все думаю, — продолжает старик, — что немец за человек? Я вот, к примеру, заработаю на дом, гну спину, чтоб купить автомашину, потом стиральная машина, ну, там телевизор с хорошим экраном... Что еще? — Он обвел глазами присутствующих, подождал ответа...

— Ну, садик, — сказала молодая. — Я садик хочу для детей.

— Ну, садик, — снисходительно согласился старик. — Так что, я спрашиваю, ему, дураку, не сидится, когда у него, собаки, и дом, и садик этот, и машины две — две! — и сарай, и механика разная? А он все чертоломит, да еще надо мной, бедняга, не спит — наблюдает. «Гут, гут»... Что за люди?

Прервал запись. Приехали писатели-словенцы, повезли на озеро Блед. Дописываю глубокой ночью. В Любляне был в 11.30. Встретила представитель «друштва писателей», детская писательница Бранка Юрца с сыном,

рыженьким подростком в очках. Этак по-домашнему отнял у меня чемодан, пыхтя понес впереди, а мы пошли за ним. «Он студент первого курса». — «Да что вы!» — «Ничего, не стесняйтесь, тут близко». — «Он худенький такой...» — «Ничего, вы его обидите, не берите чемодан, он донесет...».

Отель «Турист» сразу поразил обилием комфорта. Номер средний по цене. В Любляне с ним не сравнишь фешенебельный «Лев», скажем, где останавливаются американцы, но и здесь мне хватило поводов для удивления умелым, добротным, современным оборудованием, отделкой, целесообразностью всех деталей. Признаюсь, я очень люблю современное начало в быту: скрытые светильники, встроенные шкафы, все эти кнопки, светящиеся табло, блестящие краны в виде красно-синих маховичков, которые нужно вертеть по часовой стрелке, и по горизонтали, и по вертикали — три разных функции при лаконичной форме. Лежа дотягиваешься до всех нужных и не нужных тебе кнопок. Кресла подогнаны как будто специально для тебя, сел — отдыхаешь. И ничто не хрюкает в трубе, не сипит в ванне, не течет, не подтекает, не облезает, не дует под дверь, не закрывается так, что потом не откроешь, и не открывается само, хотя должно по мысли и идее строителя как раз закрываться накрепко... О строительный гений словенцев! Качество здесь поистине на высоте. Это не Белград, даже не Загреб. Так мне и говорили, впрочем, и сербы, и даже хорваты. Нехотя, правда, но признавали: Словения по вопросу качества — вне конкуренции.

Итак, насладившись комфортом и пересчитав кнопки и рассмотрев отличные письменные принадлежности (кому бы написать письмо на этой бумаге с гербами?), прихожу к выводу, что наигрался в игрушки. Ложусь и чувствую нарастающую тоску. Это у меня всегда наплывает неожиданно, сразу. Стоит уехать из дома надолго. Нужно все время нагнетать новое, захлебываться информацией, не иметь времени для сна и отдыха — тогда ничего. Ностальгия? Не приходилось испытывать, — может, потому, что по-настоящему долго не был за границей, новое интересно всегда, разве человеку может надоест познание мира? И потом — куда от тебя денется ро-

дина? Она всегда с тобой. И ты — с ней. А что ж тогда моя тоска?.. Мне иногда кажется, что я почти постигаю ее сущность, но потом теряю нить... Наверное, она оттого, что я немолод и чужое, чуждое, хоть и интересное, словно отделяет меня от того, что есть «я», и уже мне не успеть быть одновременно и этим, и тем, и еще другим...

Конечность времени понятней за границей.

Свойственное каждому человеку чувство, непостижимое и сладостное, почти детски наивное: это пока я — я, а потом я еще стану им, проживу новую жизнь, где будет еще что-то, узнаю то, чего не знаю, воплощусь в нечто новое, проживу иную жизнь... Не так, конечно, а подсознательно, неотчетливо, не так категорично, но ведь чувствуем мы нечто подобное!

И потом, прежде чем приехать в Югославию или Финляндию, человек что-то да знает о них, читал, видел в кино или на картинках. И вот происходит чудо узнавания, разочарования, а потом нового, глубокого узнавания, почти мистического (вот здесь поворот, потом будет дом, окруженный садом, трещина на плите и журчанье фонтанчика... И они есть, за углом и дом, и сад, и трещина на плите, и фонтанчик!)... Вспоминаю один рассказ: человеку снился один и тот же сон — дом, увитый растениями, портал, двор в плитах. В старости он приехал в Италию и нашел этот дом. Все бы ничего, но старый монах, сторож, сказал ему, что сразу узнал его, он видел человека по ночам, он ходил здесь! Страшный рассказ. Мне всегда казалось, что я уже был и жил здесь — в Загребе и Любляне, Сплите и Будапеште, в Турку и в Варшаве... И когда-то это радостно возбуждало меня, а теперь нагоняет тоску.

Как-то я говорил с другом — писателем Сергеем Залыгиным. Он рассказывал замысел фантастического романа. Там человек встречается с феноменом своей памяти. И слышит признание очень важное: знание убивает память. Наш век, продолжал Залыгин, перенасыщает нас информацией, сумма знаний при желании индивидуума может стать практически бесконечной; правда, это мертвая сумма, но не в этом суть, она замещает что-то, вытесняет — это главное. Иногда они, знания, вытесняют память. Я могу знать, что было со мною в таком-то и таком-то годах, но я не в силах прочувствовать тот год, то состояние, воплотиться в себя прошлого. Рвется какая-то

нить, думал тогда я, расставшись с Сергеем, взволнованный мыслью, в сущности и мне знакомой. Когда осознаешь грустную закономерность конечности всего живого,— а это бывает в зрелости,— хочется закрепиться в одном, каком-то более привычном тебе, родном состоянии: в нем видится залог прочного существования здесь, в этом мире. Все это — не твое, временное твое, а жить осталось не так уж много, надо перестать гоняться за новизною, надо перестать обманывать себя: ты не будешь жить иной жизнью, не станешь им, им и еще этим, ты останешься самим собой, со своим, уготованным тебе миром.

Я расфилософствовался, когда раздался звонок и веселый, я бы даже сказал — кокетливый, голос спросил:

— Товарищ Огнев?.. Здесь Якопин и Долар, писатели, мы немножко говорим по-русски. Если вы спуститесь в холл, мы поедем путешествовать немножко и немножко ужинать потом.

Якопин оказалась милая женщина с веселым характером, ямочками на щеках, сердечным обаянием. Достаточно было одного из этих качеств, чтобы поднять мое настроение, а тут целых три. Яро Долар, седой господин с белыми манжетами, ослепительной улыбкой превосходных по его годам зубов, дополнял компанию великосветским обхождением, не позволявшим нам далеко уклоняться в сторону легкого зубоскальства,— он поминутно возвращал нас с Гитицей (так звали Якопин) на почву полезных сведений краеведческо-исторического характера. Вел машину юноша, сын Гитицы, молчаливый, но саркастически улыбающийся молодой человек, очень современный во всех смыслах. По-русски он почти не говорил, а его мать перевела «Анну Каренину», а его отец даже преподавал советскую литературу в Люблянском университете. Сейчас профессор не был в Любляне, но в октябре, когда начнутся занятия в университетах, приедет. Меня посадили рядом с водителем и заставили опутаться ремнями и распутаться самому.

— Если вы упадете в озеро, надо уметь расстегнуться,— успокоили меня.

Век живи — век учись. Я усвоил и эту науку и мгновенно расстегивался, когда надо было вылезать из машины, любоваться видами.

...А виды здесь умопомрачительные. Смилька была права, весь путь от Загреба до Любляны был сказочно красив. Горы, поросшие осенним лесом, гулко отдавали эхо паровозного гудка, они надвигались с двух сторон, сближаясь наверху, становилось темно, в открытые окна обдавало запахом густо настоящей хвои, потом расступались, изгибаясь плавно, открывая вид на церковь — стройную готическую игрушку, красные черепицы аккуратных домиков, слепило солнцем, отраженным от высокого креста, как будто на глазах плавилось золото, голубела чистейшая река, вилась рядом с составом, на поворотах круто и внезапно вспыхивала рябью. На зеленых лужайках пасся ухоженный скот. На низких луговинах сушилось сено в особых — только в Словении их строят — сооружениях, напоминающих двухметровые бухгалтерские счеты, поставленные ребром и покрытые двускатной крышей. Сено защищено от дождя и просушивается ветром...

Виды в окрестностях Любляны, у озера Блед, напоминают Швейцарию, какую я видел на картинках, — голубые озера среди темно-зеленых гор, за которыми громоздятся другие снежнотопольные ярусы. Машину оставили на стоянке, среди иностранных машин, главным образом итальянских, но были и немецкие, и даже американская одна. Поднялись по крутой каменной лесенке в гору, на территорию замка, в котором теперь музей.

С головокружительной высоты смотровой площадки зачарованно смотрел на озеро, островок с церковью, медленную лодочку с крохотным человечком. Она казалась неподвижной и только капельные брызги под веслами показывали движение. Потом бегом спустились вниз, замерзли, над горами навис вечерний туман, стало промозгло и неудобно.

Ехали вдоль озера по узкой, но хорошей дороге, островок с церковкой временами был совсем близко, потом снова удалялся — озеро имеет неправильную форму. Тихо, покойно, в сыром воздухе слышался только шорох шин да редкие приглушенные гудки клаксонов на параллельной аллее, дальней от озера. Справа стали нависать скалы, красноватые, увенчанные соснами, пропало вскоре и озеро слева, мы выехали на широкую автостраду и вскоре окунулись в волны теплого воздуха.



Иной микроклимат встречал нас в местечке Блед, на площади, ярко освещенной (уже стемнело). С трудом нашли место для стоянки. Блестящие корпуса машин различных марок тускло отливали красноватым отражением цветных фонариков прозрачного стеклянного куба кафе. Внутри было чисто и приятно, веял ветерок подогретого воздуха. За мраморными столиками и белыми стульчиками в духе ампира съели какие-то эфирные сладости, выпили кофе и поехали дальше.

Свернули на проселок и через некоторое время въехали в лесную деревеньку с домиками, похожими на украинские мазанки. Только маленькие оконца здесь в железных решеточках, а сквозь них буйно выются красные мальвы и еще какие-то жестковатые красные цветы. Они стоят в железных баночках, в горшках. На фоне белеющих стен это очень красиво. По улочкам деревни, словно вымершей (ложатся с петухами), таились тени дубов. Деревня называется Врба, что по-русски Верба. Здесь жил знаменитый Франц Прешерн, словенский народный поэт. У его домика выключаем мотор и выходим. Сразу окунаемся в запахи, волнующие с детства,— трава, земля, прелый лист, навоз, дымок, чистые земные запахи покоя... Обходим продолговатый, очень низкий домик Прешерна, стучим железнокованой щеколдой о дверной дубовый косяк. Все здесь сделано крупно, прочно, увесисто.

Открывает со свечой старик смотритель. Говорит, что нет света, перегорели пробки, видно. Крестится, зевает и, ничуть не интересуясь, кто мы, уходит к себе, просит позвать, когда понадобится. Свеча вырывает из мрака беленую стену с факсимиле Прешерна. Читаю по-словенски отчетливый бегущий почерк. По-русски стихи можно перевести так:

Из века в век, из рода в род  
Струится кровь, дух ищет путь.

Эти строки стали крылатыми. Это понятно. Новое никогда не приходило без борьбы, без крови. Увы, и русский поэт был прав, когда писал, что «дело прочно, когда под ним струится кровь»...

Мы прошли в другую комнату с такими же низкими

потолками, тоже побеленными, но скрепленными балками, увесистыми, желтыми, с бегущими трещинами, как черные молнии, застывшие навсегда. В углу маленькие черные иконки, как мы бы, атеисты, сказали — сельский примитив, плод усилий местного богомаза, сочетание наивности и веры. Посидели за крепким дубовым столом на дубовых лавках, теплых и гладких. У большой печи стояли черные ухваты, кочерга, совок. На низких подоконниках книги в темных переплетах, матерчатых и кожаных. На столике чернильница с медным колпачком, ручка без особых примет, раскрытая книга. Со свечи капало, я подставил ладонь, чтобы не повредить книгу, и обжегся. Воск застывал, стягивал кожу, хотел вытереть его о край подсвечника, и в это мгновение одновременно с вскриком Гитицы комната осветилась вспышкой магния — современный сын Гитицы снимал нас. Нас, иконки, вышитое полотенце из полотна, лавки и меня с подсвечником... «Люкс!» — воскликнул он, ворвавшись в мой сон неожиданно и разрушив какой-то тайный ход мыслей.

Все как-то сразу засуетились, потирая руки, и, намекая на холод, голод, шумно потянулись к выходу. Вышел смотритель, постоял со свечой в высоко поднятой руке в проеме дверей, в накинутом полушубке на одном плече. Мы сели в машину и поехали под дубами и вербами, через тени стволов и веток на дороге, которая казалась посыпанной мукой — светила луна.

Остановились на окраине Врбы, у придорожной корчмы под романтически двусмысленным названием «Ночь Амалии». Название оказалось не двусмысленным. Ночь — фамилия хозяйки, а сама Амалия совсем не похожа на царицу Тамару или Клеопатру Египетскую. Здоровенная усталая женщина не первой молодости с засученными рукавами кофты, в белом переднике, вышитом по краям крестиком, с красными большими руками и обветренным лицом. Она и повар, и кассир, и официантка, и просто добрая собеседница проезжающих.

В одной комнатке стояло три дубовых струганых ствола. На одном из них, у окон, выходящих на дорогу и занавешенных вышитыми крестиком белыми занавесками, лежала такая же вышитая деревенская скатерть из грубого полотна. За столом сидела компания австрийцев. Два

других были свободны, мы сели в угол, я осмотрелся. По стенам — громадные оленьи рога, патронташи, на полочке в углу — чучела белок и зайцев. Стены беленые, потолок в балках, но потоньше прешерновских, новые, с резьбой. Резные и наличники на окнах. Над занавеской в окне висела долька луны. Свет падал ненавязчиво из рожков на стенах. У австрийцев, кроме того, горели две свечи в деревянных резных подсвечниках. Австрийцы пили вино из кувшинов и хохотали. Это были пожилые люди, румяные, здоровые, видимо среднего достатка, но большие любители пожить в свое удовольствие. От них так и веяло радушием и благожелательностью. Дамы были седые, завитые на один манер, в кофтах и шейных платках, мужчины в цветных рубашках и безрукавках. Один почему-то сидел в шляпе с перышком, и его время от времени хлопали по шляпе, а он, смеясь, поправлял ее и придерживал за поля, чтобы не сняли.

Яро Долар сказал мне, что они приехали на денек — провести «уикенд в Словении», что говорят они разную чепуху неинтересную, что тот, в шляпе, их попутчик, наверное присоединившийся случайно. И еще он понял, что шляпу он не хочет снимать из принципа.

— У немцев принцип главное,— сказал Яро.

Я заметил, что это австрийцы.

— Все равно,— ответил Яро.

Хозяйка принесла свежую скатерть, заглаженную по сгибам и накрахмаленную, расстала, что-то спросила про меня, я догадался, что они все знают Амалию и не в первый раз тут. Амалия ласково посмотрела на меня: русскому надо приготовить «наши специалитеты, если он, конечно, того желает». Я пожелал. Амалия принесла деревенского вина, немного водки, оранжаду для водителя, который вздохнул. Мать потрепала его по щеке. Следом за вином Амалия бегом притащила два подноса с разными перцами, подобием галушек в большом чугушке, блюдо со свиной, миски с капустой, кашей, куриными потрошками. Пока мы пировали, сын Гитицы не раз слепил нас магнием.

Австрийцы нам не мешали, мы — им, но вдруг все мое внимание устремилось туда, за их стол. Там стало тихо, непривычно, как-то сразу оборвался гвалт и смех. Я увидел, что австриец, до того сидевший в шляпе, застыл в странной позе, не донеся рук до головы, а шляпа его была

в руках у соседа. Все смотрели на голову этого человека — она была страшно обезображена шрамами, напоминала маску. Сосед в молчании надел шляпу на обезображенного и встал, извиняясь. Человек с обезображенным черепом отодвинул стул и вышел. Все молчали сначала, а затем заговорили, жестикулируя и, видимо, требуя от соседа, снявшего шляпу с их спутника, чтобы тот догнал, вернул несчастного.

Яро и Гитица сидели спиной к компании, все произошло мгновенно, и Гитица спрашивала:

— Что? Что там?

— Ничего не произошло, — почему-то соврал я.

До сих пор не знаю, почему я так сказал. Австрийцы поспешно расплачивались, Амалия провожала их, а Гитица продолжала свой рассказ о чем-то легком, веселом и беззаботном, как вино. Я спросил безо всякой связи:

— А что вы делали в войну?

Гитица удивленно посмотрела на меня и ответила серьезно:

— О, это были бы печальные воспоминания... Меня прятали от немцев. Мне было девятнадцать лет. Понимаете? Коса, румянец...

Я понимал. Мне тоже было столько же лет тогда. Я жил на юге, в Анапе. Когда мы с другом моим Сашей Сторчевым, пришли из военкомата, мама рассказывала, что видела одну нашу соученицу — она шла из парикмахерской и плакала. Мама спросила ее, что с ней, она ответила, что постриглась, чтоб легче было на фронте с волосами. Она записалась в санитарки. «Чего же ты плачешь?» — спросила ее мама. «Косу жалко», — отвечала та. Гитица спросила, чему я улыбаюсь. Мне снова не захотелось говорить о своем давнем, я сказал:

— Улыбаюсь печальным воспоминаниям...

*28 сентября*

Утро. Завтракая в отеле, поднял голову. Надо мной стоял человек в плаще с поднятым воротником, аскетическим, желтовато-серым лицом, с сигаретой в руке. Он назвал меня по фамилии. Я кивнул, пригласил сесть. Он представился:

— Я Р. Зовут меня Дане. Из комитета ветеранов. Слышал, что вас интересует партизанское движение в

годы войны. Хочу помочь. Пришел. У меня машина. Хотите — поедem. Я покажу вам одно место. Партизанскую больницу.

Говорил он сухо, даже вяло, но в словах чувствовались твердость и непонятная мне ожесточенность. Удивительный тип, подумал я тогда. Кто его прислал? Он сам. Услышал разговор в Союзе писателей. Подумал, что может быть полезен. А потом — всегда найдутся люди, которые уведут в сторону, покажут не то, многие уже забыли прошлое. Хотят жить «сначала». А жить «сначала» нельзя. Дане сжал костистый, твердый кулак. Безо всяких церемоний он сыпал пепел в тарелку с маслом, которое я только начал мазать на хлеб. Я наскоро допил кофе и спросил:

— Мы можем ехать сейчас?

Меня захватила эта идея, Дане показался вдруг понятным и простым, с ним я могу расслабиться, думать свое, он такой.

— Давайте просто вести себя, — как бы читая мысли на расстоянии, сказал Дане. — Мне интересно только дело. Если вас действительно волнует то, что было, если вы хотите что-то понять, — я к вашим услугам. Нет — и мне делать с вами нечего.

— Ясно. Чего там, — сказал я и пошел вперед.

— Переоденьте туфли. Чего-нибудь попроще. Надо ползать по горам. Если нет другой обуви, терпите.

— Ладно, — сказал я. — Поехали.

Машина была маленькая, скромная, светло-пегая. Какой-то не новой модели «фиат».

Мы долго выбирались из города. Утро было серое. Дороги забиты. Дане ворчал:

— Чертов стандарт. Каждый норовит отхватить машину. Забили город воню и стоянками. Проще сделать дешевым такси.

— Но и вы отхватили? — говорю я, усвоив тон Дане.

— Конечно. Глупость заразительна.

Некоторое время едем молча. Дане очень худ. В профиль он похож на Данте Алигьери. Костистые руки, цепкие, злые пальцы, даже баранку он ненавидит, подумалось мне. Курю ли я? Нет. Он будет курить? Пожалуйста. Бросал много раз. Но нервы. Когда куришь, не так распускаешься. Опять молчим. Проехали километров десять — ни слова. Дане пыхтит сигаретой, крутит резко на

поворотах, старенькая машина подрагивает и поскрипывает.

— Красиво у вас строят,— комментирую я новенький отель среди скал и сосен на повороте.

Дане молчит. Потом спрашивает:

— У вас есть дети?

— Да.

— Кто воспитывает? Мать? Бабушка?

— И мать. Бывает — и бабушка. А что?

— Так я и знал.— Тонкие губы Дане кривятся в откровенно презрительной усмешке. Он снова делает паузу, и я начинаю привыкать к такой манере диалога.— Вы думаете, что любите вашего сына...

— Дочь...

— Ну пускай дочь. А потом начинается: «Ах, где же коллективизм! Ах, молодежь надо спасать!» А ее поздно спасать, спасать надо ребенка трех-четырёх лет, там начала воспитания, социальных навыков. Государство, а не родители, должно воспитывать детей.

— Разве тут есть противоречие? Разве в казарме идеал воспитания?

Я рассердился не на шутку. Дане удивился и поднял брови. Некоторое время он внимательно изучал дорогу, потом сказал, как бы в раздумье:

— Я не сказал — казарма... Не сказал. Но детей мы не воспитываем как надо.

Дались ему эти дети!

Дорога забирала вверх широкими кругами. Красные листья лежали горками по краям дороги, как будто их специально сметали в кювет. Леса подступали все ближе и наконец нависли слева довольно круто. Справа обозначилась долина, на повороте она совсем распахнулась, отбросив желто-красное свое одеяло. Стало далеко видно.

— Вот Церкно,— сказал Дане.

В долине дымились трубы деревеньки. Она была вытянута в одну сторону, кажется — по руслу какой-то речушки. Мы остановились, вышли. Вид был красивый. Звуки, как всегда в горах, разносились из долины отчетливо. Пастушок играл на дудке, нечто пасторальное было в этой картине стада, шелканье бича, лай собаки, незатейливой мелодии. Вдали белела одинокая вершина. Кажется, это был Церкнянский Верх.

Дальше пошло вниз и вниз, километров через пять на-

чалась зеленая дорога уже вдоль реки, в долине. Мы приехали в местечко под названием Лог. Собственно, местечка, о котором говорил Дане, я не видел, кругом был лес, а на берегу речки Церкницы, у подошвы горы, круто начинавшейся сразу же за службами, стоял каменный дом.

Мы окликнули хозяина. Никто не отозвался. Двери были открыты, и мы вошли. В чистой, просторной прихожей на вешалке висели куртки и комбинезон, почти новый. Слева открытая дверь — она вела в просторную столовую с длинным столом и городской мебелью: низкий сервант, хорошие стулья с соломенными сиденьями. Из столовой также открытая дверь вела в кухню, в которой стояла большая печь с шестью конфорками, на стенах висело много крупной металлической, до блеска начищенной посуды. Мы еще раз окликнули хозяев. Тишина. В открытое окно донеслось мычанье коровы, да ветер шевелил ветки сосны, и они шуршали вверх, деревья росли здесь уже на склоне, довольно густые их заросли зеленой тенью легли на беленые стены кухни.

Наконец послышалось шарканье ног — сверху по лестнице кто-то спускался в прихожую. Мы поспешили обратно.

Щурясь от света, бившего в открытую входную дверь, смотрел на дорогу высокий, плечистый малый, лохматый, в расстегнутой черной рубаше. Станным казалась его поза. Руки в карманы, стоит, не обращая на нас внимания, и смотрит мимо нас. Дане кашлянул, парень спокойно перевел взгляд на нас. Глаза были задумчивые, с поволокой. Он не сразу разглядел нас, стоял, как бы вспоминая что-то, потом медленная улыбка, виноватая, извиняющаяся, растянула его лицо. На вид я бы дал ему лет двадцать.

— Здравствуйте. Нам нужно Млакара Метода,— сказал Дане.

Парень, не отвечая ему, протянул мне руку и засмеялся. Я смутился. Рукопожатие было очень сильным, у меня заныли пальцы. Кто-то шел со стороны дороги. Парень вздрогнул и приложил палец к губам. Потом он быстро побежал наверх, перепрыгивая через три ступеньки.

— Паяц!— Я сердито пожал плечами.

Дане казался невозмутимым.



Вошла женщина, по-деревенски повязанная платком, но одетая по-городскому. Седые волосы не очень соответствовали молодому взгляду приветливых глаз.

— Добро пожаловать,— сказала она певуче.— Я тут отлучилась ненадолго. Муж? Он скоро придет, работает наверху.— Она показала на гору.

Дане объяснил, кто я, и сказал, что мне будет интересно побеседовать со стариком. Он так и сказал: не с мужем, а со стариком. По всему видно было, что Дане тут не первый раз. Они говорили теперь об общих знакомых из Любляны.

Хозяйка предложила нам пообедать. Дане согласился.

— У вас есть постояльцы?— спросил Дане, когда мы сидели за столом с хозяйкой.

— Так, один-два в это время года. Проездом.

Я хотел спросить про парня, даже поднял глаза к потолку, будто указывая направление своего вопроса, но передумал спрашивать. Хозяйка разливала домашнее вино по керамическим низким и широким чашкам, наподобие наших среднеазиатских пиал. Вино было светлое, но в чашках казалось темным. Хозяйка, рассказывая, водила пальцем по скатерти, как будто рисовала круги. Лицо у нее было доброе, спокойное, руки рабочие, но аккуратные.

— Это вроде гостиницы для проезжающих, ну, мотель, что ли,— пояснил мне Дане.— Млакар построил дом давно, до войны. Он был вроде старосты, старший в Логе. В войну тут немцы появлялись эпизодически — их пугали лес, ущелье. Но в Церкно, а тем более в Идрии стояли посты. Сначала итальянцы, а после капитуляции Италии — немцы. Воевала в этом районе наша бригада, а всего бригад в каре было семь, и входили они в Девятый корпус партизанской армии. Борьба по-настоящему началась в декабре 1943 года в местечке Пасице. Нас было около десяти тысяч бойцов. Первые раненые появились в том же декабре. И вот старик Млакар...

— А вот и он,— сказала хозяйка,— я слышу его шаги.

Мы ничего не слышали, но она встала, смахнула невидимые крошки со скатерти, оправила передник. Строгий старик, подумал я, наблюдая перемену, произошедшую в хозяйке. Нет, она не суетилась, не было в ее движениях нервности, просто подтянулась как солдат, когда кто-то шепнет: «Ротный идет!» Старик действительно вошел через некоторое время.

— Ну и слух у вас!— улыбнулся Дане.

Хозяйка ответила просто:

— Да я уж его шаг знаю.

Млакар оказался маленьким, сухим старичком с узким черепом, запавшими щеками, волос почти не было, те, что остались, были седыми и редкими. Одет он был в поддевку, на ней оставались следы опилок. Он поздоровался спокойно, с достоинством, нахмурил кустистые седые брови, когда Дане попросил его рассказать мне о какой-то Фране. Дане быстро и горячо заговорил по-итальянски. Старик все чаще поглядывал на меня и, как мне показалось, постепенно теплел. Он тоже быстро отвечал по-итальянски. (Тут недалеко от Триеста. Словенцы — многие, особенно, разумеется, старшего поколения,— хорошо, свободно говорят по-итальянски, это их второй родной язык.)

Млакар закивал головой, встал и пошел мыть руки. Хозяйка и ему поставила прибор, но он, возвратившись из кухни, молча показал ей, что есть не будет, когда же она протянула руку, чтобы убрать и чашку, он закрыл чашку ладонью и продолжал говорить, теперь уже по-словенски.

— С чего все началось?— Он смотрел теперь только на меня.— Началось с того, что пришел доктор Волчак и сказал: «Млакар, у меня в лесу раненые. Думай скорее!» Он не сказал, что я должен думать, но я и сам знал.— Хозяйка стала разливать вино, пододвинул чашку и Млакар.— Ваше здоровье... Я сказал доктору, что возьму шапку, и мы пошли. Пока я искал шапку,— знаете, она всегда теряется, когда думаешь не про нее,— я решил, что делать. Мы пошли с доктором вверх,— старик показал рукой за спину, в сторону горы,— я привел его в каньон, где с вершины, с ледников, течет ручей по ступенькам из камня, и сказал: «Там можно построить больницу и лечить партизан». Доктор сначала рассердился: он увидел...

— Мы сами пойдем туда, он увидит,— гордо как-то сказал Дане, кивая в мою сторону. Я подтвердил.

— Ну, а потом спросил, как будем доставлять раненых. По ручью, конечно, не по воздуху же, объяснил я. Доктор покачал головой. А что он мог предложить? Че-

рез час-другой начнут обходить лес патрули, найдут его раненых в лесу — и крышка. Я предложил перевести на ночь раненых ко мне, у меня никто искать не будет — мне верили, я был главным сборщиком продуктов питания... Это было так придумано: крестьяне наши все заодно, у нас ни одного предателя... Нет, правда, один был...

— А Теренций? — зло закричал вдруг Дәне.

— Да, Теренций еще, два. — Млакар загнул один палец, потом другой и поднес мне прямо к носу. — Всё. Два только. Давайте пейте вино домашнее, от него голова не болит. Прóзит!

Выпили. Млакар вытер губы тыльной стороной смуглой своей, морщинистой руки.

— А ты? — вдруг обернулся он к старухе.

Та стояла за его стулом, сложив руки под передником. Улыбнулась, покачала головой — не будет. Млакар продолжал:

— Крестьяне собирали мясо, картофель, пекли хлеб, большую часть тут же приносили мне, а я через явочные пункты снабжал партизан. Немцам доставалось повозки две, они и то рады были...

— А все-таки кормили их, кормили, сволочи! — Дәне взрывался как-то внезапно, и краснела шея, надувались жилы...

— Я не буду рассказывать, — обиженно сказал Млакар. — Ты всегда так.

Они засопели. Дәне стал хлебать суп. Я положил руку на локоть Дәне и сказал старику:

— Ну, прошу вас.

— Он же сам знает — не дай мы немцам хлеба, они вырвали бы у нас из рук заготовки, тогда партизанам пришлось бы худо... Знает, а кричит. (Дәне ел сосредоточенно, будто не о нем шла речь.) В общем, ночью я перенес с Волчаком раненых в сарай, на задах там, марганцовкой промыли раны, перевязали. Она вот тоже помогала. — Старик обернулся к хозяйке, посмотрел на нее строго, будто впервые осмыслил ее значение в своем рассказе, провел рукой по воздуху и махнул в сторону. — Все это «Гостилна в логу», сзади три сарая. Теперь один. Сожгли потом. Вот оттуда на носилках я, она, Волчак и еще два крестьянина целую ночь осторожно носили доски... Гвозди, скамьи, хлеб — до пасеки, а там — по ручью. Ох, и холодная вода сначала была!

— А потом нагрелась!— захохотал Дане.

— Потом мы нагрелись, привыкли.— Млакар вспоминал, прищулив глаза, смотрел куда-то поверх моей головы, будто рассматривал побелку в углу, вздохнул.— Камни скользкие, а надо по воде: не дай бог, овчарки нападут на запах крови... Раненых мы тоже несли на себе, на себе, на себе.— Млакар согнулся до края стола и показал, как тяжесть оттягивала плечи.— Сначала ручей идет не очень круто, по ступенькам...

— Он увидит, увидит!— опять зло закричал Дане, будто это я и был виноват в том, что путь такой трудный.

Млакар не обращал больше на Дане внимания.

— Потом почти водопад, местами можно сбоку пробить ступеньки, но сразу же пришлось маскировать. Сверху каньон уже, получается пазуха,— он закруглил руки в локтях,— вершина над этим местом заросла деревьями, сверху мы свалили несколько больших сосен, пни замаскировали тоже, сосны легли поперек, закрыли сверху пазуху эту, дно каньона стало темнее, зато получилось хитро: свет проникает, а с горы даже в бинокль ничего не видно. Только трудно туда пройти, ох, трудно! А там подрубили ниши, выбили в породе пещеры, укрепили стволы поперек ручья, над ним и строили бараки — где на породе, а где на сваях. Постепенно понатаскали всего — утвари разной, хозяйства, даже динамо-машину, даже рентген у нас был! Его по частям переносили, потом монтировали.

Хозяйка принесла второе, я ел машинально, весь на слуху, боясь, что старик устанет вдруг рассказывать или Дане его разозлит своими взрывными репликами. Но Дане слушал, подперев голову рукой, внимательно, словно в первый раз.

— ...Тут, знаете, стояло боевое охранение Девятого корпуса, отходя под натиском немцев, те нагнали танков, минировали окружающий каньон лес. Никто не думал, что это нам пригодится. Патрули боялись ходить. Один раз там, где пасека, прошли как-то двенадцать человек. Они шли цепочкой, я сразу понял: знают про мины — иначе зачем идти цепочкой, правда? Они дошли до кладбища, видели?..

— Он увидит,— нетерпеливо перебил Дане,— рассказывай пока.

— Я следил, шел параллельно, еле дышал — вот-вот

рванет на mine... Но думаю: если нападут на след, обнаружат, отвлеку на себя... И топал прямо по минному полю. Кто же знал, где точно они натыканы? Ну, не напоролся, потом говорили саперы — прошел рядом... Вижу, крутятся, повернули, и я повернул домой. А там, как назло, связные из бригады. Я им про немцев. Один быстро на велосипед и куда-то дернул. Оказывается, на горе еще боевое охранение подтянулось. Ну, короче, они немцев перестреляли до одного. И ушли. Я думаю: все, теперь точка. Придут же их искать. Пришли. Точно. Только подорвались на минах. Три взрыва было. Повернулись назад, вижу из окна — несут на руках одного, а других просто не собрали... Я тут стоял, — Млакар резко поднялся, подбежал к окну, потом отпрянул к серванту, — смотрел через ставень в сердечко, смотрю — автоматы наводят, отскочил еле-еле. Они дали две очереди длинных. Вот следы. (Да, как я их раньше не заметил? На противоположной стороне, свежезабеленные не раз с тех пор, а проступают темные следы пуль и на потолке строчка.) Вот сюда... — Млакар закатал рукав, подошел ко мне и показал раны от локтя до плеча. — Прямо через ставень... Ворота были на крепком запоре, потолкались, а во двор не зашли — боялись засады. А Демшера убили.

— Предатели! — Дане ударил кулаком по столу.

— Верно, предатель. Демшер родом из Шкофья Лока. Хороший человек. Он этот рентген перетаскал в Лог. Два дня у меня жил. А потом работу кончил, смонтировал, пошел с пленкой. Ее проявляли в Триесте. Доктор Чикарелли такой проявлял нам. Ночью окружили дом, где Демшер остановился, — это не здесь, по дороге около Желина. Он отстреливался, только его прямо сюда, — Млакар показал скрюченным пальцем на мне область сердца, — прямо в сердце.

Дане решительно встал:

— Пошли. Пойдешь или устал? А, Млакар? А то я дорогу найду.

Старик молча встал, взял с гвоздя поддевку, отряхнул опилки, надел, застегнул пуговицы.

В это время наверху слышались странные звуки, будто кто-то выл тоскливо. Звуки продолжались недолго, но все их услышали. Хозяйка, метнув быстрый взгляд на Млакара, вышла из комнаты. Дане закашлялся. Млакар нахмурился и круто повернулся к выходу.

...Мы быстро шли по тропинке, которая становилась все круче. Лес пламенел всеми красками осени. Пахло сеном. Вскоре на поляне, расположенной террасами, увидел сеносушилку под навесом. Сено уже побурело, запах был горячий, пряный, долгий. Справа шумел ручей. Он временами переходил в сильные каскады, камень под струями был цветной от травы, которая змеилась, как водоросли, по течению. Пахло резко, обдавало холодом. У мостика не выдержал, наклонился, опустил кисть руки и едва не отдернул — ледяная. Не отдернул только потому, что показалось стыдно: за мной следил старик. Дане ушел вперед.

— Да, вода холодная,— просто сказал Млакар,— круглый год. У меня ревматизм, кости кричат зимой.

Он так и сказал — кричат кости. Я понял.

— Один раз она,— старик повернулся лицом к дому,— она упала — чуть не убил ее... Лекарства нельзя мочить. И бинты несла. У самой Франи, надо же!

Я поверил, что он мог ударить жену.

— А Франя — что это?

— А... Девушка одна, звали ее так. С января 1944 года она сменила Волчака. Доктор. Франя Бойц-Бидовец. Бидовец — это потом, по мужу. Ее именем стали звать партизанскую больницу.

Тропинка перешла в лес незаметно, мы шли теперь по траве, карабкались — сказать точнее. Это был левый берег ручья. Здесь вода ревела вовсю. Прошли мимо развалин старой каменной мельницы. Дане остановился и снял берет. Я стал различать между деревьями какую-то таблицу, которая оказалась плитой, утопленной в траве. На ней были выбиты имена погибших. Млакар сказал тихо, останавливаясь около меня и тяжело дыша:

— Покопалище.

Это слово в его старославянском корне несло информацию достаточно понятную. Здесь копали могилы, чтобы хоронить. Сколько их было, умерших от ран? Я читаю имена под тремя колонками. Над первой нарисованы две буквы: «ОФ» — Освободительный фронт. Это все, кто боролся с фашизмом, кроме коммунистов. Вторая колонка увенчана знаком пятиконечной звезды. Это коммунисты. Третья начинается с изображения креста. Беспартийные. Прочие. Три колонки, почти равные. Лечилось в больнице «Франя» за все месяцы существования ее 522 человека.

Умерло от ран 61. Значит, 461 человек остался жить и бороться благодаря таким людям, как Млакар, Волчак, Бойц, Демшер и другие, кого я еще не знаю...

Тихо идем дальше. Теперь тропинка пробита в скале, а дальше карабкаемся по доскам, подвешенным вдоль стены каньона, они скрипят, качаются. За моим плечом одышка Млакара. Дане молчит что-то долго. Я спрашиваю старика, давно ли он знает Дане. Млакар останавливается перевести дух, и вдруг лицо его освещает хорошая улыбка.

— Дане старый партизан. Это человек-камень. От него зажигались люди. Он скромный. Ничего не рассказывает о себе. И не советую спрашивать — сумасшедший. Может сделать что угодно: уедет, слова от него не добьетесь. Вы о нем спросите в Идрии такого Павлина. Это комиссар бригады. У Дане жизнь плохая была. Жена умерла. Партизанка. Он долго жил один. Женился на художнице. Родился сын. Стал известным скульптором. А отец его выгнал из дома... Они разные. Дети — это... тяжело. Я говорю Дане: «Моли бога, что здоров. Хуже, когда...»

— Что вы там копаетесь?— Дане явно почуял неладное.

— Идем, идем!— заторопился Млакар.

— А художница с сыном видится?— тихо спросил я Млакара.

— Умерла от рака. В прошлом году.

Справа в боковой расселине скалы над нами навис железный рельс. Я спросил, что это. Млакар объяснил, что здесь навешен был временный мост. («Двйжни, двйжни мост!»— закричал Дане, он поджидал нас.) Я понял так, что «подвижный», «съемный», в этом роде. Оказывается, на ночь его на всякий случай убирали. Последний раз пересекаем ручей по доске на высоте около четырех метров.

— Слева — видите?— бункер для метания гранат. На случай, если бы немцы проникли сюда, здесь, за поворотом скалы, их всегда могли встретить метальщики.

В темном каменном мешке каньона я увидел ряд барачков, покрашенных с учетом маскировки в желто-зеленый цвет. Мы вошли в первый. Нары, выцветшая газета на стене.

— Печаталась возле Огальце, километров двадцать,



если по прямой, но дорога здесь петляет. Это ближе к Идрии. Там была «тискáрня». (Отмечаю про себя «тиска́рню» — типография, óттиски; т́ска́ть — печатать, сам говорил: «Тисни экземпляр для метранпажа».)

Вырезанные из газет сводки с фронта. Серп и молот красными чернилами прямо на стене. Бараки похожи один на другой, но у каждого была своя судьба, свое назначение. В этом — просто умирали. Переносили из «операционной» или «палаты тяжелораненых» (особый барак) и клали на эти низкие широкие нары в один лишь ярус, покрытые шинельным сукном с рыжими разводами. У стены прислонены носилки. Одно небольшое оконце — как последняя надежда, как прощание... Что они видели отсюда? Кусок скалы, немного света, упорный корень какого-то дерева. Он прорастал сквозь породу, оголенный, перекрученный выходил наружу... Под полом барака «для смертников» бежала вода. Они слышали ее вечный шум, и это, вероятно, проникало в душу, умиротворяло, заставляло думать, что вода так же будет шуметь всегда — и там... Вода внушала философское спокойствие. И заглушала хрипы агонии.

Вода шумела и под полом другого барака — «для выздоравливающих». Здесь она пела открыто, бесхитростно — то ли пол был потоньше, то ли из других, более певучих досок, но музыка воды играла здесь на деке пола совсем иначе... Тут стоял стол, на нем — самодельные шашки, пожелтевшая подшивка газет того времени: Тито в куртке, застегнутой до ворота, в пилотке. Квадратное волевое лицо. Призывы. Сообщение о первых успехах советских войск. Какой же это год? Ах, вот что: рассказ очевидца, участника боев под Москвой. Партизан Володя. Кто он? Так и написано: «Рассказ партизана Володи». Какова его дальнейшая судьба? Выписываю название газеты, примерный месяц (нумерация шла подряд). А вот волнующее свидетельство политкомиссара Ивана Турчича-Изтока. Правильнее перевести, вероятно: Турчич-Восток. Мне чудится в этой фамилии определенный псевдоним, еще больше укрепляюсь в мысли, читая его донесения штабу Приморской оперативной зоны. «В день объявления войны СССР я с патрулем из 30 человек и двумя пулеметами атаковал автомобиль квестуры (далее что-то было выжжено упавшим угольком или пеплом самокрутки)... Акция была закончена в четыре минуты.

17 квестуринов (жандармов) убито, один бежал. Трофеи: 3 автомата, 15 винтовок, 17 пистолетов, 30 гранат, 800 патронов винтовочных, около 300 автоматных (опять разрыв в бумаге)... 5 шинелей, 10 телогреек, носки и разное другое добро (вещи)».

Вот что, оказывается! В первый же день войны нашей с гитлеровцами словенцы объявили войну оккупантам — итальянцам! Да, с акции под Разорами началась партизанская война в Словенском Приморье. Из групп Сопротивления возникла потом знаменитая Григорчичева бригада, о которой мне уже говорили раньше. А первый батальон, оказывается, сформирован на базе именно той группы, о которой рассказал Иван Турчич-Восток.

Мы вышли из барака. Солнце проглядывало так высоко, что мы казались замурованными в глубоком колодце. Лучи проникали сюда сквозь зеленый веер крон — деревья на верху горы почти смыкались. Я смотрел вверх, стараясь представить ежедневное самочувствие людей, загнанных в каменный этот мешок, окруженных плотными минными полями, лишенных даже солнца...

— А если... бомба с самолета,— спросил я,— неужели немцы не пробовали?

— Сначала надо было найти. Немцы ходили под бок и не могли догадаться,— ответил Дане.— Но что-то они почувствовали. Стал кружить самолет. Наверное, дым, когда топили. Но топили-то опилками больше, они меньше дают дыма. Только кухню топили углем. Потом вообще стали мясо варить внизу и носить готовое. Это после того случая с самолетом, да?

— Бросили зажигалку,— кивнул Млакар,— зажгли лес, хотели выкурить... Франя рассказывала — думали, задохнемся. Понимаете, в каньон втянуло ветром дым, искры, мог начаться пожар, а главное — люди стали задыхаться. Казалось, конец... Я смотрел с пасеки и молил бога, чтоб ветер переменился. Дым шел из каньона, как из трубы, я думал, все сгорело, никого не осталось... Жена плакала и молилась. Потом дым пошел сильнее и в сторону. Я проверил: что за чудо? Дым шел в одну сторону, ветер — в другую... Ночью пошел по ручью вверх. Обмазался жиром, как всегда. У поста, помните, где ниша для гранатометчиков, закричала птица: знак такой был. Я тоже закричал. Значит, есть кто-то живой. Пришел — все живые, только черное все и люди как негры, смеются.

Перехитрили немца. Что бы вы думали? Они приспособили динамо, которое я им принес, а один крестьянин дал турбину. Тут вода падает сильно, они сделали свой движок. Ну, и придумали такой ветродуй — каньон узкий, силу тяги создать легко внизу, а дальше получилась подушка дымовая. Над самой водой тянуло воздухом. Одиннадцать киловатт динамо...— Млакар смеялся, смахивая слезы, будто и ему глаза разъело дымом.— Как мы радовались тогда! Франя мне давала спирту немножко всегда на обратную дорогу...

— Внутрь,— засмеялся Дане. Он, я заметил, тоже переживал рассказ о пожаре. Смотрел то на меня, то на старика и переживал все заново.— Внутрь... Один жир снаружи не помогал в ручье!

— А тогда мы все выпили. Это была первая большая опасность. Ничего они не могли с нами сделать,—гордо продолжал Млакар и стал серьезным и подтянутым, прямо на глазах переменялся.— Пробовали отравить воду в ручье. Они уже знали, что в каньоне что-то есть опасное для них, что — не знали,—бросили поверху какую-то гадость, но она действовала недолго, мы пробу брали. Но у нас вот что было, откуда немцам знать... Вот пойдемте туда...

Мы прошли вдоль нависающей стены-карниза в глубь змеящегося каньона, и вскоре к шуму ручья примешался новый, более тонкий, звенящий; справа в стене базальта я рассмотрел трещину, а чуть повыше, на уровне двух примерно метров, трещина расширялась, и в известковой уже породе было чашеобразное сооружение. В него из горы вытекал еще один ручей и впадал снова в подземное русло, которое незаметно соединялось с большим ручьем. Мы попили воды из желобка, который соединял чашу водосбора с бочкой. Вода ломил зубы и была вкусной.

*30 сентября. Ночь*

События последних трех дней переполняют меня. Писать было некогда. Тогда, 23-го, я приехал в отель в третьем часу и до пяти, боясь забыть, писал дневник. Вчера записывал пунктирно, только вехи, сейчас переписываю. Кажется, моя поездка оправдывает себя. Я нашел для себя многое, может быть, больше, чем искал...

...Итак, вернувшись из больницы «Франя», мы с Дане и Млакаром сидели в той же столовой и пили чай.

— Вот здесь, за этим столом, была партизанская свадьба. Мужем Франи Бойц стал Бидовец, врач-окулист, тоже партизан, конечно. Мы спустились вниз, пользуясь легким затишьем. Дело в том, что немцы, как я говорил, несли патрульную службу...

— Постойте, постойте!— Неожиданная мысль осенила меня.— А вы не слышали среди офицеров, ну, случайно среди немцев-офицеров такую фамилию — Петер Майер?

Нет, конечно, я сказал глупость. Кто из словенцев водил знакомство с фашистами? Правда, может быть, попадали какие-то документы, ну мало ли что бывает... Нет, ничего такого про моего попутчика они не знали, не могли знать.

— ...Так вот, немцы временами снимали патрулирование и уходили в Идрию. Франя предложила справить свадьбу у меня. Было человек десять. На всякий случай мы замаскировались получше, пели даже вполголоса,— чем черт не шутит.

— Предателей боялись, так и скажи!— закричал Дане.— Ведь были они, были?

— Ну, человек!— Млакар обратился ко мне за поддержкой.— Два, говорю, всего два,— снова крючковатый палец возник перед моим носом,— Теренций и тот, из Войска.

— А что это за Теренций?— спросил я.

— Понимаете, следы организации вели в Ясеницу. И в Крайну. Там был провизор, он делал лекарство. А возили на муле. Человек один. Вот идет он за мулом, поет, как всегда. Постов тогда на дорогах не было. Лениво проверяли. А тут вдруг его останавливает патруль: «Хенде хох!» Он понял, что деваться некуда, хотел бежать, его убили. И бросили на дороге. Мула реквизировали. Когда человека нашли крестьяне, он еще живой был, сказал, что Теренция подозревает. Взяли люди Теренция. Отпирался, но под действием улик сознался. Был народный суд. Позвали Теренция в большой дом, закрыли ставни, позвали много народу. При свечах — дело вечером было — провели дознание, все как надо, по закону, прочитали приговор. Он стоял на коленях, просил помиловать, я там был, зубы у него стучат так противно, а жалко все же. На коленях ко мне подвигается. Я был еще при уходе итальянцев на-

родом выбран начальником государственной комиссии. Шефом.— Млакар повернулся к Дане: — Вот и мне, было время, власть верила...

— Теперь тоже верит,— почему-то пряча глаза, сказал Дане.

— Было время — не верила. А ты знаешь,— упрямо подчеркнул Млакар.— Ну вот. Подполз ко мне Теренций, в глаза смотрит. Ничего не говорит, в глаза смотрит. Я отвернулся, а он, бедолага: «Что, Млакар, забыл, как твоя баба под карабином стояла? А ты вспомни, вспомни и про меня подумай. Все человеку можно сделать, он и сам со страху может гадом стать, но потом поймет, себя проклянет, навсегда очистится. А под карабин поставить, заставить в дула смотреть черные кто может? Кто вам дал право от имени бога судить?» Выходит, он, предатель, меня судит, а не я его? А люди говорят: мы, мол, тебя не будем под карабин ставить, мы тебя повесим. Чтоб другим не повадно было. А он говорит — спокойно так — и встал с колен: «Вешайте. Я теперь все понял. Я лучше вас, все равно лучше. Только раз, на минуту, я испугался, а вы, вы всю жизнь боялись и теперь себя самих боитесь, вот и рады судить другого». И повели мы его, и повесили. Не я. А все равно, как вспомню про эти слова, все думаю, думаю: что он хотел?

— А чего тут думать!— закричал Дане сердито.— Чего думать! Разжалобить вас хотел — и все!

— Нет, Дане,— как-то мягко, как ребенка, поправил старик. Вздыхнул, сделал какие-то движения в воздухе рукой.

Но тут раздался тихий, но отчетливый звук сверху. Вой не вой, плач не плач... Рука Млакара так и застыла. Он встал, извинился, вышел. Плач продолжался, потом смолк, стало тихо. Теперь я услышал, как пробили большие часы с мелодичным боем в соседней комнате. Я спросил: не пора ли, мол, нам? Дане отрицательно покачал головой, продолжал прислушиваться, нахмурившись. Пришел Млакар. Как ни в чем не бывало сел, налил себе еще чаю. Я снова, как тогда, когда в первый раз раздался этот странный звук, поднял голову к потолку, но Млакар явно не хотел отвечать на немой вопрос.

— Немцы в конце концов решили разделаться с «Франей». Бросили бомбу, другую, сожгли несколько барачков, раненых мы эвакуировали в щели, бункеры (я видел эти

слепые норы с запасом воды и пищи), но разрушения были сильные. Начался пожар. Тогда Франя приказала жечь солому, мы свалили все в большой костер, что уже не нужно было или начало гореть, и устроили большую провокацию. Немцы должны были думать, что все у нас кончено. Дым валил вверх, но теперь это было неопасно, — наоборот, тяга, как в трубе печной, вверх была... Больше того — Франя велела пустить по ручью остатки пищи, тряпье, кровавые бинты, мусор, вещи даже, чего мы никогда раньше, конечно, не делали... Внизу, у Лога, наготове стояла примерно рота автоматчиков. Идти дальше боялись, но несколько человек со щупами уже очищали лес от мин. Демонстрация, видно, удалась, немцы повернули, сняли осаду, ушли на Идрию. Мы спешно начали эвакуацию, знали, — теперь слежка за нами будет пристальной. А тут еще и явка моя раскрылась. У нас ведь были русские, вы знаете? Подробнее? Нет, о них вам лучше расскажет Франя, она живет в Любляне, или тот же Павлин... Вы в Идрию поедете?

Дане кивнул, не спрашивая меня. Млакар Метод продолжал:

— Жена спрятала меня в стогу, когда увидела, что немцы не просто идут во двор, а окружают дом с автоматами наперевес. Они взяли ее, спрашивали, где я. Она молчала. Тогда они привязали ее к столбу, где сено сушится. Представляете, я рядом, в копне сваленного сена, а они щелкают чем-то, разговаривают. Я понял, что они ее убьют, начал сбрасывать с себя сено и вдруг слышу команду:

«Так и оставьте ее. Он сбежал, а ее бросил. Нет, не развязывай! Пусть так и постоит. Может, сама сдохнет, не дождется».

Другие голоса стали что-то говорить офицеру и смеялись. А офицер сказал: «Что ты, Курт, она старая... Ну ладно, быстро проверить горячее, если мало в баках, тут, я знаю, у старика есть. И строиться... Петер? Петер может и со старой? Нет, милый, некогда.... Шнель, шнель! Ах ты негодник!»

Раздался смех, потом заработали моторы — у них была машина, кажется, бронетранспортер или что-то вроде этого — и уехали. Я вылез из сена и подошел к жене. Она стояла спокойно и, когда я развязывал ее, сказала: «Осторожнее! Что ты дергаешь, можно подумать, что

тебе на работу. Ужинать еще рано»,— ворчливо так, как всегда. И тут только увидел, что она седая.

Вошла хозяйка, спросила, не надо ли чего еще.

— Не надо,— резко сказал Млакар, не оборачиваясь.— Иди, иди.

Я посмотрел на него. Он часто моргал, глаза были красные. Хозяйка вышла. Млакар тихо продолжал рассказ:

— Эвакуировали в тыл. Оттуда на подводах до тайных аэродромов. В Бари— это уже в Италии— летали английские и ваши, русские самолеты. Тяжелые лежали в Бари. Легкораненых оставляли на базах в лесу. Их потом распределили по домам крестьян. Долечивали. Мы в общем держались до пятого мая 1945 года.

Он встал, давая понять, что беседа окончена. Да, она и нервно, и физически утомила его. Я видел это. Вышли провожать с женой. Я хотел сфотографировать их, когда слышался шум на лестнице и сбежал детина в черной рубаше, лохматый, с блуждающей улыбкой. Млакар крикнул:

— Уходи сейчас же!— На его лице отпечаталось выражение крайнего гнева и ужаса почти.— Ты его открыла?

— Успокойся,— мягко сказала жена,— успокойся. Он хочет сфотографироваться с нами, да?

Парень радостно мычал и кивал головой. Он хотел пожать мне руку, но я, птясь, наводил фокус. Не знаю, получилось ли что-нибудь, так как парень все порывался вперед, а Млакар крепко держал его и не отпускал.

— Стой, сынок,— сказала хозяйка, и парень замер.

Я щелкнул, мы еще раз попрощались все, я пожал руку и парню, который что-то мычал и тряс мою руку. На Дане он не обращал внимания.

— Вы ему понравились,— благодарно сказала мать.

Мы развернулись между деревьями и понеслись. Я оглянулся. Они все так и стояли, как фотографировались,— отец, мать и сын, сумасшедший сын...

Солнце садилось, когда мы въехали в Идрию. Это старый центр по добыче ртути. Рудники тут существуют 500 лет. Город окутан разноцветными дымами. Вдоль реки, тоже муаровой от выпадающих примесей, тихой и



почти неподвижной, высились старинные дома. Узкие и высокие их фасады под двускатными крышами напоминают бойницы старинных замков. Муаровая от выброса фабрик вода тускло отражает огромные деревья, свесившиеся над рекой. Въезжаем в Идрию. Мощенные камнем улочки покато бегут в гору. Дома напоминают мне Ялту. Зеленый город расположен террасами. Много особенностей. Тихо.

Дане, молчавший всю дорогу, вдруг говорит:

— Бедный Млакар,— и качает головой.

— Ты про сына?

— А про что же? Сам он в порядке.

Мы ставим машину в каком-то зеленом тупичке и выходим.

— Тут недалеко,— говорит Дане.

Я не спрашиваю, о чем он, усталость растекается по жилам, лень даже говорить. И тишина вокруг гипнотизирует. Солнце вот-вот зайдет. Людей не видно, город кажется пустым. Мы идем по узкому чистенькому тротуарчику, и шаги гулко отдаются в вечернем воздухе.

Мы подошли к деревянному дому среди каменных валунов и зарослей жасмина и дрока. Дане постучал в дверь, подергал ее — никого не было дома. Дане сплюнул, повернулся, пошел. Я последовал за ним.

— Тут моя тетка живет. Сто лет не видел ее,— наконец догадался сообщить он.— Пойдем в мастерскую, здесь рядом.

Мы пошли вниз по улочке.

— Млакар теперь ничего, а у него тоже были свои заботы. После войны его посадили.— Дане усмехнулся как-то виновато.— Да, посадили... Знаешь, по сути, это правильно — раскулачивали деревню. Ну, классовая борьба — это ты, надеюсь, знаешь?— Дане стал строгим и отдаленным.

— Постой, постой! Млакар же — герой войны!— Я ничего не понимал.

— Ну и что?— разозлился Дане, он даже остановился и смотрел на меня своими сразу же становящимися бешеными глазами.— Да, герой, а я что говорю — не герой! Но классовая борьба остается. У него был дом, скот, машина, динамо,— Дане загибал пальцы перед моим носом,— пасака...

— Машину, динамо он в больницу отдал, мед, ты же

знаешь, партизанам скормил. Методы его — ты слышал сам! — не ели! Мясо тоже...

— Его раскулачили правильно, — Дане схватил меня за плечи и стал трясти, — слышишь, правильно!

— Пусти меня, — холодно сказал я, и Дане сразу обмяк. Мы шли молча.

У мастерской «Чипка» Дане стал колотить кулаком в дверь. Наконец на втором этаже открылось маленькое окошечко и кудрявая головка миловидной девушки, едва пролезая в оконце, сказала, что сегодня «Чипка» не работает. Дане, задрав голову, спросил какое-то женское имя, ему ответили, что имярек в этот час пьет чай, разве мы не знаем этого? Оконце захлопнулось, мы стояли, не зная, что предпринять.

— Здесь делают знаменитые «чипки» — кружево. Только в Идрии. Тетка сохранила древнее искусство, передает ученицам. Мастерская сейчас государственная. Тетка была богатой, потому он с ней порвал, но потом услышал, что она передала дом и мастерскую государству, а себе оставила только маленькую комнату. Он был у нее, дай бог памяти, в позапрошлом или позапоза...

— Лет сто назад, — подсказал я.

— Нет, года три назад, — серьезно сказал Дане. — И вообще ты ничего не понимаешь... Ты меня прости, но ты, хоть и советский человек, ты плохой марксист... «Млакар — герой!» Млакар герой в одно время, правильно. А если надо отдать свое в мирное время, он еще подумает, скажет: «Я заработал своими руками...»

— Ну, сказал. Ну, отсидел. Когда его выпустили?

— Много сидел, — тихо сказал Дане. — Потом вернулся, стал жить в Логе. Потом все изменилось, разрешили иметь дом большой, пасеку, машину... Ну, знаешь, началось это время. Он опять все построил, что — сам, что — купил. Живет вот, видел... Смотри, смотри, вон образцы, — Дане припал к окну мастерской и махал мне рукой, — кружева тонкие, ажурные, как большие звезды... Это гордость Идрии. Первая — ртуть. Вторая — «чипка».

Я пытался рассмотреть образцы, но видел только красные круги — в темноте уставали глаза.

— Красиво, — сказал я неопределенно и сделал рукой круглос, но весьма неточное движение, даже пошевелил пальцами.

Мы снова пошли наверх по улочке.

Тетку мы нашли действительно за чаем. Но пила она его во флигеле. «Одна маленькая комнатка», которую тетка оставила себе, отвалив все остальное народной власти, оказалась тремя огромными залами с лепными потолками и был еще уютный флигель. Мы пили ароматный чай из жасмина, ели варенье. Тетушка полулежала в кресле-качалке, завернувшись в шаль с кистями, и вытирала слезы благодарности. Дانه, правда, как оказалось, был у нее не далее как... два месяца назад, но видеть дорогого племянника тетка все равно рада. Мне была подарена «чипка» величиной с десертную тарелку на память. Тетка, кстати, сказала, что техника вязания кружев пришла из России. Это очень заинтересовало Дانه, он даже вынул блокнот и записал что-то.

*1 октября*

Продолжаю дневник.

Встречался с комиссаром по фамилии Павлин. Очень скромным оказался этот Павлин. Простое лицо, спокойный, выдержанный. Добрый. Он свел меня с интересными людьми.

Нада Крайгер — писатель, бывшая партизанка. Ее муж умер в 1958 году. Знаменитый художник Пирнат. Был в плену, сидел в концлагере. Рисовал там ужасы — унижение, но и духовную стойкость, характеры, позы ожидания, напряженного ожидания действия... Видел автопортрет Пирната на фоне колючей проволоки. Сын его, знаменитый современный скульптор, иллюстрировал книгу Нады Крайгер «Мой сын в Киргизии». Это книга для детей. Нада написала ее как рассказ деда внукам о русском плене в первую мировую войну, о революции в России. Крайгер честный, прямой, крутой, я бы сказал, человек. В разговоре со мной она назвала еще одно имя — Даринка Собан. Врач. Даринка была когда-то врачом партизанской больницы «Павла». Такая же, как «Франя», только лесная, в глухомани, недалеко от Идрии.

Тогда мы с Дانه не смогли попасть в музей партизанской борьбы. Бавдаж, директор и смотритель музея, был в Любляне, а без него, сказал Дانه, не было смысла смотреть экспонаты. Бавдаж интересный свидетель, сам партизан, знает многое.

...Нада говорит просто: «У меня машина, мы можем хоть сейчас поехать в Идрию. Тут всего пятьдесят семь километров». Это было вчера. Мы выехали поздно, после обеда, в дороге сделали остановку,—оказалось, требуется доливка бензина в бак. В Идрии были вечером. Не сразу нашли музей. Он был где-то на горке. Южная ночь начала круто, без раздумий в форме вечера. Пока мы тыркались в какие-то калитки и ворота, посвечивая фонариком, стало просто темно. Фонарей не было ни на столбах, ни на домах. Я было расстроился: ведь завтра уезжать в Белград, а предчувствие никогда меня не обманывает — знаю, что тут найду какой-то кончик истории, важной и поучительной. Самодовольная морда Майера все чаще маячит в памяти. Рассказ о художнике Пирнате кольнул в самое сердце. Майер скупает рисунки лагерных художников. Пирнат сидит на фоне колючей проволоки. Майер гладит лысину смуглой рукой в рыжих волосках, которые кажутся седыми... Майер считает неморальным поездку в Словению...

— Вот,— прерывает мои мысли Нада,— нашла. Это здесь.

Высокая стена дома. Деревянная терраса вдоль второго этажа. Входим во двор. Дом расположен в форме каре. Внутри двора стоят какие-то машины («Это типографские машины»,— поясняет Нада), санитарный фургон, еще что-то, покрытое брезентом от дождя. По скрипучей лестнице поднимаемся на террасу. Толкаемся в закрытые двери. В переходе, подсвечивая фонариком, наталкиваемся на детей. Два маленьких существа, прижавшись друг к другу, сидят на ящике. Они укрыты одним пиджаком. Мальчик и девочка. Пиджак сполз, и Нада почти машинально поправляет его. «Грация»,— вежливо говорит девочка. Она чуть постарше. Нада быстро лопочет по-итальянски и улыбается.

— Итальянцы,— говорит она мне.— Папа и мама посадили их на пять минут, чтобы они не сломали шеи. Так они говорят.

Я похлопал по плечу глазастого мальчика, тарасившего на меня глаза, мы двинулись по террасе, мальчик сказал мне: «Оревидерчи».

Нада шла с фонариком впереди и ругалась, спотыкаясь о какие-то ящики. Одно время нам казалось, что мы увидели свет в одном из окон, но он тотчас пропал. Когда

мы обошли всю террасу, спустились во двор и подходили к воротам, услышали возбужденные голоса. Говорили по-итальянски.

Рядом с нашим «рено» стоял «фиат», который мы видели, подъезжая к музею. Дети, все так же прикрытые пиджаком, нерешительно стояли у открытой двери, а их папа отчаянно жестикулировал. Видно, маме надоело мучить детей, а папа имел какие-то высшие соображения по этому поводу. Нада стала говорить с итальянцами. Говорили они почти все разом. Нада по очереди освещала рты говоривших. Это напоминало мне то ли телевизионное интервью, то ли чешское представление «Латерны магии». Свет вырывал части тел, лица, порхал, как огненная бабочка, вверх и вниз. Наконец луч на время замер где-то внизу, и я увидел, что направлен он на ногу итальянца, закатывающего брючину. Все наклонились и внимательно ожидали, что покажет им итальянец. А показал он рану с неровным большим шрамом. И при этом говорил: «Даринка». Нада радостно что-то обещала итальянцу, а он стал ее обнимать. Дети запрыгали, и жена итальянца экспансивно обняла и Наду, и мужа.

— Он был здесь партизан,— сказала мне Нада возбужденно,— понимаете, его оперировала Даринка Собан. Сейчас мы поедem к ней. Он — русский,— сказала Нада итальянцу, показав на меня.

— О, у нас были русские в батальоне, много, смелые ребята.— Итальянец теперь тискал меня. Жена и дети вскоре присоединились к нему, и мне стало даже неловко — на меня ложилась слава целой нации.

— Но нам нужен Бавдаж, и мы его найдем.— Нада стала по-военному решительной. Она заложила два пальца в рот и громко свистнула. Маленький бамбино восторженно смотрел на нее, открыв рот.

Свист возымел действие. На террасе слышались легкие шаги, по лестнице сбежал мальчик. Это был сын Бавдажа. Нада объяснила ситуацию, мальчик оказался смысленным, он на все кивал утвердительно и, так и продолжая кивать, перешел на бег, устремляясь куда-то в ночь...

Минут через семь появился Бавдаж с сыном. Нада объяснила ему, что и мы, и итальянец хотели бы посмотреть музей и выставку лагерной графики. Бавдаж повел нас снова по переходам и лестницам. Мы шли, как индейцы, один за другим, продолжая возбужденно обменивать-

ся впечатлениями. Надо же так — итальянец не был здесь после войны и теперь увидит Даринку, та была совсем девочкой, да и он не старый был. (Жена итальянца что-то сказала мужу, и он обнял ее и поцеловал. Конечно, она его не так поняла, «мама миа!») Нада говорила Бавдажу обо мне, он несколько раз обернулся на меня, хотя все равно ничего не было видно в двух шагах.

Когда мы вошли в зал музея и Бавдаж включил электричество, мы, шурясь, рассмотрели друг друга. Итальянец оказался худеньким, моложавым, жена его — хорошенькой светловолосой особой в очках, а дети — просто куколками: одна в моднейшей юбочке и кофточке, другой в шортиках и капитанской курточке. Бавдаж, тяжелый, спокойный и невозмутимый мужчина с большими руками и медленными движениями, казалось, оттенял «перпетуум мобиле» семьи итальянца вокруг оси разговора. Бавдаж спросил итальянца, в каком тот был отряде, и когда тот ответил, Бавдаж всмотрелся в него и нерешительно спросил:

— Простите, а вы... случайно не Ментасти?

— Ментасти,— растерянно сказал итальянец.

— Вот история,— сказал, расплываясь, Бавдаж и почему-то повернулся ко мне,— вот история... Мы считали его погибшим. Я дал розыск по радио, кто знает... Он — Ментасти!

Бавдаж подошел и обнял его.

Дальше началось новое братание, и даже у меня что-то запершило в горле. Я видел, как покраснели глаза у Нады, как жена итальянца вытирала глаза платочком. Они вспоминали свой отряд. Оказывается, по рисункам Ментасти — он художник — восстановили макет больницы, сожженной немцами, а рисунки Ментасти воспроизведены здесь (и Бавдаж приносит нам брошюру «Большиница Пávла», издания Нова-Горица, 1967). Мы смотрим рисунки Ментасти тех лет, даже дети вырывают книгу и хотят посмотреть картинки... Потом мы идем во второй зал и смотрим рисунки Пирната. Молча стоит Нада. Сурово сдвинуты брови. Ментасти тихо говорит мне (Бавдаж переводит):

— У нас воевали русские. Два батальона. Они были самые бесстрашные. Бросались на бункер. У некоторых было по десять ран... Вы спросите Даринку, она должна помнить имя русского. Он подарил ей еще ложку, спроси-

те про ложку, ладно? Не забудьте... О, один был два метра,— вспоминает Ментасти,— гиганто русо! Советский офицер. Раны были в живот. Шесть ран. Когда его принесли на шинелях, он задыхался, умирал — мы так решили. Просил пить. Даринка сказала: «Дайте воды, дайте вина,— все равно». А утром видим — живой. Даринка сказала: «Не давайте пить, он может выжить, он чудом живет, значит, может победить смерть». Потом меня увезли в Триест. Перевели в госпиталь другой, однажды утром захожу в палату к другу и вижу на подоконнике вещи, которые я видел у русского гиганта,— квасец и бритва безопасная — у наших таких не было, я сразу закричал: «Русо?» — «Да, говорят, русский тут лежит». Вижу — к койке приставлен стул, понял — он самый, ему удлиннили койку, понимаешь? Значит, он выжил! Но меня уже увозили, и я не видел его...

— Витторио,— спросил Бавдаж,— а ты помнишь русских девушек?

— О, как же не помню!— Ментасти покосился на жену.— Они были так смешно одеты... Не помню, как это называется,— короткие пальто, и из них лезет вата... Если хочешь узнать, кто девушка, смотри на бороду — мужчины все были с усами и бородами,— остальное все одинаково: сапоги, пальто эти с ватой из дырок, автоматы, брюки...— Ментасти смеется тихо, вспоминая что-то.

— Один русский,— говорил Бавдаж,— заблудился в лесах, долго искал «Павлу», потом нашел, голодный, поцарапанный, заросший до самых глаз... Мы говорим: «Ешь, ешь сначала»,— а он все спрашивал: «Где наши? Где фронт теперь?» Мы сказали: «В Румынии». Он заплакал и долго есть не мог, плакал и смеялся...

— Добердон, вспомнил, Добердон — так называлась казарма в Триесте, где раненых разводили по больницам!— Ментасти хлопал жену по спине.— Она вспомнила, я рассказывал, а сам забыл...

Жена Витторио что-то сказала.

— Она говорит, что сестра Ментасти тоже была в партизанах, там, в Италии. Он — здесь, она — там, он не знал. Умерла в прошлом году, и ей пришла медаль. После смерти.

Вдруг раздалось щелканье затвора и громкое детское «тра-та-та-та...» Мы оглянулись. Сын Бавдажа и маленький итальянец залегли друг против друга — один за не-



мецким трофейным пулеметом, другой с автоматом. Ментасти нахмурился. Бавдаж усмехнулся.

— Ничего... играют,— сказала Нада и вздохнула.

В Любляну мы ехали на двух машинах.

Нада правила резко, на поворотах почти не сбавляя скорости. Она рассказывала о Пирнате. Я вспоминал его графику: «В юности»... Так называется лист о любви с автоматом за плечами. Худенький парень. На стене — символ непрочности! — покосившийся портрет. Девушка. Цветы. Девушка как тень.

Другие листы проходят передо мной... Вито Глобочник — «Яма»! Ноги немца. Сапоги, вырастающие до неба. И люди в яме. Вспоминаю поэму Ковачича «Яма». Вспоминаю нашего поэта Бориса Слуцкого, он был офицером связи при штабе маршала Тито...

Он писал о кёльнской яме, где земля приняла семьдесят тысяч пленных:

О вы, кто наши души живые  
Хотели купить за похлебку с кашей,  
Смотрите, как, мясо с ладоней выев,  
Кончают жизнь товарищи наши!  
Землю роем, скребем ногтями,  
Стоном стоим в кёльнской яме.  
Но все остается, как было, как было!  
Каша с вами, а души с нами.

Я читаю стихи Наде. Она взволнованно кивает: хорошие стихи. Фары вырывают из тьмы купы деревьев, скрипят тормоза на крутых поворотах, свежий ветер врывается в кабину через полуопущенное окно. Как свирепо, сладко пахнет осень!

Витторио гонит свой «фиат» за нами.

— Интересна история этого стихотворения,— говорю я Наде.

Это было на Авале, под Белградом. Немцы окружили нашу часть, которая рвалась к столице вместе с партизанами. Борис сидел на Авале с громкоговорителями и «работал на немцев». Он говорил им спокойно, как он умеет: сдавайтесь, мол, нечего трепыхаться, дело ваше капут по всем статьям. А они еще трепыхались. Я был на Авале в прошлом году — там следы минометных осколков на скульптурной группе Мештровича и сейчас видны... Так вот, Слуцкий беседовал с партизанами, среди них был

один сибиряк, босоногий, бежавший в партизаны из концлагеря. Он и рассказал поэту историю кельнской ямы. Причем, Борис говорил мне, почти такими словами и начал: «Нас было семьдесят тысяч пленных...»

«Не знаю сам,— рассказывал Слуцкий,— как это у меня так получилось, за два часа там же, на Авале, было написано стихотворение... До этого два года не писал стихов. Вот такая история....

— Вы были на Авале. Помните, как стоят эти женщины-кариатиды? Мештрович сильный талант. Памятник неизвестному солдату поставлен на Авале еще перед самой войной... А женщины (они олицетворяют все народы Югославии) так и стоят... Женщины сильнее мужчин,— неожиданно закончила Нада.

— Я люблю Мештровича,— сказал я,— люблю за эпичность, которая достигается лирическими средствами. Вы знаете, конечно, его скульптуры последнего периода — «Мать», «Девушка из Посавины» или «Мать Хорватов», что стоит в старом городе, в Загребе, в доме-атриуме Мештровича... В «Девушке из Посавины» деревенская угловатость, стихийная грация женственности. Но это — народ. Здоровая красота. Когда женственность достигается без жеманности, тогда красота наивысшая. Это я называю эпичностью в первую очередь. И потом — как у него сидит Мать Хорватов! Ведь так сидят женщины на рынке, у очага, у калитки где-нибудь в Далматинском Загорье — руки сложены на согнутых, высоко поставленных коленях. Так сидят только на Востоке и на Юге. Найдена поза народная, национальная, простая и в то же время величественная. Никакого пафоса. Но и никакого быта. Вот в чем величие искусства подлинного, национального в полном смысле слова!

— Достоинство. Достоинство,— значительно сказала Нада.— У Мештровича есть скульптура, кажется — «Лаокоон моего времени», там вокруг тела старика оплелись сотни, ну не сотни, но много рук — молодых, мускулистых, вы видели?

— А как же,— усмехнулся я,— символ нового, которое душит старое. По-спартански. Без лишних сантиментов.

— Вы так думаете?— тревожно спросила Нада и огорченно покачала головой.

Некоторое время слышно было только шуршание шин, ровный голос мотора. Потом Нада вздохнула:

— Бедный Дане... — Она никогда не думала о внешней связи. Говорила с собеседником, как с собой.

Я оглядываюсь назад. Витторио гонит свой «фиат». Его фары мешают мне рассмотреть сидящих в машине. Но он заметил меня и сигналил приветствие. Я подымаю руку и машу ему.

— Я не рассказывала вам о дяде? Нет? Его звали Феликс Лапайне. Колоритнейшая личность...

История, действительно стоящая внимания. Вот она. Лапайне — крупный торговец, человек, всю жизнь бежавший от политики, но всю жизнь служивший ей. В первую мировую войну попал в русский плен как солдат австро-венгерской армии. Его отправили в Сибирь. Там его застала революция. К этому времени дядя Феликс влюбился в дочь скототорговца, некую Анастасию. Пышнотелая Юнона была страстной и готовой на все. Они вместе взяли в свои руки торговлю лошадьми и ворочали капиталами на широкую ногу. Феликс Францевич жил в Семипалатинске и ездил в Киргизию. Революция перевернула душу дяди Феликса, и хотя он клялся Юноне, что всегда презирал политику, в один прекрасный день он отгрузил целый эшелон с мясом голодающей Москве. Он приехал в столицу и начал помогать снабжать армию революции. Он дружил с Цюрупой. Однажды Лапайне приехал к нему и сказал: «Я принес вам подарок». Тяжелый чемодан грохнулся на письменный стол. Когда Цюрупа открыл крышку, у него чуть не закружилась голова: чемодан был набит копченостями. Дядя рассказывал Наде, что Цюрупа бросился к телефону и куда-то нервно звонил. Наконец его соединили: «Алло! Детсад? Ура! Срочно приезжайте... Да, говорит Цюрупа... Честное слово, не пожалеете...» Дядя Феликс рассказывал и плакал сердито: «Чертовы фанатики, а? Каково? Ну разве можно не помогать таким людям! Я не революции помогал, а хорошим людям...» Дядя Феликс еще не раз отрекался от своей причастности революции и называл себя типичным капиталистом. Однако, когда началась гражданская война в Китае, он как-то «случайно» поехал в Китай и там снова выступил на стороне каких-то «хороших» людей, которым понадобилась его помощь, кстати в финансовом отношении немалая... К тому времени этот талантливый «капиталист» имел на счету огромные суммы. Из Китая дядя вернулся похудевший, больной, без гроша за пазу-

хой, но веселый и полный оптимизма. Он говорил, конечно, что это его последний революционный поступок, что, собственно, никогда он политикой не занимался, теперь же вообще уйдет на покой. Он и ушел бы, но подполье в Словении нуждалось в средствах для типографии левого толка, а Пирнат, его родственник, с которым они всегда ругались, потому что на словах дядя был ярый противник террора и переворотов и помогал только «хорошим» людям, даже если те и были «сумасшедшими», как все интеллигенты, крестьяне, рабочие и другие люди, не умеющие делать деньги,— так вот, этот Пирнат что-то там подписал в 1938 году, какую-то бумагу с призывом заключить договор с СССР, и надо было помочь этим левым, потому что среди них было много хороших людей...

До семидесяти двух лет прожил дядя Феликс, умер он от рака легких. Умер, как и жил, непоследовательно. Что-то напутал с завещанием: все завещал не богатым родственникам, а сумасшедшим художникам и упрямым фантазерам...

Я спросил, знал ли Данае дядю Феликса и как он отнесся к этому чудаку миллионеру. Нада засмеялась. Данае, разумеется, был против Лапайне, но любил его втайне. Рифма? Случайность?.. А может, не совсем. Вообще Данае честнейший малый. Она почти всегда с ним согласна. Такая и Даринка. Это старые партизаны, с ними ей легко и просто. С молодежью труднее. Сын Данае не понимал отца. Он лепит что-то страшное, нет, этого я не могу даже представить — в Советском Союзе такое представить нельзя... Была ли Нада в СССР? Да, но мало, коротко. Очень много дел.

...Ментасти сигналит. Мы останавливаемся. Здесь развилка. Итальянцы поворачивают на юг. Мы прощаемся. Да, да, он будет звонить Даринке. Как жаль, что завтра он должен быть в Ферраре... Он хватает ручку и при свете фары пишет четким, убористым почерком свой адрес в моей записной книжке: «Ментасти Витторио». И в скобках свою партизанскую кличку: «Берри. Адрес: Феррара, Италия, виа Алжера, 15. Партизан триестской бригады, лечился в больнице Паола». Ах, как жаль, что он не увидит Даринку... Жена сигналит. Показывает на часы. Дети спят сном праведников на заднем сиденье. Мы их не будим.

...У Даринки Собаи мы были в полночь. Она живет с матерью и двумя детьми в маленьком новеньком доме-атриуме, чуде современного бытового градостроительства. Красный кирпич стен, зимнего сада, гаража, внутренних стен, увитых зеленью, гармонирует с деревом — пансли внутренней отделки под ясень, окно-ниша из гостиной в кухню, камин, изолированные детские комнаты — со встроенной в стену школьной доской, убирающимся столом, кроватью — выходят окнами в зимний сад. Комнаты обогреваются электрокаминами.

Даринка долго не поймет со сна, — много работы в клинике, где она работает, — почему мы нагрянули. Она милая, добрая, простая. В домашнем халатике кажется уютной домохозяйкой, а не героической партизанкой. Полнота тронула ее лицо, тело, усталость в глазах, наверное, постоянна. Жизнь и после войны не баловала ее. Работа, дети и опять работа. Она приносит яблоко — огромное, чистое, своего сада. Больше ничего мы с Надой не хотим. Но и яблоко мне жаль резать, я такого образца еще не видел — выставочный.

Да, Ментасти уже звонил ей. Она узнала его, — хотя столько прошло, разве те годы забудутся... А вот о русском партизане с ложкой — никак не может его вспомнить... Да, обменялись ложками. Русская ложка должна была быть такая круглая — это помнит, а самого русского — нет... Даринка морщит лоб и страдает: как же это? Но она помнит других. Мне интересно? Нет, ничего, что ночь. Я ведь завтра уеду. Так мало времени. Вообще у нас мало времени... Вчера еще была молодая, чего-то хотела, надеялась. Был жених... И вот — война. Как все быстро пролетело... Нет, ничего она не жалеет, какое там! Все равно даже с человеческой точки зрения это было самое лучшее время: все стало видно далеко, по-настоящему, без всяких прикрас. Цена людей конечно же проверяется в трудностях. И даже не все, что кажется законом жизни, таковым является всегда... Как бы это точнее? Вот, скажите, пожалуйста, — кстати о русских, — как тут понимать?.. Был в отряде мальчик, почти ребенок, ну, подросток. Звали его Вася. Его привели русские, когда влились в отряд. Его звали «сын полка». Воевал он вместе с нами, ну, его, конечно, старались, где можно, щадить. Но где на войне легче? Смелый, как все дети, до глупости почти смелый. А раз во время дежурства в

больнице (Вася был легко ранен в руку) слышу ночью — плачет. Очень я удивилась, трудно было в такое поверить. Подхожу: что ты, мол, болит? Мотает головой, что нет. «Боишься чего?» Еще сильнее замотал. «Вспомнил — сегодня мой день рождения... Мама бы мне пирог испекла». Лег носом в подушку и плачет. Много я видела, а тут вдруг так мне его жалко стало,— говорит Даринка, и лицо ее становится еще более мягким и домашним...

Она замолчала, и пальцы стали перебирать кромку халата. Потом продолжала так:

— Пошла я к повару, разбудила. «Что у тебя есть вкусного?» А он говорит: «Ни вкусного, ни невкусного. Ты же знаешь, нам неделю не подбрасывали ничего». Я ему: так и так. Он почесал голову, улыбается — хороший парень был: «А пойди ты, Даринка, по баракам, пошарь у них по мешкам да по тумбочкам...» Я пошла. Кто сухарик, кто сухой груши, кто сахару. Взяла марлю, сделала мешочек, прихожу — лежит носом к стене. Я ему даю мешочек: поздравляю тебя, мол, партизан, поправляйся скорее, скоро, мол, победа, и поедешь ты в Россию... Знаете, что с ним было? Смеется, глаза блестят, утер слезы, даже дрожит весь, сказать что-то хочет... «Ну что ты, что?» — я ему. А он мне: «Ты, Даринка, такой человек... Никогда не забуду. Знаешь, что я для тебя сделаю? Я — вот рука заживет — в первом бою, клянусь мамой, фашиста убью, часы сниму и подарю тебе!»

Даринка смеется тихо, морщинки сбегаятся к переносице, похожа на бабушку сейчас, что рассказала сказку и рада: дитя засыпает...

— Вот и скажите,— она становится серьезной, и прямо на глазах лицо ее молодеет (я поражен такой разительной переменой), — где тут ребенок, а где война? Кто его, Васю этого, научил? Он убить немца — как воды выпить, об этом не думает даже,— он думает, как мне добром за добро отплатить... И страшно, и жалко его, правда? «Сниму, говорит, с него часы и подарю...» А где он их возьмет, правда, если не убьет немца?.. Вот она, жизнь.

— Что-то ты раньше не жалела немцев,— смеется Нада.

— Я о Васе,— тихо говорит Даринка и зябко кутается в халатик.

Я вдруг вспоминаю музей в Идрии: зверства «белой гвардии» — националистов Словении. Говорю, что фото,

которое показал Бавдаж, до сих пор у меня в глазах. Сколько их видел в газетах — эти трупы, сложенные деловито в штабеля, эти гнусные улыбки, — о вырожденки, какие они одинаковые у любого фашиста в любом краю света... Жестокость людей, теряющих облик человека. Я говорю, что у нас перевели «Лилику» Михайловича...

— Драгослав Михайлович, — говорит Нада. — Да, да, книгу не читала, но фильм видела... Жуткий фильм.

— А, жуткая жизнь, — говорю я, — не фильм. Впрочем, фильма не видел.

— О чем это? — спрашивает Даринка.

Я рассказываю. Девочка с матерью после войны. Мать с отчаяния и голода стала проституткой. Девочка видит страшную изнанку жизни, играет с тряпичной куклой, рассказывает ей о себе. Одиноким ребенок. Рядом, у соседей, живет мальчик с дефектом речи. Он добрый, любит Лилику, это он и назвал ее так — «Лилика», так он произносит ее имя Милица. И совсем измученная девочка, избиваемая отчимом, — мать поздно нашла мужа и держится за него, хочет, чтобы все было наконец как у людей, — ненавидимая собственной матерью, которая готова предать ребенка, но не потерять «законного мужа», чуть не сходит с ума. Она готова отплатить за доброту мальчику тем, что предлагает свое тело, — иной любви, иной платы Лилика не знает... Вот вам опять — кого винить, что понимать под добром и злом? Девочка ли делает зло, что предлагает себя в «плату» за доброту? Вася ли виноват, что спокойно думает об убийстве, не имея другого способа «подарить часы»? Он каждый день убивает немцев, если они попадут в прорезь его автомата. Он мстит за смерть людей, ему близких, но его маленькая душа ожесточается рано, и неизвестно еще, как сложится его характер потом, когда он станет взрослым, а необходимость убивать, чтобы не быть убитым самому, потеряет свою цену. Это мы, взрослые, можем говорить о справедливости. Дети знают детство или не знают его. Многие им не по силам.

— А знаете, — говорит неожиданно Нада. — Жибот, фюрер «белой гвардии», приезжал в Люблянну как турист...

Да, я слышал, мне рассказывал Дане. Как он кричал, Дане, как возмущался, даже вспоминая этот эпизод.

После победы над фашизмом и освобождения Югославии Жибот, кровавый вожь словенской «белой гвар-

дии», бежал в Италию, оттуда в Аргентину, потом в Америку. Он доктор экономических наук, ловкий журналист, опытный политик. Нелегально, через Австрию, его книги стали проникать в Югославию. Как американский турист Жибот приехал в Словению, остановился в отеле «Лев», сумел даже провести пресс-конференцию. Дале чуть ли не довел себя до инфаркта, заново переживая этот случай. Как мы беспечны! Кто допустил? Как это могло произойти?

«Может быть, его не узнали, он был под другим именем?» — «Все равно! — кричал Дале. — А для чего органы безопасности!»

— Дело не в этом, — сказала Даринка, — дело в том, что не должно быть почвы для национализма, любого — словенского или другого. Жибот может сколько угодно писать и говорить, он ничего мне не сделает — я не принимаю таких штучек, я воевала с сербом рядом и с хорватом, с итальянцем и с русским... А если почва есть, то и без Жибота можно напугать нам у себя...

— Но не все же такие, как ты, — сказала Нада. — А я согласна с Дале. Почва почвой, а границы границами. Или они есть, или нет.

— Ой, что же я! У меня ведь есть для вас интересное. — Даринка встала из-за стола, за которым мы сидели, и пошла в соседнюю комнату. Нада курила задумчиво, углубляясь в свои мысли.

Я посмотрел в зимний сад. Чуть подсвеченные фонарем от гаража, зеленые нити, высокие столбики кактусов, широкие листья неизвестных мне растений замерли в полумгле. Там царили мир, покой и кажущееся согласие, гармония, о которой так много пишут у нас в последнее время молодые критики искусства и которой так мало в нашей жизни. Постепенно мысли мои возвратились к началу моего путешествия, к белградскому аэропорту, к аквариуму синевы, к тихой, обманчивой музыке вальса, а от нее — к Майеру. Я опять — что за навязчивость! — видел его смуглую руку на голом черепе, и от этой картины воспоминание передвинулось к графике лагерной темы — на меня смотрели темные впадины лошадиного черепа. Да, на листе ватмана ничего больше не было, только голый, омытый дождями и высушенный ветром череп коня с большими глазницами... Франсе Михелич, словенский художник, назвал свой лист «Голова коня». Не знаю, по-



чему мне так запало в память это, казалось бы, рядом с человеческими смертями менее впечатляющее изображение. Я опять посмотрел в зимний сад, но и там увидел большой белый продолговатый галун... Очень я устал сегодня.

Вошла Даринка и протянула мне записную книжку. Она была обтянута красным парашютным шелком, прошита по краям светлыми нитками. Начиналась она стихами на словенском языке, тщательно переписанными аккуратным женским почерком. Каждое стихотворение заканчивалось красной звездой с серпом и молотом. Что-то показалось мне знакомым, я прочитал вслух словенские буквы и засмеялся от радости: теплым запахом проталин, ветром пахнуло на меня от знакомых строк, написанных с ударениями над гласными, иногда неправильными: «...Я вижу, погода тепла и ясна, скажите, ведь правда, что это весна?» Это стихотворение,— вернее, эти строки из русского поэта Майкова,— заканчивало войну. Под ним стояла дата — 1945...

Я быстро перелистал книжечку и вдруг увидел другой почерк. Писали на русском и не очень грамотно — стихи. Я спросил Даринку:

— Что это?

— Ради этого я и принесла записную книжку. Это Зеленский, русский партизан, который писал стихи. И мне тут одно посвящается. Он написал марш, мы его пели, положив на популярную музыку. Кто по-русски, кто по-словенски, а потом, когда русских было уже много, все почти научились петь русские слова.— И Даринка, задорно вскинув голову, пропела вполголоса, чтобы не разбудить детей:

Мы разбили гада, слез теперь не надо,  
Гнет наш не вернется никогда.  
Власть будет народна, жизнь будет свободна-а,  
Проживем мы долгие года-а...

Нада стала ей вторить:

Власть будет народна-а,  
Жизнь будет свободна-а,  
Проживем мы долгие года-а...

Теперь они пели громко, и дверь отворилась и в проеме показалась белая головка заспанной девочки. Они сидели спиной, и только я видел, как постепенно улыбка

растягивает рот девочки, как переминается она босыми ножками на холодном полу. Потом девочка не утерпела, и в наступившей тишине раздалось тоненько:

Пложивем мы долххие гада...

Даринка вскочила со смехом, дверь захлопнулась. Потом Даринка что-то долго говорила шепотом за дверью, а мы с Надой вдвоем листали записную книжку, Нада тоже не знала о ней и все спрашивала: «Это правда интересно?» Она была счастлива.

Мы попрощались с Даринкой в сенях, я звал ее в Москву, где она никогда не была. «Это мечта моей жизни», — сказала она просто и серьезно.

Записную книжку она дала мне в гостиницу до завтра.

До завтра. А завтра уже наступило. В отеле я был в три. Вот уже зашумели за зашторенным окном машины, начала бить баба копра на строительстве нового высотного дома. «Турист» рядом со строительной площадкой. Записная книжка прочитана. Спать уже поздно, но идти завтракать рано. Лег, заложил руки за голову, смотрю на розовеющую штору, вспоминаю события прошедших дней. Все сливается в один большой день. Хорошо, если бы все дни жизни были так наполнены. Но откуда берутся силы? Когда я, собственно, спал в полном смысле слова, как дома? Трудно вспомнить.

...По дороге в Идрию мы заезжали с Дане в Разоры. Это то место, где 22 июня 1941 года, узнав о нападении Германии на Советский Союз, «отпорники» Словении нанесли первый удар по оккупантам-итальянцам. Я уже записывал донесение политкомиссара Турчича-Востока. В Разорах сейчас все по-иному, трудно найти свидетелей той акции, но все-таки жители помнят, как каратели сгоняли людей местечка, как расстреляли их соседей Игнация и Елинку Когей. Почему убили именно их? Люди говорят, что просто их сделали заложниками. Если и были в чем замешаны именно Когей, то их некому было выдать, в Разорах предателей не было, да и партизан, собственно, тоже не было еще. Все одинаково не любили оккупантов. За что вообще можно любить оккупантов?

Но я нашел документы архива партизанской войны. Там есть такое донесение из штаба дивизии «Турино» в

штаб армии. Оно оперативно, помечено 23 июня 1941 года. Привожу его в выдержках:

«Полковник Де Лис, командир 82-го пехотного полка, который был на месте преступления уже 22 июня около 12 часов, до 8 часов следующего дня руководил операцией по очищению, незадолго до этого подоспел Гуэли с четырьмя отрядами службы безопасности и принял руководство акцией. Он сжег 30 домов, арестовал 25 человек, из которых 4 были расстреляны на месте».

Еще один отголосок этого события я нашел в дневнике одного из чиновников особой службы — д-ра Антонио Станциоле (запись от 25 июня 1943 года):

«В тот день (22 июня.— *Вл. О.*) приехал в Идрию вечером инспектор особой службы Гуэли с отрядом карабинеров, и в течение ночи и утра 23-го того месяца была проведена очередная чистка... Все дома по дороге Войско — Чековник — Мрзла рупа, в которых могли быть подготовлены партизаны, напавшие на отряд из Идрии, были проверены. После этого Гуэли приказал арестовать 22 человека, которые были родственниками террористов, а также приказал сжечь тридцать объектов, в которых террористы получали помощь и еду. Люди, которых застали в тех домах, взяты были в плен... В течение акции убито два случайных жителя, которые бросились бежать при виде карабинеров. Были при этом убиты Игнацио Когей, сын Матея, рождения 1887 года, в Войске, и его дочь, которую раненый карабинер Ферручио Томаччи особо опознал как лицо, бывшее при нападении,— потом, когда террористы убежали, она смеялась над ранеными карабинерами, просившими помощи».

Жители Разор отрицают, что это правда. Они говорят, что Томаччи бежал почему-то без штанов и пытался спрятаться во дворе Когеев, над этим и смеялась девушка, а то, что он был ранен, она и не знала... Говорят также, что кроме двух Когеев итальянцы убили такого Лойзета Фальца, а четвертого они не знают. Многих, рассказывали жители, согнали на кладбище местечка, и там Гуэли грозил расстрелять их, требовал выдать террористов, но потом отправил арестованных в Идрию. Меньшинство там отпустили, а большинство посадили в тюрьму. Потом женщин отделили и послали в концлагерь в Фрашете ди Алатри, а мужчин — в Каиро Монтеноте. После отпадения Италии от Германии женщины были отпущены до-

мой, а вот мужчин ожидала иная участь: они попали в Маутхаузен, так как их раньше передали немцам...

После нападения в Разорах сам командир дивизии «Турино», генерал Луиджи Кралль, руководил операцией по прочесыванию большого района действий партизан Турчича. В документах архива есть донесение XXIV армейского корпуса от 29 июня 1943 года, где упоминается бой, который приняли бойцы Турчича с превосходящими силами противника. Партизаны нанесли большой урон итальянцам и ушли в горы.

Я вспомнил и рассказ комиссара Павлина. Интересно, что в 1944 году в рядах югославских партизан действовал даже один немецкий батальон, в основном, правда, в нем были австрийцы.

— Они начали австрийскую армию,— сказал Павлин,— из этого батальона и родилась потом современная австрийская армия...

Батальон готовился к важной операции. Из Москвы прислали самолет. Его ждали ночью в условленном месте. Когда самолет сел, из него вышел человек, хорошо говорящий по-немецки. Он воевал когда-то в Испании, это был известный немецкий коммунист. И вот в один прекрасный день какой-то боец чистил винтовку в землянке, где сидел за столом этот командир-немец. Раздался выстрел, немец упал, обливаясь кровью. Все недоумевали: почему винтовка оказалась заряженной? Партизан, который чистил ее, охватил голову руками и не давал себя успокоить. Ни у кого не было сомнения, что это просто несчастный случай, глупый, редкий, трагический, но несчастный случай. Партизан, который убил важного деятеля коммунистического движения, хотел покончить с собой. У него отняли пистолет, дали воды, успокаивали. Но потом (как — этого уже Павлин не помнил подробно) выяснилось, что этот партизан, артистически разыгравший отчаяние,— агент гестапо.

Павлин говорил, что «Италия и Австрия переняли нашу партизанскую войну». Он говорил также, что не более 30 тысяч словенцев были в эту войну на стороне немцев, народ участвовал в Соппротивлении в разных формах, но единство народа было на редкость эффективным. До восемнадцати лет обычно в армию не брали. Немцы придумали ход, чтобы не оттолкнуть Словению и добиться своего: они стали увозить молодежь, якобы на стройки

и заводы в Германию, а там передавали их на мобилизационные пункты. Жители многих селений ответили такой же военной хитростью: они договорились с партизанами, и однажды ночью партизаны «спустились с гор и угнали молодежь» Словенского Приморья... Многим разрешили уехать в Англию, остальные уходили в партизаны.

Я познакомился с поэтом Йоже Шмидтом. Он написал поэму «Коляска». В ней герой повторяет путь самого поэта. Юношей Шмидт бежал из немецкой армии в Англию. Только герой поэмы погибает в последний день войны, не дождавшись возвращения на родину. Йоже Шмидту досталась лучшая доля.

Но были и такие словенцы, кто пришел с гитлеровцами к нам. Павлин рассказывал мне об одном таком солдате, который попал в плен в Крыму. Его вели на расстрел. Так как он все время молчал, когда его спрашивали по-немецки, советский офицер решил, что это фанатик нацист. Часть была прижата к берегу, и каждый час их могли сбросить в море. Держать немца было роскошью, переправить в штаб не представлялось возможности — штаба не было. Плацдарм был временный, отрезанный от другого и непрочный. И вот словенца уже стали обыскивать, и выпала какая-то бумажка. Это была чудом сохранившаяся метрика, написанная кириллицей. «Стойте, стойте!» — закричал очкарик солдат, который был студентом до войны и никак не хотел убивать пленного. — Да это или чех, или болгарин! Он не немец». Так спасся друг Павлина, хороший коммунист, кстати, человек, давно и бесповоротно определивший свое гражданское кредо. Может быть, и то, давнее крымское потрясение, заставило его ощутить свое место в борьбе за свободу...

Я встал и перечитал переписанные из красной книжечки Даринки Собан сведения. Это был, собственно, альбом песен. Сначала шли словенские песни на стихи известных мне поэтов: Отона Жупанчича, Каюха, Клопчича, Бора, Удовича. Потом все чаще (ближе к 1944 году) — русские песни: «Из-за острова на стрежень...», «В степи под Херсоном...», «Катюша», «Три танкиста», «Крутится, вертится шар голубой...».

— Да, мы очень любили советские песни, пели их и до войны, а в войну они стали особенно дорогими. Мы

прислушивались к радиосводкам, а потом всегда пели эти песни... Россия становилась ближе...

Это говорила Даринка. Подтверждала Нада Крайгер. Дане же считал, что лучше русских песен вообще нет в мире. Я сказал, что люблю македонские и далматинские, которые слышал в Сплите в прошлом году. Он, усмехнувшись, пожал плечами. Дане и в песне ценил идею.

...А я вспомнил южную ночь, шелест волны у причала Сплита, башню старой постройки, крутую лестницу туда, к близким, большим звездам, запах вина и морского воздуха, — терраса чуть освещалась цветного стекла фонариками, у каждого столика свой... Мы сидели с Владо, бывшим партизаном, ныне шофером туристической фирмы «Путник», я и мои друзья из Москвы. Владо угощал нас. Далеко бежали огни порта, вся бухта казалась разлинованной синими и красными дрожащими линиями. А за соседним столиком, наклонившись друг к другу, пели два парня и девушка на три голоса. Пели тихо, но внятно, и все слушали, и никому они не мешали. Я слушал голоса моих спутников и песню, изредка говорил что-то сам, но одно не мешало другому. Это было впервые. Казалось, и море, и люди, и песня, и прохладный после жаркого дня ветер — все сговорились не мешать друг другу, каждый делал свое дело, а ощущение покоя и счастья переполняло меня, и я знал, что виновник — музыка... Потом я слышал не лирические песни, не грустные и нежные мелодии народа, прикоснувшегося к благословенной итальянской культуре, а суровые, диковато-нежные песни каменистой Македонии, полутурецкие-полуславянские однообразно-прекрасные, как заклинания. В них был Восток с его жутковатым простором.

Однажды ночью, когда Сплит не спит, а поет песни, я набрел в старом городе на миниатюрную площадь, выложенную белыми мраморными плитами, в которых переливались огни подсветок. Витрины крохотных магазинчиков отважно и лихо сверкали неоновыми трубками. Окна были раскрыты, и в них наполовину, по пояс, высывались черноволосые девушки; они смеялись, кокетничали, а внизу, под одним из балконов, стояли три парня в тельняшках с гитарой. Как они пели! Это была, сказали мне потом, канцона. Девушка, которой это посвящалось, броси-

ла им розу и закрыла окно. Они ушли. Я долго еще стоял в тенистой улочке, выходявшей на площадь, не в силах двинуться. Боясь спугнуть эти чары. Что сказать об этой манере петь неаполитанские канцоны? Парни поют их негромко, как будто для собственного удовольствия. Обычно они стоят кружком, наклонившись друг к другу, как беседуют. Я заметил, что в их манере нет и капли позы, стремления поразить, «переплюнуть» соперника. В этом есть какой-то врожденный такт, деликатность щедро одаренных натур, музыкальная, я бы сказал, воспитанность.

...И еще я вспомнил почему-то рассказ о том, как партизаны справляли свадьбу доктора Франи, о которой вспоминал Млакар Метод. «Мы пели шепотом...» А не петь не могли, даже под угрозой смерти, когда немцы были рядом...

И я снова стал читать стихи из книжечки Даринки.

Повезло «Катюше» Исаковского. Она была записана даже дважды. Второй раз — в варианте пародии, не на текст, конечно, на немцев, которых ждет расплата.

Разлетались головы и туши,  
Дрожь колотит немца за рекой.  
Это наша русская Катюша  
Немчуре поет за упокой.

В страхе станет падать немец в яму,  
С головой зароется в сугроб,  
Но его и там огонь достанет,  
И станцует немец прямо в гроб.

Все мы любим девушку Катюшу,  
Все мы знаем, как она поет,  
Из врагов выматывает души,  
А друзьям отваги придает.

Любопытно, что в тексте ряд слов был дан в словенском написании. Или же после слова, которое казалось не очень понятным, стоял его словенский перевод в скобках. Так, «сугроб» сопровождало слово «namet», «огонь» — «dosgla granata», «туши» объяснялось через «telesla», «выматывает души» — «sprušča».

Но главный интерес представляли для меня, конечно, стихи партизана Зеленского.

Среди бука, елок  
И нависших скал,  
Временно построен,  
Там барак стоял.  
То была больница,  
Не простой барак.  
Жизнь внутри больницы  
Протекала так.

Далее шло подробное описание дня. Потом Зеленский переходил к описанию самоотверженного труда Даринки и других «болничарок». В стихах, наивных, местами просто неграмотных, билось живое чувство.

И прошу, всегда так  
Помогай ты нам.  
За славу народа  
И на страх врагам.

Если будет счастье —  
Я буду живой —  
И вернусь в Россию,  
В свой я край родной...

Но дальше идет сомнение в том, что это счастье возможно. И он пишет:

А пока что дальше поживем у вас.  
Пусть леса и скалы охраняют нас,  
Горы наши — хищи <sup>1</sup>,  
Парк наш — темный лес,  
А музыка наша —  
«Шарц» да «митральез» <sup>2</sup>.  
В снегу как в постели,  
Спим в чужом краю,  
И поют нам ели  
Баюшки-баю...

Последняя строфа сжала мне горло. Мне показалось, что в ней сосредоточена вся тоска по родине, чувство детской незащищенности перед судьбой.

И подпись: «Благодарность на память молодой болничарке Даринке от раненого партизана (русского) Зеленского Дмитрия Кирилловича. На долгую память».

Кто он? Где искать его следы? Война кончилась, говорит Даринка, и он уехал на восток. Попал ли домой? Как сложилась его жизнь, она не знает. Он не оставил ей

---

<sup>1</sup> Хищи — дома.

<sup>2</sup> «Шарц» — автомат; «митральез» — пулемет.



адреса,— дом был где-то на Волге, кажется,— обещал писать и написал бы, если бы все сложилось хорошо, но не было от него писем.

Павлин обещал показать мне архивы, но я уже не успею. Как мало у меня времени!

Вот еще стихи Зеленского. Это марш, который пели партизаны из Приморской Словении.

### ЗА РОДИНУ

Пронеслися тучи, тучи грозовые,  
И долины застилал туман.  
Двигались колонны, взвивались знамена —  
Сила югославских партизан.  
Их овеет слава, и я пойду в лаву,  
Снаряжу горячего коня.  
Выйдет на крылечко девка молодая,  
Стоя будет провожать меня.  
Не плачь, дорогая, не роняй зря слезы,  
Вынь платочек, размахни туман.  
Верь, моя голубка, нет такой угрозы,  
Чтоб сломила волю партизан.  
С нами пулеметы, с нами минометы,  
Есть винтовка, в бой пойдем мы с ней.  
Двинемся мы лавой с гордостью и славой  
На защиту родины своей.  
В бой пойдем мы смело за народно дело,  
Боевая честь нам дорога.  
С нами маршал Тито, все будет разбито,  
Разобьем по-сталински врага.  
Послужу народу за честь и свободу,  
Грудь мою украсят ордена.  
Я закончу дело, я вернусь смело  
Снова до знакомого двора.  
Помни, дорогая, ты разлуку нашу,  
Ты ее при встрече не забудь.  
Встретишь и обнимешь, нежно поцелуешь,  
Ласково взглянешь на мою грудь.  
Мы разбили гада, слез теперь не надо,  
Гнет наш не вернется никогда.  
Власть будет народна, жизнь будет свободна.  
Проживем мы долгие года.

...Утро брало свое. День начинался яркий, солнечный. Я открыл штору, окно, шум большого города ворвался в комнату. Сейчас выпью кофе и поеду на студию — Нада договорилась, мне покажут фильмы. Потом встреча с молодыми поэтами. Потом — с историком, другом Дане. Потом разговор в Союзе писателей, нечто вроде приема, и — на вокзал. Глаза режет свет. Голова тяжелая.

...Я в темном маленьком зальчике. Сейчас зажжется экран. Директор студии, он же художественный руководитель, профессор Владимир Кох еще раз вошел в зал, чтобы проверить, не надо ли еще чего советскому гостю. Чего же еще? На низком столике передо мною кофе, содовая вода, даже виски и коньяк — так принято. Три удобных кресла и миксер. Слава богу, я умею пользоваться этой штукой. Был главным редактором Экспериментальной киностудии. Кроме нового миксера, у нас ничего «экспериментального» не оказалось.

Профессор-директор оставил нас с Надой. Она пьет содовую, курит, обжигается кофе и требует от меня откровенности.

— Это единственное, чего я хочу. Директор смущен: он не хотел показывать эти фильмы, он знает, что советским людям они не нравятся.

— Слушайте, Нада, когда вы перестанете говорить обо мне в собирательном смысле? — Я уже начинаю сердиться.

— Ну, пожалуйста, пожалуйста, но только не говорите у себя, что все искусство в Югославии такое. Совсем нет. У нас есть и хорошие картины, настоящие, реалистические.

Они меня доведут: взялись настраивать, что эксперимент и не может дать ничего хорошего, что это параллельный поток, где все не так, как надо. А почему же вы выпускаете такие фильмы? Да, знаете, спрос на них... А, спрос! Значит, «если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?» Кох сказал без тени улыбки: «Нет, но так работают режиссеры...» — «Наверное, режиссеры чувствуют спрос?» — «А, увидите сами!» Профессор Кох смеется.

Первый фильм, снятый в новой манере, экспериментальной, за недостатком времени смотрим не целиком. Так договорились, чтобы полностью посмотреть «Седмину» Матьяша Клопчица и документальные фильмы.

«Сказка, которой нет». На экране комната рабочего барака. Медленные, сверхмедленные панорамы. Разговор вязкий и непонятный, взятый стенографически и с середины. Есть одно: напряжение скрытых волей, какая-то дуэль людей, ожесточенных, отупевших от работы, уста-

лых. Хорошо играют актеры. Лица сняты отлично. Камера обшаривает стены барака, фото, трещинки, сучки досок, бедную, серую утварь. Серый день за окном. Природа еще не заглянула сюда. Кажется, в радужных наплывах на немытом стекле — там, за стеной, — болота, туман. На койке в углу, не раз показанный, накрытый с головой человек. Больной. Он спит или в забытьи. Не реагирует на шум, готовую разразится драку. Все уходят. Остается больной и еще один человек, которого мы отмечаем про себя, — тип Раскольников с трагическими глазами. Есть в его глазах какая-то борьба: невысказанной боли, которая доходит временами, когда он долго и упорно прислушивается к чему-то, до жестокой окаменелости. Но иногда это просто задумчивость, словно тени от туч по воде озера или усталость. Стук в дверь. Напряжение на лице героя. Входит доктор. Девушка в мятом плаще и берете. Где больной? Человек показывает на лежащего в углу. Она снимает берет, и светлые волосы рассыпаются. У нее тоже очень усталое, неподвижное лицо. Но камера следит за жилкой на ее нежной шее и ловит испуг в ее блестящих широких глазах. Она идет к больному, но когда она проходит мимо героя, он не посторонился. Наоборот, в узком проходе между кроватями он берет ее за плечи. Всем видом своим он только просит. У него пересохшие губы, воспаленные глаза, робкие и молящие. Начинается борьба. Ужас на лице девушки. Но вихрь борьбы нарастает, сминает ее, они на полу, и чтобы она не кричала, герой всовывает пальцы в рот девушке, и мы видим долго, долго, как пальцы раздирают ее рот, как текут слезы... Это последнее, что мы видим в сцене насилия.

Больной не видит и не слышит, он в обмороке. Герой судорожно приводит себя в порядок, он мечется, девушка лежит недвижимо. Он выбегает из барака, и теперь мы видим прислоненный к стене велосипед, на котором приехала доктор, и заволакиваемую липким туманом поляну, столбы вдоль шоссе вдалеке. Берег болота или заросшего пруда. Человек, задыхаясь, переносит к болоту велосипед, растерзанную девушку, которая недвижима. Обморок? Шок? И бежит... Бежит... Начинаются медленные, длинные куски. Бежит человек. Прячется. Слышит голоса и вздрагивает. Принимает каждого за опознавшего в нем насильника. Начинается мания преследования в ее патологически-типичном варианте. Время от времени картина

насилия настигает героя, доводя его до сумасшедшего страха...

Я попросил остановить ленту. На вопрос, что там дальше, Кох, который к концу второй части снова вошел к нам, сказал, пожимая плечами:

— А ничего больше не происходит. Вся картина — рассказ о состоянии человека, который тронулся от греха, причиненного девушке... Муки совести. От этого нельзя убежать.

Второй фильм я досмотрел до конца. Называется он «Седмина», что можно перевести как «Поминки на седьмой день».

Это рассказ об оккупации, начале войны против оккупантов в Любляне. Действуют в картине молодые люди. Фильм решен в сочетании цветных и черно-белых кусков. То, что происходит на самом деле, дано вне цвета. Мечты, представления юных героев — в цвете. Но этим противопоставлением достигается, мне кажется, и эмоциональный подтекст фильма. Идея: юность на войне. Героическое проходит целую школу испытаний, от романтического и абстрактного порыва к реальному пониманию сути подвига. Мальчики и девочки на уроке в старшем классе. Любовь. Два друга, из которых один уже в подполье, а другой — главный герой — мечется между книжным и живым представлением о жизни, между любовью плотской и идеальной и не может выбрать. Он сын своей семьи, где отец, лицемер и демагог, поначалу кажется едва ли не оплотом патриотического сознания, но потом, когда постоялец-оккупант начинает сожительствовать с сестрою героя, отец умоляет не гневить оккупантов. Сын рвет с семьей, уходит к партизанам-террористам, но и это не конец испытаний. В акции погибает его друг, который любил ту же девушку, какую любил и он. Но герой предает ее с опытной вдовушкой, каясь и устраивая истерики. Друг прикрыл его отступление, любимая простила ему измены, но герой, напоровшись на офицера — сожителя его сестры, в самозащите убивает его и, убегая от трупа, теряет всякое самообладание. Он находит, вернее — натывается на любимую, и от вида крови на руках своих звереет: пытается изнасиловать человека, которого любил как последний оплот чистоты, привязанности, самого дорогого человека... Ему нужно доказать себе, что в мире ничего не осталось. Он плачет, получив пощечины. И то-

гда любимая сама нежными ласками и шепотом, как ребенка, привлекает его к себе. Финал прекрасен. Они говорят о том, что произошло. Неужели ничего больше не осталось? Осталось все самое лучшее, остальное перегорело. Это говорит любимая героя, прощаясь. Связной пришел за героем. Его ждут партизаны. Утро пробивается сквозь тучи. Впереди большая дорога. Герой растерян, опустошен. Он еще не нашел себя. Любимая провожает его, прижавшись плечом к его вещмешку. «Сегодня седьмой день поминок по нему...» — говорит герой. Она кивает. Она знает, о ком он говорит. Так кончается фильм *Матьяша Клопчика*.

В нем много настоящей правды, которую мы не всегда смеем говорить даже себе. И в то же время в фильме густ налет фрейдовского, одностороннего понимания человека, абсурда поступков и целей, растерянности и безволия, возведенных в ранг всеобщего закона жизни. Итальянский офицер, милый и слабый, говорит сестре героя, что война пройдет стороной, что есть только любовь и это — для всех, и для оккупантов, и для оккупированных. Поначалу он и кажется такой жертвой войны, человек в очках, не желающий убивать и гордящийся тем, что война не заставила его обагрить руки кровью. Но вот старый пьяница, забулдыга бросает в него ночью камень, и итальянец в страхе стреляет в старика. Старик убит. Вот тот же офицер выслеживает брата своей любовницы и ведет его в штаб, приставив пистолет к спине. Он уже совсем другой: он раньше нашего героя понял, что логика борьбы не оставляет места для абстрактных понятий личной непричастности — или он, или его...

Здесь все понятно. Такова действительность. Но логика поступков героя не так проста. Он не просто мечется. Он начисто отвергает путь примирения с врагом, он рвется в террористы, он готов среди бела дня, на центральной площади города, при свете солнца, осуществить дерзкую акцию. Он готов ходить к вдовушке и предаваться «грешной» и темной страсти. Он готов на все, но все не соединяется в нем — вот в чем штука. Он хочет, чтобы черное, «грязное», необходимое делал какой-то другой человек в нем, другое его «я», а первое «я», главное «я», останется чистым, нетронутым. Он мучится не от сознания того, что жизнь постепенно заставляет его сделать выбор, эта альтернатива перед ним никак еще не

встала, а оттого, что его второе, главное «я» вытесняется все решительнее. Он думает, что можно оставаться чистым, заставив подставное «я» принять на себя всю тяжесть и грязь жизни. Он не может забыть, как истекающий кровью друг на клумбе городского парка лежа отстреливался от противника, как он приподнялся последний раз с уже пустой кассетой и как продолжал поднимать ослабевшей рукой пустой, разряженный пистолет в сторону наклонившегося над ним офицера-итальянца... Эта картина стояла в сознании умирающего друга, но режиссер сделал так, что мы воспринимаем последние секунды погибшего как свои, как его, нашего главного, мучительно размышляющего героя, — это итог юной жизни, так мало сделавшей для свободы, но целиком преданной главной цели. И умирая он тянет пистолет к врагу... Может быть, в понимании концепции режиссера не последнюю роль призван играть образ представителя центра. Зловещий человек с каменным лицом и железными словами, такая ходячая догма, машина исполнения вышестоящих директив... Человек, приводящий в движение террор, посылающий юнцов на смерть, не доверяющий им, никому, кроме себя, своей непогрешимости. Наш герой видит в нем, вероятно, крайность своего первого, служебного «я». Он ненавистен ему, но и человек-директива инстинктом железа и крови не принимает нашего героя. Они — разные полюсы. Но на стороне железного, волевого человека — цельность. То, чего не хватает герою. Он хочет стать цельным, задавив в себе человеческое. Но его материал не поддается закалке огнем и кровью. И, задавив человеческое, он только ощущает пустоту. Зачем ему такая цельность?

Мне кажется, логикой художественной мысли Клопчич поставил нас перед этой дилеммой, а не перед какой-либо другой.

Так что же такое экспериментальное кино?

Если вчера альтернатива: цельность или расплывчатость героя, не умеющего сделать выбор, наше искусство решало (и не могло не решать) только с одним знаком — осуждения сопротивляющегося, непрочного сознания, то сегодня — в системе развитого понимания гуманизма — искусство вынуждено сделать более глубокий разрез человеческого сознания. Оно хочет понять, из какого «материала» состоит человек действия, как осуще-

ствляется переход от «человека идеи» к «поступку личности». И сколько здесь слагаемых.

Матяш Клопчич сделал важный шаг к новому пониманию сложности проблемы «война и человек». Но он — так кажется мне — запутал мысль чрезмерным акцентированием комплекса вины, наследия компромиссов отца, фрейдизма. Он оставил своего героя на распутье важных решений. Вывод не сделан — он и не обязателен в искусстве. Но четкость авторской идеи смазана.

Я видел еще две ленты «Виба-фильма» — «Монстр» и «Якац». Две разные короткометражные картины.

«Монстр» — фильм тоже экспериментальный. Это фильм абсурда. Мне чужда его форма притчи, холодная аллегория, претендующая на излишне широкий смысл. Человек с красным шариком бежит по полю. За ним гонится плотная черная толпа. Они настигают человека и отнимают шарик. Свалка из-за шарика, его раздирают на лоскутья. Потом толпа радостно бежит с целой серией таких же одинаковых шариков. Потом человека нагоняют, чтобы навязать ему эти свои символы массового творчества, чуть не убивают его в гневе. Затем человек в черном свитере — художник, как нетрудно догадаться, — что-то рисует красками, вероятно — женское лицо, но краски текут по экрану, расплываются в нечто фарсовое, художник в гневе и отчаянии начинает все сначала... Передана постоянная мука творчества с надрывом, противопоставлена толпе, невозможность индивидуальности выразить себя доведена до состояния претенциозной назидательности, к тому же истерически выраженной. Мне фильм не понравился.

«Якац» — фамилия известного народного художника. Это цветной реалистический фильм о жизни и творчестве художника.

Это словенское кино. Немного ранее я смотрел в Белграде картину «Бициклисты» («Велосипедисты»), сделанную в Сараеве режиссером Пуршем Джорджевичем. Жанр фарса на военную тематику мне чужд. Помню, еще тогда, давно, глядя на Бабетту, которая шла на войну, красиво двигая бедрами, Брижит Бардо, несмотря на прелестную выдумку и легкость французского отношения к самым серьезным материям, я подумал о том, что есть, вероятно, своя, национальная точка отсчета и для жанра. Русский человек, советский человек, для которого война была лич-

ным горем (назовите мне семью, в которой бы не было жертв в Отечественную войну!), не может, не потеряв чувство такта, совести, хохотать, видя выстрелы и падающие тела. Я далек от ханжества, знаю, что время позволяет многое переоценивать, юмор не противоречит чувству внутренней серьезности и ответственности перед памятью братьев, погибших на полях всемирной битвы с фашизмом... И все-таки мне чужды поиски в направлении смещения жанра в фильмах о войне. У югославского режиссера, кстати молодого, не знающего, что такое война на самом деле, вне «жанра» смешное странно сочетается с жестоким. Мы видим массу смертей, серьезных и не всегда ясных по смыслу сюжета (например, свои убивают девушку, которая пошла с немцем,— вероятно, с целью мести за любимого), видим двусмысленные трюки с хождением чешских циркачей по перилам моста, немецких велосипедистов, дружно откусывающих одинаковые яблоки, видим танцы обывателей в ресторанчике то с немцами, то с партизанами, людей, предающих своих и тут же совершающих восстание... Не отразилась ли и в концепции П. Джорджевича та же модная идея всеобщего абсурда? Во всем этом калейдоскопе смешных положений, условного, опереточного переживания персонажей, любви, переданной приемами мимов, с серьезными и острыми врываниями жизни в ее документированной основе с ее непридуманными жестокостями и смертями есть нечто для меня несоединимое, противоестественное. Да и не такое уж это открытие. Я вспоминаю родоначальника этого жанра — вещь такую же фарсовую и алогичную французского производства конца 40-х годов...

Не могу навязывать своей антипатии, готов прислушаться к доводам уважаемых критиков, считающих «Велосипедистов» удачным фильмом. Выражаю лишь свое сомнение в правомочности такого рода эксперимента в кино.

Собственно говоря, всякий эксперимент в искусстве правомочен. Просто результаты бывают разные. Новое в искусстве связано с новой концепцией человека.

Можно спросить: а так ли быстро меняется природа человека, что нужны все новые концепции? Не гоняемся ли мы за призраками? Наверное, часто да. Но концепция человека — любая, старая и сегодняшняя, — только приближение к тайне человеческой природы, природы обще-



ственного человека. Мы постоянно обновляем свое представление о себе самих и потому, что сами постоянно меняемся.

...Нада спрашивает, почему я грустный. Мы выходим из темного зала и прощаемся с Кохом. Уже садимся в машину, когда она говорит:

— Теперь вы решите, что у нас плохое кино. А у нас есть и другие фильмы...

Но, честно говоря, я уже не слушаю Наду. Я думаю о том, что в новом всегда таится что-то грядущее, хотя бы кусочек того, что все равно будет, когда нам и не нравится его приход. И, наверное, и «Седмина», и «Велосипедисты» говорят о том же: стучится иное понимание прошлой войны, такое, какого мне пока не понять. Говорит новое поколение. Правы мы или нет, уже поздно. Вот почему мне грустно. И потому, что я не в силах доказать молодым свою правоту. И потому, быть может, что я навсегда останусь там, у окопа, заросшего лебедой, где лежат отстрелянные, мятые гильзы, в которых поселились муравьи...

Решили разговор с молодыми поэтами отложить до встречи в Союзе на так называемом приеме, а сейчас телевидение просит кратко выступить по теме «Поэзия Словении. Что вы о ней знаете? Что издается в СССР?».

Пять минут жду в холле, три — меня напудрили и условились о том, что интервьюер («Йоже Худечек, будем знакомы. Очень приятно. Я толкну вас ногой, — значит, время истекло») задаст мне три вопроса: о югославской литературе — словенской в первую очередь, — о личных планах, о планах издательств на ближайшее будущее в Советском Союзе.

Пять минут говорю перед камерой. Идет видеозапись для передачи через два дня — «Культурные диагонали». Поражен четкостью работы. У нас это заняло бы минимум час. Почти без слов профессионально действуют операторы на двух камерах, ассистент, режиссер. Стоп! Отлично. Выходим с Худечекком. У нас еще есть время. На пять минут в «Черного кота»? Хорошо. Кофе, бриньевец — мятная водка. На машине — в Союз писателей.

Здесь уже есть знакомые: Мира Михелич, председатель иностранного отдела, Яро Долар, Гитица Якопин, Йоже Шмидт, Миле Павлин, Нада Крайгер. Новые для меня — переводчик Борко Божидар (польский, чешский), молодые поэты Тоне Кунтнер и «знаменитый» Шаламун.

Знаменитый Томаш Шаламун оказался скромным малым. Он говорил со мной о Лорке и Эллиоте, Рильке и Дилане Томасе. Шаламун честно сказал, что растерян: он думал, что в Советском Союзе плохо знают крупных поэтов Запада. Труднее сложился разговор о национальных традициях. Шаламун их в общем не отрицал, но как-то затруднялся определить современное отличие его, скажем, поэзии и поэтики от поэтики французской или английской. Говорим об Уевиче. Это Шаламуну ближе. Да, да, молодые многому учились у него. И у других славянских поэтов, конечно. Собственно, по Шаламуну, национальная традиция в том особенно и проявляется — в преемственности, которая не всегда заметна, как гены, — они есть, и тут ничего не поделаешь... И все-таки мне показалось, что молодой поэт немного не договаривал. Что делать, мы знакомы всего полчаса.

Шаламун не только поэт, но и скульптор. Он учился в Любляне, Кракове, Париже, Риме. Окончил Академию изящных искусств в Любляне. Здесь и живет. Выставки были в Нью-Йорке, Париже, во многих городах Югославии. Сознаюсь, я был весьма шокирован и растерян, увидев некоторые «скульптуры» моего юного друга. Они называются «шоу». Материал своеобразен. Голые тела натурщика и натурщицы. Позы йогов с явным намеком на половой акт. Позы фиксирует фотограф, и «скульптура» находит место на страницах журнала, — например, студенческого «Проблемы актуальности». Почему предпочтение отдано живым фигурам? Они изменчивы. Их легко конструировать. Они не надоедают, их легко «разобрать», внести «поправки». Не есть ли это эфемерида? Искусство всегда связывалось именно с прочностью, устойчивостью, не так ли? Шаламун улыбается, пожимает плечами:

— О, многое, многое изменилось...

Говорят еще, что XX век — век целесообразности. Зачем держать скульптуру в запасниках? Когда ее смотрят, она функциональна, она оправданна. Но наступила ночь, скульптура «простаивает» вхолостую. Коэффициент полезного действия. Особенность вариаций — не надоедать.

Изменчивость нынешнего настроения, фактор времени, лимитированная потребность ухода от реальности в мир грез...

— Постоянная погоня за текучестью спроса, скажите уже лучше так, рассеянность внимания, настроения, философия мига... Но эти-то качества вторичны, лишь вторичны... В искусстве перестали видеть его духовный смысл. Что есть художник? Что есть искусство?

Шаламун пожал плечами, и улыбка его говорила: «Слышали...»

— Идея жизни. Сохранение этого мгновения, но на фоне эпохи, эры человечества. Сохранение формы как запоминаемой идеи существования. Возьмем балканский тринадцатый век. Славянский поэтический гений обтесывает циклопические камни, знаменитые стечки, рассеянные по горам и долинам Боснии, Паннонии, Далмации. Лика, Славония, Западная Сербия. Они стоят под небом и солнцем, под дождем и градом, эти величественные документы еретического, культурного, географического единства южнославянской цивилизации. Стелы, глыбы, достигающие тридцати тонн веса! На камнях встречаешь орнаментику, говорящую языком антики, архаики... Но как отзывается сердце на такие славянские мольбы в поэзии могильных надгробий. «Молю ви се братио и господо, не мойте ми кости претресати» — написано на одном боснийском «мраморе», а на другом земля предков названа своей и благородной («На своей земли, на племени-той»)... «И молю вас, не наступайте на ме, я сам был, како ви есте, ви чете бити, како есам я».

Идея рода человеческого, его единства — «Я сам был, како ви есте, ви чете бити, како есам я», — разве хотя бы это перестало питать искусство?

Нет, это я уже не с Шаламуном говорю. Он остался где-то в тумане неполного понимания... Я говорю теперь с собой.

1944 год. На освобожденной территории из Загреба в Тепуско привезли на мулах некоторые детали, из которых в партизанской мастерской смонтировали литографическое издание «Ямы» Ивана Горана Ковачича. Текст писал Муртич гусиным пером, рисунки делали вдвоем с Прицей. Переплетчик Векослав Жганер переплел «Яму»

и обложил парашютным полотном, раскрашенным при помощи перекиси марганца. Когда в 1945 году один экземпляр этого уникального издания попал в Париж, Пикассо и Матисс держали его в руках и удивлялись: трудно было поверить, что что-то подобное возможно создать где-то в горах во время партизанской войны... Сразу же после создания книги литографический пресс был уничтожен прямым попаданием бомбы...

Что же вечно и что «преходяще» в искусстве? Что вообще переживает века? Какое новаторство нужно книге, песне, слову, мазку живописца, чтобы из XIII века донеслись эти слова, разрывающие душу: «И молю вас, не наступайте на ме...» — чтобы в век ракет и автоматизированных душегубок гусиным пером и куском парашютного шелка можно было создать книгу, потрясшую гениального создателя «Герники»?

Нет, я совсем не хочу противопоставить гусиное перо компьютеру. Я размышляю вслух, хочу понять, ищу истину. И пусть ищут ее по-своему и Шаламун, и Дане, и Давичо, и Максимович, и Нада Крайгер... Пусть все ищут.

Но искать надо не в темноте. А если и в темноте, то с фонарем.

Нельзя забывать то, что было до нас. Оно все равно о себе напомнит.

Я вспомнил выставку архисовременного искусства в Загребе, в Старом городе, на средневековой площади, среди древних храмов и купеческих особняков в стиле раннего барокко. Внутри одного из старинных домов помещалась выставка с компьютером, сложнейшей, как мне объяснили, опережающей «даже Америку» системой управления. Вы садитесь в кресло за пульт и сами делаете себе «красиво», как сказал бы Маяковский. На огромном экране загораются разноцветные полосы, кубики — мозаика абстрактной живописи, поп-арта. Легкое управление, сказочные рисунки, светящиеся краски... Играть необыкновенно интересно, постепенно втягиваешься, «творишь» вариацию за вариацией, кстати неповторимые. Но в конце концов время твоего «творчества» заканчивается, и ты гасишь экран. Управление основано на сложной системе полупроводников, гарантирующих вам практически бесчисленное количество картин,— пред-

ставьте, что вы просто-напросто играете на цветовом рояле, где вместо музыки звуков музыка сочетаний красок и форм. Вероятно, в таком господстве личного творчества «каждого» много самообмана, роли случайности. Разумеется, человек при управлении «живописным роялем» не только не композитор, но даже не пианист, так как вызвать необходимое тебе сочетание форм и цветов сознательно ты не можешь — за тебя конструирует мозг машины, прикосновение пальцев к клавишам не соответствует пока нотам, элемент интуиции не присутствует тоже. Это царство объективной случайности, роение тысячи совпадений, накладываемых одно на другое... Нет ли в этом изобретении технического ума какого-то неслучайного элемента — знамения века? В сознании современного человека личность все больше перестает играть роль творца, изменчивость и лихорадка технического прогресса порождают всеобщие иллюзии о косности, отсталости духовных процессов, в том числе и творческой состоятельности человека. Лихорадочное состояние вечной неутолимости, погони за модой порождает и компьютеры, и живую скульптуру, и предметную поэзию, где слово рассыпается на буквы, а буквы хотят играть роль самостоятельных единиц, атомов... Один молодой поэт писал, что «сегодня» — «понятие перехода», что старое всегда слабо, что новое «больше старого» и потому «нет круга», иными словами — нет замкнутости.

Круга нет и в другом смысле: круг замыкает, но круг и продолжает. В новом искусстве крайнего проявления — радикальном модернизме — нет преемственности. Вот в чем его беда. Вот в чем я вижу источник его быстрого вырождения. Оно умирает, едва родившись.

У того же Томаша Шаламуна есть хорошие стихи, есть безусловный талант, есть чувство времени. Он умен и предприимчив, как многие молодые его направления, он поверил, что современное искусство спаяно с бизнесом. Нет, он не обогащается, не торгует «святым искусством». Он не верит в то, что искусство — явление духовной жизни. Знаменательный парадокс: с одной стороны, модернисты крайнего толка полностью отрицают личность художника, его внутренний мир, как-то сопряженный с духовным началом действительности, — они конструируют, техницизируют, строят «блоками» стандартного духовного габарита; с другой же стороны, претендуют на не-

повторимость и воинственно отстаивают ее; попробуйте отстать в мире конкуренции вечно меняющихся вкусов — выпадете из внимания прессы!

Положение архипротиворечивое. Надо быть «я», чтобы о тебе не забыли, но твое «я» должно быть похоже на многие «не-я», чтобы не выпасть из круга моды. Это уже круг. Но замкнутый в себе.

Я читал стихи Шаламуна в трех разных журналах. В «Золотых ребятах» (или «Добрые малые»?) — студенческом ревю с подзаголовком, который сам по себе демонстрирует языкотворческий аспект печатного органа молодых: «Трибуна-рибунат-тибунар-бунатри-унатриб-натрибу-атрибун-трибуна...» Но и там нашел я студенческие протесты против американского империализма, стихи о Камбодже, статьи о нуждах студенческого самоуправления, то есть серьезные, боевые материалы. В другом еженедельнике, «Поля», газете культуры и искусства, издаваемой в городе Нови-Сад, в которой есть ряд разумных статей, тоже помещены стихи Шаламуна. Наконец, напечатаны стихотворения Шаламуна в журнале «Проблемы», который издается на родине поэта, в Любляне. И здесь наряду с интересом к философии, искусству за рубежом (между прочим, во всех трех названных мною органах пишется о советском искусстве: об «Андрее Рублеве» — фильме А. Тарковского, о поэзии Марины Цветаевой, о стихах Беллы Ахмадулиной) многое — от провинциального высокомерия феноменологической критики, шукарских «новаций» со словом и против слова.

В каждом журнале Шаламун представлен противоречивыми стихами. В них та же самая двойственность, что и в материалах журналов. С одной стороны, напряженная мысль о времени и месте человека в нем (например, стихотворение о доме, который как бы «заговаривает» бомбовый люк, чтобы он раскрылся не над его крышей, — ироническая констатация иллюзий мещанина в современном мире), с другой — модная вариация на тему абсурда существования в мире жестокости и эклектика разноязычия (строки, написанные по-английски, слова из других языков), формалистические намеки на корневую символику и т. п.

С Томашем я говорил и на встрече в Союзе словенских писателей, и еще раз наедине. Он, повторяю, произвел на меня хорошее впечатление. Мне кажется, что его стесняет

положение, при котором он, при всей своей претензии на «европейскую» и в некотором роде даже «мировую» известность, остается малонизвестным в своем отечестве.

— Рудолф, Медвед, Шаламун не идут,— вздыхая, говорил мне один издатель.— Они предпочитают издаваться в частных издательствах. Есть такая форма издания в Югославии. Если у тебя набралось несколько сот динаров,— одолжить нетрудно такую сумму,— идешь в типографию, договариваешься, тебя издают небольшим тиражом, а потом «Агенция авторская» подсчитывает, что пойдет автору, что государству, что типографии. По выходе цензура (постцензура) просматривает опусы молодых авторов. Вот и весь процесс. Если читатель заметит автора, раскупит книги, государственные издательства приглашают поэта и заключают с ним договор. На первую книгу рискуют редко. Надо сказать, что даже большие тиражи поэтических книг — это одна, две, от силы три тысячи экземпляров.

— А Кунтнер? — спросил я.

Как-то познакомился с милым, скромным поэтом. Он актер. Играет в театре и пишет стихи. Его стихи, по контрасту, вероятно, покорили простотой, ясностью, социальной остротой. Вот, например, «Песнь павшего партизана». Перевел сам. В подстрочнике так:

«Брат, не ходи на могилу. Меня уже давно нет среди мертвых (забыли меня, мертвеца). Мне уже давно ото снались сны о тебе, хорошие сны, мой брат. Тогда ты говорил: пролетарий, права... Но разошлись мы. Ты — живой и гордишься мною, когда едешь на своем черном «мерседесе», брат».

Кунтнер, оказывается, расходуется хорошо — 500—600 экземпляров. Последняя книжка называется «Лесника», то есть «Древесина», менее точно — «Доска». В ней есть этот запах природы, но природы «распиленной», приготовленной для стройки. Кунтнер и хочет счастья людям, тепла, «дома» в самом широком смысле, и в то же самое время грустит, что счастье это получаем мы за счет живого... Митя Меяк, видный критик, говорит, что у Тоне Кунтнера есть боль, страсть, что стало уже признаком «традиционности» у снобов, но что поэзия его никак не старомодна — в ней свободная структура, лаконичная и выразительная по-новому. Еще Меяк указывает на типично словенские принципы его поэзии. И, между про-

чим, видит их в особом духе сдержанного выражения, как он говорит — «самодисциплине» формы. Исповедь крестьянской души видит в стихах этих критик. Да, в лирике Кунтнера чувствуешь широкую народную поэзию. Художник Иве Шубиц усилил эту ноту выразительными рисунками: сепией и черным нарисовал он — как вырубил из дерева — кряжистые, основательные фигуры крестьян с тяжелыми руками и остановившимся взглядом; одинокая свеча в тяжелом подсвечнике и в окне распряженная телега, рабочие руки, угрюмые лица тружеников, крестьянский «натюрморт»: половина хлеба, нож, бутылъ с вином — все крупно, просто, однозначно. Боль Кунтнера понятна в «Балладе»:

Все из дома.  
Осталась одна.  
Она. Мама.

Осталась одна.  
Бог, который был с нами,  
бог, который был с нами.

Разрушение современной деревни под натиском городской революции — тема не только югославская. Для словенцев, маленькой нации, она не так уж и трагична. Дело не в пресловутой дилемме — город или село. «Древесина» Тоне Кунтнера иного корня. Она носит общедемократический характер. В ней выражен протест против забвения идеалов, которые вели простого человека в войну против фашистов. Кунтнер хочет от поэта, чтобы его душа была «золотой и чистой», как древесный срез. Он чувствует себя веткой дерева, называемого нацией:

Я твоя кровь  
и твоя слеза,—  
я — живая рана  
на твоём теле.

Не откупиться мне  
ценою своей преданности,  
не откупиться.

Нада говорит:

— Еще успеем в издательство. Там директор хороший человек. Он все понимает. Иван Потрч. Идем к издателю, который все понимает. Есть ведь и такие.



Это на главной улице. «Младинска книга». Вроде нашей «Молодой гвардии». Потрч встречает нас гостеприимно. Он бывал в СССР и издает наши книги, я бы сказал, весьма щедро. Вот он выкладывает передо мною — одна лучше другой издана: красиво, культурно, позавидуешь. Ежегодно от 6 до 12 томиков русской лирики! Лермонтов, Блок, Пушкин, Тютчев, Ахматова.

Сколько словенцев? — спрашиваю я. Около полутора миллионов, а с жителями Триеста — словенцами — и все два. А тиражи — 3 тысячи. Прекрасно. В 75 тысяч издается «Цицибан» (аналог нашего журнала «Пионер»), из них 40 тысяч на словенском, остальной тираж на сербскохорватском. Редколлегия совместная. Хороший пример — издание «Младина» (аналог нашей «Юности») тиражом в 20—30 тысяч! Газета «Пионерский лист» — тиражом в 70 тысяч. Это 30 полос на очень хорошей бумаге, с красочными иллюстрациями. Из номера в номер ведется раздел «Ленинские годы» (серия с картинками о жизни Ильича). Во «взрослой» части программы — серия «Кондор». Тут выходили тома Пушкина, Лермонтова, «Слово о полку Игореве», Есенин, Чехов. Есенина составлял и переводил Тоне Павчек, мой друг, поэт, бывший партизан. Лермонтова готовил Миле Клопчич, известный поэт, высококультурный переводчик. Пушкина переводил тот же Клопчич, три стихотворения перевел Отон Жупанчич, крупный словенский поэт, одно — Божо Водушек. Изумительно изданы сказки народов СССР. Два тома украинской, два тома русской, том узбекской сказки. Иван Потрч, писатель и издатель, с гордостью показывает иллюстрации, которые он привез из Средней Азии и Сибири. Ими украшена книга Антона Инголича «Сибирские встречи». А вот «люксовое» издание — басни Крылова с иллюстрациями Мелиты Вовк (перевод опять-таки Клопчича!).

Я не называю всех книг. Много, хорошо пропагандирует издательство «Младинска книга» нашу литературу.

Иван Потрч похож на Гаргантюа — веселый, лукавый, полный человек с усами украинца (это его жена с сыном встречали меня на вокзале). Он дарит мне альбом дружеских шаржей, такой же огромный, как все в его кабинете. Обращает внимание остроумное и со вкусом оформление кабинета. Вся стена, в которой потом окажутся потайные шкафы, бары и двери, представляет со-

бою фотопанно — огромное увеличение видов старой Любляны: барокко лепных порталов, вензеля гербов, мостики и переходы, фонтаны, скульптуры, черепица крыш... Плотная фотобумага, никакой обивки, никаких обоев. А на свободной белой стене — дружеский шарж на самого... Тито. Все у этого лукавца шутливо. Но попробуйте его перехитрить, всунуть халтуру — не выйдет. Иван Потрч старый партизан. Здесь это похвала, больше того — лучшая рекомендация. Мы говорим о нашей литературе, он внимательно слушает, соглашается, что современников знает мало, просит помочь.

Начинается спор с Надой. Сначала я не сразу понял, в чем суть. Какая-то женщина из деревни убила своего мужа. Это сенсация не простая. Все газеты писали о процессе. Крестьянка, пока сидела в тюрьме, написала книгу «Да, я его убила». Книга стала бестселлером. Она сидела под следствием полтора года. Как-то случилось, что ее оправдали. Женщина стала учиться, размышлять над жизнью.

— Она освободилась! — кричала Нада.

Ее книга наделала шуму: что? почему? каков мир? что есть современная мораль? Тысячу вопросов подняла крестьянка, с беспощадной искренностью и неожиданной логикой раскрывая преступление века. Читавшие давались диву: откуда эта сила мысли, проникновение в общий смысл жизни? Ей никто не помогал, ее никто не направлял. Книга стала библией — наивной и неотразимой.

Потрч говорил лениво: «Фригидность...» Нада кричала: «Эмансипация!» Я ничего не понимал и хотел уйти «по-английски», но Нада потребовала, чтобы я «не отмалчивался в таком важном деле, как положение женщины», и я стал что-то тянуть насчет того, что освободиться можно и не таким кровавым путем и что вообще у меня ощущается недостаток полной информации по этому поводу... На мое счастье, пришли какие-то редакторы с предложениями по срочной верстке, и мы откланялись. Потрч извинился перед редакторами и проводил нас до дверей лифта. Хитро улыбаясь, он сказал мне, закрывая дверцу, уже через стекло:

— Самое страшное в наше время — фригидная женщина...

Нада задохнулась от возмущения, я поспешил нажать кнопку.

— Он ничего не понял,— сокрушенно сказала Нада,— ведь правда?

На улице светило солнце. Мне было как-то все равно, кто из них прав, тем более что, к стыду своему, я не имел никакого представления о том, что такое фригидность. У меня вертелись строчки из Луговского: «Колпак фригийский утренней зари...» Фригийский — было знакомо. Утро светило вовсю. Впрочем, оказалось, что уже полдень, а не утро. И мозги «фри» тоже стали вертеться в моем филологическом сознании. Или рыба «фри», или, на худой конец, фрикадельки, а еще мясо, которое, как я слышал, нужно резать «фрикандо», то есть поперек волокон...

— Фригидность? — презрительно фыркнула Нада, прощаясь со мной у дверей своего офиса.— Сами они фригидны, мир фригиден — вот в чем дело!

— Ну конечно,— подтвердил я.

Пожимая мою руку своей твердой рукой, Нада встряхивала ее, прежде чем протянуть, как будто опасалась, что к ней пристали ненужные сомнения.

До встречи с историком, который должен был прийти к Наде, оставался час, и я решил пройтись по набережной Любляны, вдоль старых особняков, смотревшихся в спокойную воду реки. На арочном мосту стояла парочка, наклонившись над перилами, и смотрела на лодку, проплывавшую под мостом. На маленькой площади среди воркующих голубей сидели старички и старушки и читали газеты. Мирно, покойно, дремотно. Наскоро перекусив в каком-то кафе, где, кроме меня, никого не было, а итальянские спагетти стоили очень дешево, даже посыпанные красным перцем в количестве, превышающем, очевидно, вес самих макарон, и запив эту адскую смесь пивом, я некоторое время любовался красивым видом из окна кафе. Я видел зеленую рябь реки, длинные ветви ив, полощущиеся в ней, отражение какого-то шпиля, по-видимому ратуши, мшистые берега канала, парапет, на который лениво опирались многочисленные парочки. Где-то били куранты, и звуки плыли тоже сонно и приглушенно. Был тот послеобеденный час, когда жители Любляны отдыхали. Лавочки закрывались часа на два, а то и на все четыре, а на дверях висели круглые аккуратные цифер-

блатики со стрелками, указывающими самые различные комбинации часов работы. Потянулись автомобили за город. В субботу обычно люблянцев тянет на природу. Через двадцать минут по выезде из города попадаешь в зеленый рай из дубов, лип, яворов, орешника.

Площадь у моста пустела. Официант принес мне еще чашечку кофе и подшивку газет на полированной ручке. Я читал объявление о продаже дач на Адриатике с таким вниманием, будто боялся прогадать в цене. Потом проштудировал объявления о вечерних развлечениях, узнав между прочим, что в Сараеве вокальный квартет с понедельника будет выступать с обнаженной певицей. Квартет был налицо. Целомудрие подписчиков щадило лишь качество типографской печати. Читатели выбирали девушку с наиболее очаровательной улыбкой, — их двенадцать, а надо было выбрать одну. Я серьезно колебался, какой отдать предпочтение. У одной мне нравились скромность и неуловимость улыбки, но другая брала наигранной наивностью, третья, кажется из города Нови-Сад, хотела оригинальности — ее улыбка была горькой и всезнающей, четвертая просто смеялась вовсю... Рядом на странице мы видели претендентов на приз «Улыбка» живописной стайкой на улицах Белграда. Мини, макси, брючки, волосы каскадом по плечам, головки под мальчика, конские хвосты и т. п. Потом — не без юмора — фотокорреспонденты сняли их мамаш: толстые матроны вытирают пот платками, в глазах испуг, напряжение, азарт соучастниц...

— Да, много, много у нас чепухи в газетах, — сказал по-русски кто-то за моей спиной.

Я оглянулся. Худой, очень худой человек с глубоко запавшими глазами, в мятом плаще саркастически улыбался.

— Дане сказал мне, что вы будете в шесть у Нады. Я вас видел с ним вчера. Сейчас проходил, узнал. Здравствуйте. Я брат Дане. Двоюродный.

Мы пожали друг другу руки. Я позвал официанта и попросил что-нибудь выпить.

— У меня нет желудка. — Человек, имени которого я все еще не знал, повертел рукой в зоне живота и извиняющимся жестом отстранил воображаемый бокал. — Если не возражаете, мы поговорим здесь, а Нада — я позвоню ей — проводит вас на вокзал, заедет за вами. Она не обидится, я же что-то плохо себя чувствую... Это к луч-

шему, что встретил вас здесь, — к вечеру я расклеиваюсь. Я был в Дахау. А в Освенциме сидел Лойзе Кракар, знаете? Это очень хороший поэт. Сейчас он преподает во Франкфурте, ну, читает лекции там, а вообще он словенец. Вы понимаете по-словенски?

— Не очень. Лучше говорить по-русски. Тем более вы хорошо им владеете. Но, простите, я запомнил ваше имя?

— Франце. У Лойзе есть строчки:

Здесь смерть устала до смерти,  
Осуществился библейский ад.  
Здесь преступление получило славу ремесла  
И миллионы душ перемололо в пепел.

Скажите, можно такое придумать поэту? Нет, надо быть в Освенциме... Или Дахау. Лойзе Кракар переводит с польского и сейчас. Он подружился с поляками в лагере... Но я хотел рассказать вам о другом. Нада говорила, что вас интересует словенская история, так сказать, истоки нашего Сопротивления... Я не умею рассказывать. Вы меня перебивайте, ладно?

Подошел официант, принес воду, кофе. Франце взял воду, пригубил, задумался.

— Когда мы ушли в подполье, пришел Пирнат, — знаете, наверное, известный художник, смелый человек... Муж Нады Крайгер. Мы выпускали книги в подполье. В самый разгар Сопротивления, понимаете, решили издать «Историю партии» — надо было партизанам, особенно молодым, знать наш путь... Я старый член партии. Многие интеллигенты, кто раньше не разделял наших взглядов, логикой войны, логикой отбора людей (мы все были в партизанах, мы возглавили ОФ) пришли к коммунизму. Они хотели знать то, о чем вчера, может быть, не хотели слышать... И вот Пирнат и еще один художник, Михалич, решили иллюстрировать книгу — они делали ночами линогравюры. Бумагу привозили из Милана в бочках, наклейки были винные... — Франце смеется. — Трудно было доставлять бочки. Один солдат просверлил дырку и припал губами, сосет-сосет — не льется. Он почуял неладное, позвал другого и вместе стали снимать крышку. Я стоял на страже на углу, у склада, на всякий случай. Увидел — испугался: ведь те, кто возил «вино», на учете, могли найти явку, распутать многое... И вдруг, когда крышку

открыли, второй солдат размахнулся и ударил первого чем-то... Тот упал головой в бочку. Смотрю — солдат оглядывается, видит, что никого нет, и оттаскивает оглушенного или убитого в щель за сараями, на свалку, возвращается и закрывает бочку. Я подошел к нему и говорю: «Брат, ты словенец?» Он смотрит с подозрением, но кивает. Я говорю: «Я все знаю, сейчас я приведу людей, и мы вывезем бочки» (обычно мы в темноте их перевозили, а держали в солдатской казарме вместе с настоящим вином)... Побежал что есть сил. Приехали с подводой, стали за углом, подхожу к казарме, а там другой солдат у дверей стоит. Увидел меня и говорит по-итальянски: «Где же телега?» Понял, что и он с нами, быстро нагрузили телегу и вывезли бумагу в другое место. Потом я этих солдат не видел, не знаю, чем кончилось для них все это, кто они — словенцы, итальянцы-коммунисты. Но, значит, они знали, что мы бумагу для типографии у них прячем? А на следующий день по Любляне прошел слух, что итальянца тесаком убили свои же, говорили — ревность...

Нам легко было: Любляна вся с нами. Почти вся. Знаете, сплошная, скажем, грамотность — это не так мало... Легко шла агитация словом. Свои люди сидели всюду — в учреждениях, в банке. Помню, мы подделали чек в миллион лир, получили среди бела дня деньги для нужд партизан... Мы печатали облигации народного займа, и люди подписывались — и все под носом оккупантов. Когда в народе такое единство и когда город свой знаешь, многое можно делать молчаливым сопротивлением. В 1942 году итальянцы пробовали окружить город колючей проволокой, провозились месяцы, а ничего не вышло — ОФ пользовался огромным влиянием, связь с подпольем, с партизанскими группами не прерывалась...

...Мы говорили об интеллигенции, о ее роли в революции, в Сопротивлении. Подавляющее большинство югославских поэтов, музыкантов, актеров, художников оказались в рядах борцов, показали себя с наилучшей стороны. Франце считает, что и тут были свои корни. В 1914—1915 годах словенская социал-демократия заняла антивоенные, интернационалистические позиции. Словенцы не знали, по его словам, того типа реформизма, который в те годы разъедал рабочее движение в Австрии, Италии. Правда, в 1917—1918 годах началась политика сползания к реформизму и в Словении. Что же ка-

сается участия интеллигенции непосредственно в революции, то Франце считает, что тут Словения не знала себе равных в Европе по тому единодушию, общенациональной «собранности» — в частности художественной интеллигенции, — которая обеспечила стране такую мощную коалицию антигитлеровской оппозиции интеллигенции. Вы не станете отрицать, такова логика Франце, что в Петрограде после победы революции интеллигенция в массе своей саботировала новую власть, у нас же, говорил он, подавляющее большинство художников сказала то, что сказал Маяковский: «Моя революция...» Тут все объяснимо социально, добавил Франце, боясь, как бы я не обиделся на такое сопоставление. Наша буржуазная интеллигенция революционизировала себя национальным инстинктом. Мы всегда боролись на два фронта — Италия и Австро-Венгрия. Для нас революция социальная более непосредственно совпадала с национальным освобождением...

— Подождите, — сказал я, — минуточку, ради бога...

Я вскочил, опрокинув бокал с водой, услышал звон стекла уже позади себя. Выбежал на улицу.

Впереди меня, насвистывая, шел человек в твидовом костюме с кожаными заплатами на локтях, с загорелой лысиной. Ветерок шевелил его рыжевато-седые волосы на затылке.

Я догнал его и резко повернул к себе.

*3 октября*

С того дня, когда я так нелепо обозначился (как он был похож на Майера, этот прохожий!), прошло несколько дней. Постараюсь восстановить их в памяти.

...Итак, я вернулся, обескураженный, подавленный нервическим своим поступком, в кафе. Официант сметал осколки стекла коротким веничком в красный пластмассовый совочек. Лицо его было непроницаемо. Франце выжидающе смотрел на меня, барабая тонкими пальцами по мрамору столика. В углу у самого окна сидели две женщины — они вошли, видимо, в то время, пока я гонялся за тенью Майера. Женщины тоже строго смотрели на меня, или мне так показалось.

— Пойдемте, — сказал я Франце, — я все объясню.

Он молча посмотрел на часы, отодвинув манжет синей рубахи. Манжет был скреплен скрепкой вместо запонки.

— Мне пора идти,— болезненно улыбнулся он и вытер испарину на лбу мятым, несвежим платком.

Острая жалость проникла в меня, и я не хотел так просто отпускать Франце, не сказав ему каких-то добрых слов, которые могли бы поддержать его. Но вместо них сказал поспешно, видя, что он подымается и запахивает плащ:

— Мне показалось, это Майер, Петер Майер, коллекционер ваших картин... Понимаете, я случайно познакомился. Он живет в ФРГ. Скупает листы концлагерной темы.

Франце покосился на меня. Мы шли к выходу. Я вспомнил, что не заплатил, и полез в карман, но Франце жестом показал, что уже заплачено. Официант поклонился нам и открыл дверь. В большом зеркале я увидел его непроницаемое лицо еще раз. Там же отразилось лицо одной из дам с открытым ртом и ложечкой с кремом. Она тоже смотрела нам вслед. «Как неприятно,— промелькнуло в мыслях,— что со мною происходит...»

Франце шел ссутулившись, кашлял долго, вытирая слезы. Мы шли вдоль реки. Солнце зашло, стало свежеть. Время от времени мы останавливались, пережидали приступы кашля у Франце. Я рассказал ему о Майере. Он молчал и, казалось, не слушал меня. Но я знал, что это не так, что каждое слово Франце ловит на лету и потому особенно сердится на приступы кашля.

Мы сели на скамейку под деревом и стали смотреть на воду. Она быстро темнела. По ней плыли листья, щепки, проплыла целая ветка, свежий слом был отчетливо виден.

— То, что вы рассказали, необычайно взволновало меня,— наконец заговорил Франце.— Дело в том, что я сидел в Дахау. И тот лист, что вы видели у Майера, мне знаком. Его рисовал Зоран Мушич. Коричневым карандашом. Это из цикла «Дахау». Но у Майера кония, подлинник здесь. Кто-то, очевидно, надул вашего Майера. Дело в том, что мне пришлось каким-то образом принимать участие в подготовке работы о художниках, сидевших в лагерях смерти. Сейчас мы пойдем ко мне. Нет, я уже лучше чувствую себя... Я покажу и расскажу вам кое-что, раз уж мы начали эту тему.



По дороге мы еще не раз останавливались. Франце рассказывал:

— Зорана взяли в Венеции. Я познакомился с ним в Триесте, в тюрьме. Потом нас отправили в Дахау. Какое-то время Зоран писал более свободно. Это было тогда, когда он попал в архитектурное отделение оружейного завода «Фертигунгсверкштетте»,— у него были карандаши и некое подобие свободного времени. Он рисовал то, что видел из окна барака, и по памяти. Перед ним были большие листы бумаги. Потом он их разрезал. Некоторые его работы хранятся сейчас в Базеле, в музее, многое, увы, пропало. Серию «Дахау» Зоран сделал в 1945 году, в январе. В марте и позднее добавил к ним другие листы. В то время уже началась паника, дисциплина упала...

Мы подошли к старому дому, вошли в темное парадное и стали подниматься по каменным ступеням лестницы. Франце жил в мансарде. Комната была похожа на своего хозяина, в ней царило печальное запустение. Но здесь было много старинных книг, гравюр, карт, пожелтевших от времени. Я смотрел на барочные виньетки и тонкие профили пузатых каравелл с туго надутыми парусами. Они все плыли в одну сторону — к офорту Гойи «Ужасы войны». Франце освободил мне кресло от рукописи и достал из шкафчика два стакана, посмотрел их на свет, зажег лампу на столе, покачал головой и пошел со стаканами на кухню. Теперь, при свете настольной лампы, стал виден и дальний угол комнаты — там висело несколько листов. Я подошел поближе. На одном из них был изображен заключенный, тщедушный старичок в полосатом не то пальто, не то халате, в непомерно больших опорках на босу ногу. Руки его были глубоко в карманах. Он стоял на табурете. Под листом стояла надпись карандашом другого цвета: «Kazen». На другом листе — сжавшаяся от холода девочка, сидящая на перевернутом котелке; на третьем — барак, плотно забитый полосатыми спинами: люди ждут раздачи пищи...

Вошел Франце, снова посмотрел на свет стаканы, поставил их на заставленный книгами стол, достал бутылку с вином, заткнутую пробкой в форме головы Наполеона, и налил мне побольше, себе поменьше темно-красной жидкости.

— Себе — символически. Это для гостей. Греческий коньяк. Пахнет мечтой. Становлюсь сентиментальным от одного запаха.

Франце улыбнулся. Подошел ко мне, протянул стакан. Чокнулись, не отрывая глаз от листов.

— Йोजе Полайнко из Маутхаузена. «Наказание». Везде издевались по-своему. А это «Замерзшая» Стане Кумара... Дети...— Франце вздохнул.— Надо сказать, что было три ступени унижений. Первая — в итальянских лагерях. Там было полегче. Недаром и рисунков сохранилось оттуда много, около тысячи семисот. Кумар вот тоже сидел в Гонарсе. Это самый известный лагерь в Италии. Там были Пирнат, братья Видмары, Мирко Лебез... Лагерный врач, доктор Марио Кордаро, оказался антифашистом. Он приносил краски, бумагу, карандаши. Думаю, что он именно устроил Пирнату в 1942 году этот заказ,— Франце тихо засмеялся,— на бюст гонарской мадонны... Пирнат был энергичным человеком. Он устроил школу художников, итальянцы разрешили выставку, но несколько человек словенцев убежали прямо с «вернисажа», и школу закрыли... В Падуге, например, тоже нашелся один либерал, поручик Тино Роза. Он сам занимался этюдами вместе с заключенными. Хорошие люди всегда находятся... Но это не закон, исключение.

— Вы пессимист по природе или по стечению обстоятельств?

— Что вы, я имею в виду фашистов, оккупантов, насильников — и в их стаде есть белые коровы... А так, в жизни, я скорее оптимист.

Франце закашлялся и долго вытирал слезы.

— Нет, много запаха я уже не переношу.— Улыбнувшись грустно, он посмотрел на свет красную жидкость и с сожалением поставил свой стакан на стол.— Человек всегда выходит из кризиса лучшим, чем входит в него. Пусть иные и спорят с этим. Лойзе Кракар — талант злой, жестокий, беспощадный. Он ничего не хочет спускать человеку. Человечеству. Почитаешь его стихи — никакой щелки для самоутешения. Он видит насквозь, он не прощает, он догоняет, вытаскивает на свет, показывает нам мерзость, ложь, лицемерие. И говорит: вы все, все такие, когда сдаетесь насилью... Но он оставляет нам возможность, не правда ли,— мы же можем и не сдаться на милость силы? А?

Франце смеется лукаво и заразительно. Снова берет стакан и машинально втягивает запах коньяка, полузакрыв веки.

— Что здесь главное, в рисунках этих? Во-первых, рисуя, ты уже борешься, протестуешь... В бункере смерти художник Владимир Лакович рисовал так: гвоздями из ботинок растянул и закрепил на полу носовой платок, тайно пронесенной зажигалкой жег пробку, расщеплял ее и рисовал. А фиксировал так: выжимал чеснок, опрыскивал рисунок... А знаете, иногда комендант-чудак разрешал рисовать, но вводил цензуру: отбиралось то, где слишком документально изображалась лагерная жизнь. В искусстве всегда самое опасное — сходство с жизнью.

— А интересно, как вели себя разные художники? — спросил я. — Ведь перед войной у вас было много сторонников левого, авангардного искусства? Выдерживали ли аполитичные, эстеты, скажем?

— Я сам интересовался, — ответил Франце. — Знаете, тут важно не то, что о себе думал художник, а какое у него нутро, — мода не должна сбивать с толку. Мода всегда была и будет. Между двумя войнами у нас было много художников социальной и революционной тематики. Исповедовали ее и реалисты, и авангардисты. И, надо сказать, и экспрессионисты, и «независимые», и реалисты одинаково хорошо проявили себя в годы войны и плена. Хорватская школа «Земля» (1929—1935) — многие словенцы учились тогда в художественной школе Загреба, — и наш «Словенский образ» (группа 1934 года, братья Видмары, например), и группа «Груда» (1938)... Все художники, которые потом попали в лагеря, вышли, собственно, из этих школ.

— А как дальше сложилась судьба вернувшихся? Вот вы говорили о поэте Кракаре. Живописцы тоже судят человечество?

— По-разному. — Франце пожал плечами. — Зоран Мушич, например, вернулся к любимым мотивам — лирика, пейзаж. Отрисовал акварели «Дахау» Бруно Вавпотич и поставил на этом точку. Оставил тему смерти и Франце Урчич...

— Как вы это объясняете?

— Тоже по-разному, — серьезно сказал Франце. — Одни не хотят беречь раны, другие боятся остаться в

в плену памяти, третьи хотят жить, нагоняют упущенное... По-разному.

Он подошел к полке и достал какую-то книгу, в ней была закладка. Франце прочитал: «Знаю, что без отвращения буду возвращаться к этой вещи. Еще чувствую в себе потребность выразить свои личные... переживания в связи с крайне преступным антигуманизмом, веявшим в лагерях смерти. Считаю, что об этом надо непрерывно говорить людям, дабы нечто подобное никогда больше не повторилось!» Это слова Владимира Лаковича. Видите, есть и такая точка зрения. Она верна. Но не надо заставлять художника возвращаться в прошлое. Оно все равно живет в нем. И очень по-разному проявляет себя... Налить еще?.. Ну, как хотите. Ни в каком деле не нужно принуждения. Это главное... Знаете, почему я не согласен с Дане? Он догматик. Догматик в Югославии — это особенная проблема.

— Дане догматик? А ты?

— А я рядовой югослав, словенец, интернационалист, который очень устал... Устал, но люблю жизнь.— Он смотрел на меня лукаво.— Слушай, давай закрепим наше «ты». Без брудершафтов. Ты ведь совсем не похож на догматика. Зачем мы усложняем жизнь? Нам так много надо сделать вместе. Нас так многое объединяет, и так, по сути дела, интересно даже спорить — у вас своих проблем по горло, у нас своих, но мы вышли в мир одной дорогой! Разве не правда?

Он стоял, широко распахнув руки, искренний, открытый, с черными горячими глазами.

*4 октября*

Вечером я уезжал из Любляны. Я стоял на ступеньке вагона и махал им шапкой.

Медленно удалялись Нада, Дане, Франце, Тоне Павчек, они кричали мне по-словенски и по-русски.

Я тоже кричал им по-словенски и по-русски.

И в горле у меня щипало от дыма, от ветра, мешал горячий комок, застрявший в груди.

*23 августа 1972*

Я опять укладываю чемодан. Завтра утром с делегацией поэтов на Стружские вечера поэзии улетаю в Югославию. У меня — меньше месяца, а планов, как всегда, много. Прежде всего — как распорядиться отпущенным временем? Логичнее было бы продолжить поиск судеб по той ниточке случайных открытий, которая уже привела меня однажды в больницу «Франя». Но я уже знаю, что надо доверять случаю... Какой план у меня был в позапрошлом году? Я искал поэзию. Да, да, ту, что с рифмами. Или без рифм. Стихи, одним словом. Хотел понять истоки современного стиха. Я читал эпос, дневники военных лет, хронику славного Сопротивления фашизму. И думал, что жизнь подтвердит то, что я уже заранее уготовил ей.

Но все вышло не так... Начиная со встречи с Майером. Мне кажется теперь, что с этого началась какая-то новая история. Не сюжет, не предусмотренный ранее, а странное равнодушие почти к тому, что составляло предмет моих первоначальных интересов, планов. Как бы это объяснить? Разве мало критику поэзии — понять атмосферу творчества, найти истоки его живых противоречий? Но получилось так, что все меньше места занимала в моих очерках поэзия, все больше — судьбы людей, с которыми свела меня дальняя дорога, все чаще сворачивал я в

сторону с нее... на какие-то давние свои, сокровенные мысли. А то и просто вели меня за собою чужие судьбы, и жажда, та, что сродни любопытству (а что дальше?), руководила потом поисками сюжета... Или я оправдываюсь? Или просто навалилось новое, утонул я в интересных подробностях чужих жизней, смял «сюжет»?.. Сейчас рано давать ответ. Знаю только, что форма дневника ведет меня сложными и непрямыми закоулками сознания, не только прямыми и проезжими путями. И путь этот радостен, волнующ и обещает неожиданности... А сюжет, что сюжет?

Есть у Иво Андрича грустный рассказ «Осатичане». Человек ставил крест на купол деревенской церкви и впервые увидел широкий горизонт. Ему кажется, что люди должны отныне как-то выделять его, гордиться им, завидовать. Но жизнь продолжается такая же скучная, однообразная, и все как сговорились, не замечают того, что наш герой уже не тот, что его днем и ночью гложет сознание своей исключительности. Однажды, не вытерпев, он требует от односельчан, чтобы те подтвердили его особые заслуги, но случилось это в корчме глубокой ночью, и, подогреваемые парами свежей ракии, люди согласились на «доказательство»: раз уж они успели забыть то, как он ставил крест на купол, так и быть, он готов ночью повторить подвиг, — и он карабкается вновь на купол и вновь видит даль: всходит солнце, а на другом конце неба блекнет месяц... Увы, чтобы замять скандал (пьяные осквернили крест!), односельчане вынуждены на следствии вновь подтвердить, что все это ночное происшествие только плод их пьяной фантазии, поврали друг другу и разошлись, мол... И, самое главное, герой наш, струхнув, тоже отрекается от своего подвига. Годы идут, и осталось от чувства высоты одно воспоминание, да и то в виде ночных кошмаров — то ли правда, то ли сон... Потолстел герой, обзавелся детишками, стал забывать и само происшествие, которое однажды так потрясло его, могло, казалось, наново осветить его судьбу...

Для меня в этом рассказе важно то, что за сюжетом.

Я вспоминаю стихотворение украинского поэта Ивана Драча о крыльях, которые выросли у человека и мешали ему работать по хозяйству. Он рубил их. А они отрастали, хоть плачь... К чему бы это?

А к чему бы это героине мартыновского стихотворения

снилась «серебряная нить»? Ей сказали: к счастью. И она засветилась.

Мы никогда не знаем, где нас ждет удача.

Когда засветится нить, которая связывает разрозненные, казалось бы, части жизненного сюжета.

На дне нашего сознания хранятся клады. Одни забыты там с детства и ждут, чтобы их откопали. Иногда до смерти. И человек, которого под музыку оркестра или просто под плач близких, а то и вовсе в равнодушной тишине природы опускают в могилу, так и не знает, что вместе с его бранным телом погребают сейчас сверкающие драгоценности впечатлений, образов, догадок, неосуществленных открытий, намечавшихся побед...

Каждый человек наделен этим кладом. Кладом памяти, опыта, нерасшифрованных страстей, недопроявленных инстинктов, неосуществившихся надежд, неосуществленных замыслов. И каждая попытка высказывания — особенно творческого — есть, по сути дела, еще и еще одна упрямая точка приложения силы, противодействующей разрушающему действию времени...

А если бы кладовые нашей памяти разом открыли свои холодные двери, мы задохнулись бы в красках, запахах, формах наших пережитых чувств, выпорхнувших на свет!..

Так, может быть, то, что называется сюжетом, — только шифр самоограничения, мобилизации нашей воли на том направлении пути, который ты должен пройти в этой жизни.

Для этого надо многое забыть. Но вспомнить главное, свое.

Иногда надо искать не там, где начал.

*24 августа*

Поездка с делегацией — это отключение и расслабление. Живешь как в армии, где за тебя, как известно, думает старшина. У нас «старшина» веселый — Луконин. Я знаю его давно. Как поэта, как человека, в быту, на трибуне. Как он пишет стихи — не знаю. Как, впрочем, не знаю, как пишут стихи и другие. Дело интимное. Впрочем, Расул Гамзатов, мой старый друг и однокашник по Литинституту, писал стихи и «на людях». На лекциях (он сидел за мной) Расул двигал меня то вправо, то влево,

чтобы закрыть лист бумаги, исписанный аварским текстом,— тогда он переводил «Полтаву»,— и бормотал иногда, проверяя звучание... А потом, через десяток лет, в Польше, когда мы жили в одном номере, в «Бристоле», он будил меня на рассвете шлепком по спине и говорил: «Гигант мысли, ты что, сюда спать приехал?» После этого он расхаживал, полуодетый, по номеру и рубил воздух кулаком, громко скандируя строчки: писал стихи. Зачем ему было нужно будить меня, убей бог, не догадываюсь, он сразу же забывал про меня...

Сейчас я живу в белградском отеле «Палас». Номер у нас на двоих с Юстинасом Марцинкявичюсом. Он деликатный, тихий, задумчивый. Эпик. Мы дружим с ним давно. Знаем друг друга. Все его поэмы я читаю в подстрочном переводе, а потом уже в художественном. Мы и говорим с ним тихо, солидно, размеренно. Молчим тоже солидно. Сказывается темперамент северного барда у Юстинаса, я же переимчив по натуре. С Расулом я говорю громко, весело, с акцентом. С Юстинасом (ловлю себя на этом) грустно распеваю, как литовец. Сейчас выясняется, что Марцинкявичюс отлично влияет на меня еще в одном направлении. Его европейские манеры, особенно умение завязывать галстук, умело развешивать одежду, раскладывать стопочками журналы и сигареты на тумбочке, а также всовывать накрахмаленные платочки в кармашки костюмов подавляют меня и внушают почтительное внимание. Пытаюсь подражать, но это не так просто, как кажется. Особенно галстук. Не люблю галстуков, завязываю приблизительно. Юстинас смотрит на меня добро и снисходительно. Не выдерживает, вздыхает, подходит и раз и навсегда завязывает идеальную петлю. Теперь я осторожно снимаю и надеваю галстук, чуть ослабив узел.

В соседнем номере — супруги Шкловские. Виктор Борисович неумоимо несет бремя мировой славы. Хитро улыбаясь, выставив нижнюю челюсть, он диктует очередное интервью, полулежа в кресле. Устал. Его афоризмы сбивают с ног неподготовленных. Подготовленные стонут от удовольствия. «Входите, киса»,— говорит Шкловский мне. Мы дружим с ним лет двадцать. Впервые я познакомился с ним студентом. Пришел узнать мнение о дурацкой, экстравагантно написанной статье. Под Шкловского. Мэтр куда-то торопился. Он говорил со мной



и... раздевался. Потом одевался. Я удивленно смотрел и слушал. Ничего не понял. Но на улице почувствовал бешеный прилив гордости: говорил с самим Шкловским. Хотя говорил-то он. И, кажется, ехидно. Потом мы жили в Шереметьеве, зимой и летом, на дачах «Литгазеты». Виделись ежедневно, привыкли друг к другу. А время отсчитывало свой счет. Если поставить составы с цистернами кофе, которые Серафима Густавовна сварила мне за эти годы, в один ряд, я думаю, они опояшут земной шар по экватору. Моя дочь училась ходить по рассыпанным рукописям Шкловского, а теперь он говорит ей «вы» — она студентка... Я люблю его, как отца. И многим ему обязан. Каждая книга Шкловского прочитывается мною в рукописи. Он учит меня быть недовольным собою. Хронически. Я серьезно считаю Шкловского гением. «Обыкновенным гением», как сказал не то о нем Довженко, не то он о Довженко.

О других членах делегации говорить не буду, потому что знаю их не лично, не близко — официально.

Делегация — это одно общее лицо. Стараемся, чтобы оно было серьезным. Но заразительный хохот Луконина — словно камень в озеро, — дрогнуло, заколыхалось, пошло кругами веселье...

### *25 августа*

Говорил с Лойзе Кракаром, о котором столько слышал в Словении. Странная вещь сила внушения. В его бледно-голубых глазах ловил всполохи огней Дахау, мгновения неоправданного страха, но нервный тик не внушение... В шумной суете вестибюля охридского отеля «Палас» Кракар казался веселым и непринужденным; но когда постепенно люди разъезжались, он становился возбужденно-нервным, как мне казалось — прислушивался к себе, к тому в себе, кто жил в нем с тех далеких лет войны...

Я часто находил его в баре, где всегда кто-нибудь громко говорил, где слышался смех, а если и в баре не было звуков человеческой речи, то по ту сторону стойки всегда сидела барменша, звякала посудой, вздыхала или раздавался паровозный шум кофеварки.

Лойзе долго тянул какой-то аперитив через соломинку и не моргая смотрел на блестящую поверхность кофейного аппарата своими большими выпуклыми глазами.

...Охридское озеро, на берегу которого расположен наш отель, розовеет в широких окнах.

Мимо него нужно долго ехать, чтобы, проехав Охрид, миновать потом Стругу и, повернув к северу, по самой кромке границы с Албанией подняться к Бигорскому монастырю...

Два года назад, осенью, я был там с Гане Тодоровским, македонским поэтом. И сейчас мысленно повторяю этот путь. Тогда мы оставили машину на шоссе и стали подниматься по крутой дороге через густой лес высоко в гору. Бигорский монастырь — камень и темные от времени деревянные галереи — встретил нас тишиной и пением птиц. На широкой открытой галерее поразила цепочка свечей, пламя которых трепетало почти бесцветной дрожью. Свечи были вставлены в оплывшие стеарином подсвечники и стояли печальной шеренгой перед прекрасными старыми фресками, которыми была покрыта стена. Меня поразила эта открытость их. Глаза святых, черные, внимательные, смотрели прямо в зелень, окружающую галерею. Да, была крыша из легкой, бесцветной от дождей и солнца дранки. Но воздух — холодный зимою, сухой летом? Присмотревшись к краскам фресок, убедился в том, что не только погода оставила на них разрушительные следы... Увы, то тут, то там варварская рука человека лихо расписалась на складках одежды, на фоне, а то и на самих лицах святых.

Я осмотрелся и увидел трех женщин в скромной черной одежде, тихо молившихся перед изображением Христа. Казалось, они не обращают внимания на карандашные росчерки, на фиолетовые цифры дат, когда некий Джуро, Перо и Гочо посетили эти святые места... Гане, встретившись с моим взглядом, покачал головой и вздохнул. Он повел меня по временным мосткам наверх — посмотреть трапезную. Там был ремонт пола и сквозь редкие балки виднелась освещенная солнцем площадка первого этажа. В трапезной стояла застарелая сырость, было прохладно. Окна оказались забитыми досками, и резной потолок не виден. Осторожно ступая по неверному настилу, мы повернули назад. На ярко освещенной полосе нижней площадки, над которой трапезная нависала широким карнизом, я увидел тень женщины, а потом и ее самое. Это была одна из тех, что молились. Она стояла у стены. Перед нею стоял высокий монах. Потом они про-

пали из виду, скрипели ступени, мы спустились во двор, горячий, выбитый тысячью ног. Гане увидел какого-то знакомого фотографа, замахал ему, пошел к галерее. Фотограф снимал немцев-туристов. Женщину в брючках и двух толстяков в шортах. Они стояли на галерее и смеялись. Я присел на большой, нагретый камень у стены и, чтобы голова была в тени, тесно прижался к сухим, пахнущим солнцем доскам.

Внезапно я услышал тихий плач за стеной, потом слова женщины:

— Сколько уже лет прошло... Терпи.

— Терпи,— как эхо, отозвался густой мужской бас.

— Когда уходил, говорил «терпи», и теперь «терпи»...

— Терпи,— сказал мужчина еще тише и безнадежнее.

— Не могу больше.— Женщина опять заплакала.

Я встал и пошел навстречу Гане, который, как всегда весело, что-то говорил фотографу.

— Его, его сними классно! — закричал Гане, увидев меня.

Я отрицательно замахал руками.

— Я классно сниму,— обиженно сказал фотограф, все еще поводя видеоискателем.— Ну, не хочет он, что делать!

Мы спускались почти бегом, говорить было трудно, но я спросил Гане, кто живет теперь в Бигорском монастыре.

— Монахи, кто же.

— Только мужчины?

— Да, конечно.

— А кто они, откуда?

— Крестьяне здешние, из околии. Есть и студенты. Бегут с экзаменов прямо...

— Я — серьезно.

— А я как? Работы тут не много.

— А с верой как?

— С верой так. Как везде. Нету веры. Один камуфляж.

Мы остановились на открытой поляне. Внизу змеилась серпантином дорога, повторяла ее река. На дороге появилась яркая процессия — верховой, брички, фургон.

— Цыгане,— подмигнул Гане.— Вот веселый народ. Века проходят, а они те же.

Мне показалось, что говорил он с завистью.

Мы еще немного постояли, любуясь пестрой картиной. Цыгане рассыпались по излучине. Ставили табор. Слышался гортанный женский смех, крики мальчишек. Мужчина в яркой, ослепительной на свету заходящего солнца рубашке алого цвета вел поить красивого коня. Конь рвался. Краденый, подумал я, не привык к нему. Потянуло дымом. Внизу разводили костры.

— Ты слышал про богумилов? — спросил Гане.

— Да. А что?

— Вот это была вера. Тогда люди на смерть шли за нее. А теперь от жизни прячутся. Пойдем, однако, вниз. Пока цыганята фары не сняли. Они теперь опытные.

Мы быстрыми шагами продолжали спуск. За поворотом нагнали женщину в черном. Она шла медленно, несла в руках мешочек. Второй рукой прикрывала лицо, когда мы обогнали ее.

— А можно такое представить, чтоб, скажем, муж от жены в монастырь ушел или парень от невесты...

Гане посмотрел на меня лукаво и ничего не сказал.

— ...потом прижился, годы идут, его, скажем, навещают тут, как в больнице, передачи носят,— я и сам не заметил, как стал говорить об этом вымышленном монахе неприязненно,— своего рода новая форма санатория.

Показалась наша машина. Возле нее поодаль стоял живописный цыганенок, засунув руки в карманы. Карманы были глубокие, и казалось, что у мальчишки вообще нет рук.

— Я вот тебе! — крикнул ему Гане добродушно, но цыганенок не стал испытывать судьбу и, повернувшись на босых пятках, рванул с места к табору.

Когда мы проезжали табор, опередившая было нас женщина в черном растерянно стояла в самом центре жестикулирующих цыганок — они, видно, предлагали ей погадать. Женщина держала за спиной мешочек, вид у нее был затравленный.

Гане молча вертел баранку. Потом он сказал:

— Знаешь, был в нашей истории момент, когда вся культура держалась на монастырях. Жития наши были и легендой, и исторической хроникой. А сколько поэзии содержали они! Был такой жанр «похвал». Особенно возродился он после Косовской битвы. Монахиня Ефимия,

вдова деспота Углеши, одного из тех, кто первым поднял своих людей против турок и пал на реке Марице, была едва ли не первая женщина-писательница... Она сложила хвалу князю Лазарю, вышила тексты изящнейшей вязью из позолоченной серебряной нити на красном шелковом покрове его гроба... Это что! Женщина... А вот деспот Стефан Лазаревич в перерыве между тем, как рубил головы, писал «Слово о любви». Нежнейшее произведение, скажу я тебе, настоящая поэзия. Говорят, посвящено оно не то сестре, выданной за турецкого султана Баязида, не то невесте своей, гречанке, что ждала его из походов годами...

— А что тут удивительного? — сказал я. — Головы рубить никогда не было для людей главным занятием. Побочным. А любить, верить, что тебя любят, ждут, знать, что жизнь быстротечна и вся эта рубка голов только бред какой-то, кем-то навязанный, дело вынужденное, ни к чему не ведущее... Это-то каждый понимал и понимает...

— Ну-ну-ну-ну! Поехал. Сразу выводы. Может, он и не писал бы о любви, если б головы не рубил. Может быть, и не ждал встречи с сестрой или невестой-гречанкой, если б не воевал за тридевять земель. Пока не нагрешешь, в монастырь не хочется...

— Но потерять годы и годы!.. Рубить ли головы, сидеть ли, затаившись в спячке, в монастыре... Или в концлагере... Вообще не жить жизнью, достойной человека, страшно. Страшно, если сам знаешь, что не живешь. Если же смысл скрыт от тебя — легче, разумеется. Тогда не дай бог опомниться!

— А знаешь, ведь Стефан Лазаревич удивительные вещи написал для своего, пятнадцатого века, почти неправдоподобные. Он обращается к юношам и девушкам — слышишь? К будущему! Он пишет там, что вражду и несогласие победит любовь. И заканчивает прямо как ваш Симонов: жди меня, мол, только очень жди...

Гане подмаргивает мне, и нельзя понять, смеется ли он, шутит или действительно поражается такому анахронизму.

Дорога идет вдоль границы с Албанией. Слева горы и горы. То тут, то там искусственные прорубки леса — граница. Справа вьется то рыжий от глины Вардар, перекатывающий камни, то озеро, вспыхивающее голубым огнем, то надвигаются рыжие скалы, затеняя дорогу, то

снова отодвигаются и открывается далекий вид на просторную долину. Пейзаж в общем скуповат. Напоминает Дагестан.

Для полного сходства есть и покинутые аулы. Каменные домики лепятся наподобие саклей.

— Албанские поселения, — отвечает на мой немой вопрос Гане. — Переселяются в долины. Неперспективные места здесь. Плохо с землей. Вот за той горой — Марфовское озеро. Форель во-от такая. Остановимся. Озеро это и ГЭС, которая строится здесь, дали работу многим. Тут вокруг — увидишь — все строится, горы перекопали. Тут климат хороший и экономические перспективы блестящие.

Солнце почти скрылось за албанскими горами, и только рыжевато-сиреневая дымка в виде ореола окрасила скалы. Гане прибавляет газу и начинает петь старую македонскую песню. На лице у него блуждает улыбка. Песня говорит о любви, о том, что она будет ждать его сколько угодно, что он остается в сердце у нее такой же, такой же, такой же...

Я смотрю на седые от времени камни, валуны, угрюмо темнеющие вдоль дороги, трещины, бегущие по отвесным плитам базальта, слушаю мрачный и вечный в своей неудовлетворенности, недоговоренности шум реки. И кажется, слышу голос женщины в черном платье. Только какой-то смирившийся, с другой интонацией.

...И почему-то вспомнилось это в связи с Лойзе Кракарм.

## *26 августа*

Едем в Стругу. Пестрый, шумный народ наполнил два автобуса. Звучит разнаязыкая речь. Осматриваю соседей. Строго одетые западные немцы, элегантно-небрежные поляки, американский хиппи, длинноволосые худые поэты в шнурованных (как ботинки) рубашонках на голое тело, вылинявших джинсах и сандалетах, из которых торчат неаккуратные пальцы с давно не стриженными ногтями. Они полулежат в безвольных позах, полузакрыв глаза. Руки их покоятся на плечах таких же худых, раскрашенных девиц с бесцветными волосами. Толстый веселый француз, худой канадец, похожий на Кабалевского, хорошенькая румынка, много югославян. Запахи дорогих

духов, разогретого асфальта, какие-то свежие запахи с озера, врывающиеся тугими потоками, отбрасывающими цветные занавески окон.

Оказывается, повернули к охридской бухте. На причале два катера. Едем в Святой Наум. Это старинный монастырь на юго-восточном берегу Охридского озера, в южной сегодня точке югославо-албанской границы. Основал его Наум, проповедник, живший в одно время с такими известными учениками Кирилла и Мефодия, основателями славянской азбуки, как Климент Охридский и Константин Пресвитерский.

Пока поэты с веселым шумом штурмуют катера, смотрю на гору, возвышающуюся с северо-запада над городом. Там видны развалины крепости X века, две круглые башни с отбитым верхом, соединенные плоским покрытием арки и остатки понижающейся к сторонам стены. Башни у ворот крепости напоминают морской бинокль, поставленный на попа.

Я уже был наверху в прошлый приезд и слышал рассказ Гане о истории Охрида — этой колыбели христианства и азбуки нашей. Помню, что Климент основал тут не только монастырь, но и первый литературный центр. Вероятно, он и был автором кириллицы, упростившей глаголицу Кирилла и Мефодия. Помню, как удивился я, увидев «Учительное евангелие» Константина Пресвитера, построенное весьма «формалистически»: первые буквы молитвы, точнее — первые буквы строк, составляют глаголическую азбуку. Этот «Вознесенский» X века был, таким образом, первым стихотворцем в славянской письменности! Ну как было не запомнить несколько строчек, хотя бы:

...разумом своим непросвещенным  
на чужом языке словам внимали...  
..А всякая душа без письменного слова  
познать не может божьего закона...

Внимал я и литургии, которую слушал в храме, но в исполнении хора и симфонического оркестра. Музыка звучала откуда-то из-под задрапированной ниши, а гулкие своды создавали удивительный эффект эхообразного звучания...

Помню, вышел на свет божий и почувствовал себя

словно грешник. Как можно было жить без такой музыки! Долго повозился, но нашел и привез в Москву эту уникальную пластинку. Ставлю ее теперь изредка и закрываю глаза. И снова возникает та чудесная картина: чуть поблескивающие красками фрески в темной глубине храма, яркий проем двери, в которую видна старая олива на белом от солнца дворе...

Оттуда, сверху, стоя у купы олив, видишь всю охридскую округу, черепичные крыши подковообразного Охрида, улочку «фонарей», как назвал я старинную улочку мастеровых, самый старый платан в Македонии, в чьем огромном дупле по вечерам пять-шесть парочек устраивают посиделки, видишь мощную базилику храма Святой Софии, в котором такая акустика, что позавидует любой Карнеги-холл. Недаром в храме любят читать стихи. При модном ныне безголосии певцов и бессмыслии стихов акустика действенное подспорье! Спуск с горы не раз заставит тебя остановиться, очарованного неожиданными ракурсами крутых улочек с типичными балканскими домами-грибками... Здесь любят подчеркивать, что архитектура выдвижного второго этажа (мансарды на балках, нависающие над узким тротуаром) пошла именно из Охрида. Не преминут рассказать и о том, что великий Корбюзье самое идею своего новаторского принципа новой архитектуры нашел здесь, именно здесь, в Охриде, о чем, мол, и написал... Где? Ну, точно не помнят. Но написал где-то.

Мысли мои прерваны сиреной. Катер отправляется. Жарко. Собственно, жарко с одной стороны. С подветренной. На противоположном борту свежий ветер. Вода в озере холодна, как в Севане. В каюте длинный стол и маленький закуток — буфет. Постепенно все перебивали внизу и говорят, что на озере явно потеплело. Снизу доносится македонская песня. Сверху кричат чайки, которые, как торжественный эскорт, провожают нас. На палубе читают друг другу стихи поляки. На капитанском мостике кокетливая блондинка в капитанской фуражке подставила разгоряченное лицо ветру, чайкам, звукам македонской песни, польским рифмам и своим мечтам... Катер идет, зарываясь носом в голубую воду, дрожит от нетерпения...



Настигаем первый катер, который приветствует нас детскими криками. Кто-то даже залез на мачту и смешно висит на ней, демонстрируя предка, от которого мы все и пошли. Некоторое время идем параллельным курсом, но наши крики, видимо, мощнее — постепенно оставляем мы за собою белый шлейф пены и разочарованный гул пассажира отстающего катера...

Мето Йовановский, македонский прозаик, с которым мы очень подружились в прошлый мой приезд сюда, говорит насмешливо:

— Володжья, это как жизнь...

— Это как детство... Вечное детство.— Мне почему-то стыдно за нас всех.— Неестественная инфантильность.

— Володжья,— хохочет Мето,— ты стареешь! Это хорошо, что мы еще можем быть детьми! Дети — хорошо! Завтра все будут другие. Симпозиум! — Мето хлопает меня по спине и ныряет в каюту.

В прошлый приезд мы на двух машинах (я и Гане — в одной, Мето и его жена Мира — в другой) проехали почти всю Македонию. Я очень благодарен им. Маленькая по нашим, русским масштабам Македония предстала вся — наглядно и выразительно.

Мы выехали тогда из Скопле после обеда, миновали Титов Велес, останавливались в Прилепе и Битоле. В Прилепе мы гуляли с Мирой, а Мето с Гане спорили с местным руководством — отспорили еще один местный журнал для молодых писателей. Это была важная миссия для моих друзей, тогда, в том году, македонского литературного начальства. В Югославии масса журналов на хозрасчете. Проблемы «площади» как таковой не существует. Не так много и писателей. Но почти каждый уважающий себя город хочет иметь свой орган печати. И первую субсидию дает местная скупщина. Дальше уже дело катится по собственным рельсам.

Прилеп в темноте похож на гигантский склад табака под открытым небом. Было начало октября, табак давно собрали и просушили, но он еще дурил голову своим настоявшимся ароматом. Даже собаки ходили, опустив хвосты, и поминутно натыкались на таких же очумелых кошек. Табак был всюду — на стенах домов, на заборах, на афишных тумбах, на летних уборных, на крышах, на

балконах, на подоконниках, на проводах, на спине трубно плачущего ослика и спине его поводыря... Даже луна, проглянувшая из туч, оказалась в самом центре наполовину упакованных тюков табака.

Мы ходили с Мирой по темным улочкам и говорили о храбре Марко, герое эпоса (сербского, болгарского или македонского — понять теперь я не решался, все боролся за Марко). Главное — и это уже было бесспорно — Марко жил здесь, в Прилепе. Это была его столица. Прилеп при сербском царе Стефане Душане был центром феодальных владений Вукашина, а потом и сына его, королевича Марко. Меня всегда удивляло, почему именно королевич Марко стал главным героем южнославянского эпоса. Ведь он служил туркам, воевал как наемник с их врагами, даже смерть принял в усмирительном походе против валашского воеводы Мирчи в 1395 году... Мира подошла к этому вопросу чисто по-женски:

— Он был храбрым.

— Может, потому, что дерзость Вукашина и Углеши стоила македонцам потери самостоятельности, а Марко сохранил и людей, уберег их от угона в рабство, и скот, и жилища, и, платя дань османам, став их вассалом, исподволь готовил Македонию к самостоятельности?.. Не так ли действовал и сербский князь Милош Обренович? Или русский Иван Калита? Такие деятели остаются в истории, но как быть с этикой? С народным мнением? Кажется бы, народу для его сказок нужна более красота, нежели скучная и расчетливая правда выгоды, а?

— Я сербка, не македонка. Обренович и жил в другое время, не эпическое. А Марко еще варвар. Легенда любит храбрых. А история надеется на другое — на государственную пользу... Так, наверное?

— Ну, насчет пользы государственной я бы тоже еще подумал и подумал. Да, Обренович расширял Сербию. Но какой ценой? Он лавировал в обстановке двоевластия, когда турки уже чувствовали свою слабость, он отторговывал одну нахию за другой, где лестью перед султаном, где оговором... Кстати, не так уж он, видимо, и пекся о Сербии, если не забывал своих родственников — им-то и отдавалась каждая нахия, отчужденная у турок... А вспомните, как он волновался, что султанский фирман о его княжеском достоинстве может запоздать к моменту полного ухода турок. Значит, от султана хотел он получить

звание верховного владетеля? Значит, не очень-то надеялся на признание его заслуг соотечественниками? А сколько крови он пролил своих же сербов, сколько денег пошло на подкуп, когда речь шла о возвышении личном... Это тоже для пользы национального престижа? Эх, не нравится мне эта историческая забывчивость!..

— История должна все помнить. Но народная легенда поправляет историю. Так всегда было.

— Но должно ли быть так? Вот в чем дело. Если Милош Обренович подавляет восстание воевод Симе Марковича и Павле Цукича в то время, когда Сербия уже кипит и готова к изгнанию турок, то это не может пройти незамеченным для народа, когда он отправляет головы воевод турецкому султану— как тут «поправить» историю для легенды? Ее надо просто переписать заново!

— Ну, Обренович, конечно, не самый лучший пример...

— А голова Карагеоргиевича? Он ли уж был опасен туркам? Так ли уж диктовала политическая ситуация этот кровавый и предательский акт? Нет, Обреновичу понадобилась эта голова для запугивания сербов. Чтобы знали, что есть один-единственный бог на сербской земле, он-де помилует, но он и страшен...

— Храбрость и сила,— упрямо повторила Мира,— вот что ценит история.

— Политическая история знает и нравственный момент. И, думаю я, в процессе развития человечества он будет иметь решающее значение.

Мира незаметно зевнула. Я понял, что замучил ее историческими своими соображениями, и поспешил переменить тему разговора:

— А что это за выставка?

В темноте белела фигура из камня, за ней — вторая. Вскоре я рассмотрел и еще несколько. Они стояли в шахматном порядке в небольшом скверике, между деревьями.

— О, это тоже примечательность Прилепа,— живо откликнулась Мира,— Марко Кралевич, потом табак, а еще и мрамор! Прилепский мрамор ценится во всем мире. Сюда ежегодно приезжают скульпторы, известные художники, а так как материал их тяжелый и его не просто увезти, многие работают в Прилепе, а потом оставляют в дар городу свои работы. Так родился этот музей на открытом воздухе. Я точно не знаю фамилий этих мастеров, но по-

верьте мне — это очень хорошие скульпторы. Жаль, что темно... Это — фигура женщины.

Я близко, почти вплотную, подошел к фигуре и даже погладил холодную поверхность, которая напоминала скорее винт с крупной резьбой, ввинчивающийся в темное, холодное небо. Я обошел Женщину вокруг. Иногда мне казалось, что я улавливаю текучесть тела, изогнутого вокруг бедер, какую-то странную напряженность и порыв...

— А это... нет, вон там, — сказала Мира, указывая налево, — более реалистично. Это один американец... То, что мы видели, — работа македонского молодого мастера... А там, дальше, израильский скульптор...

— Володжья-я!

Это был голос Мето. И гудок. Мы повернули к стоянке машин. Так я и недорассмотрел выставки скульптур. Еще раз оглянулся на фигуру македонца. Черт возьми, или это свойство фантазии — теперь, издали, я отчетливо видел женское тело. Одна рука под белым балахоном поднята кверху, гибкая спина прогнута, — кажется, она или готовится взлететь, или падает навзничь...

Мы неслись с большой скоростью, вырывая фарами тюки табака, табачные стены и табачные реки. В сплошной тьме горы то надвигались, то отступали куда-то, машина проваливалась и долго падала вниз, потом с надсадным воем начинала карабкаться в небо. Временами шумела река. Потом пошел дождь, и Гане чуть-чуть сбавил газ. Мы ехали первыми, и когда Мето нагонял нас, он мигал светом. Тогда казалось, что мы обтекаемы блестящими струями.

Переезжая мост через реку Црну, видели следы аварии. Остановились было, но милиционер показал рукой, что наша помощь не понадобится. Мы медленнее поехали дальше по скользкой каменистой дороге.

Гане опять затянул песню. Свойство македонской песни никогда не кончаться удачно гармонировало с бесконечной дорогой среди тьмы и дождя. Иногда мне казалось, что мы едем уже годы. Спать не хотелось, да и нельзя было. Я боялся, что Гане, который время от времени говорил со мной, может заснуть. И я пытался подпевать ему. Получалось что-то вроде двухголосия. Мне это понравилось, но Гане сказал, что это профанация, а не македонская песня, и потому я замолчал.

А слова этой песни и ее музыкальный повтор мне напомнили Болгарию, такую же дождливую ночь, горы, затерянную в ночи накуренную комнату и поющего Георгия Джагарова. Он пел артистически и с чувством. Я никогда не слышал человека, настолько артистичного в пении. Кажется, он перерождался, и тот, забытый им самим человек, юноша, только что избитый фашистами и брошенный на каменный пол тюрьмы, горячий и романтичный юноша, тот Георгий, которого я помнил по Литинституту, красивый и талантливый наш Георгий, писавший стихи смелые и певучие одновременно, снова рождался на моих глазах... Днем он был иным. Но я говорю о ночном Георгии, о том, какого я любил и люблю теперь.

...Так за разговором доехали до Отешева. Была полночь. Дождь прошел. Воды Преспанского озера чуть светились. Подъехал и Мето, вылез, потянулся. Зябко куталась в его плащ Мира. Зевала. Мы остановились у небольшого современного отеля. Кажется, его название было «Балкан». Он был пуст. Не сразу достучались. Зажегся свет, вышел кто-то в белом. Оказалось, служащий, повел в ресторан — пустынный зал с большими окнами до потолка. За ними темнело озеро. Пока готовили комнаты, гостеприимные хозяева отеля выставили нам ракии, бутыль вина и пошли куда-то с Мето. Их смех слышался на берегу.

Я впервые рассмотрел Миру. До этого мы и познакомились, и говорили в темноте. Маленькая, хрупкая женщина, скромно и просто одетая, держалась дружески и естественно. Тряхнула светлыми, короткой стрижки волосами и засмеялась:

— Что, мятые мы?

Она хорошо говорит по-русски. И сказала не «мятая я», как сказала бы другая женщина, а «мы»... Отметил про себя. Понравилось. Мира совсем не боится невыгодного для себя освещения. Редкое качество у женщины, даже умной. Она потягивает белое вино и время от времени откровенно дремлет. Гане блаженно откинулся, полузакрыв покрасневшие глаза, и выстукивает по столу ритмы македонской песни.

Появляется Мето, сияющий и загадочно улыбающийся:

— Володжья! Во-ло-джья!

Он оборачивается к не закрытой за собой двери на

террасу и щелкает пальцами над головой. Входит официант с громадным блюдом. Метод хохочет задорно:

— Гане, Мира, Володжья, вы не поверите — рыба только что из озера! Ловили при мне!

— При тебе или ты сам ловил? — спрашивает Мира насмешливо.

— Володжья, не слушай ее! Рыба еще не проснулась...

— Но мы засыпаем, — говорит Мира, — хватит рассказов, давайте вашу рыбу...

Спать ложимся в холодных больших комнатах. Чисто, пустынно, тихо. Над озером дымится туман. Светает.

Кажется, я и не спал, забылся на минуту. Стук в дверь. Пора.

Озеро под солнцем. В мареве горы. Там Греция. А там Албания. А граница? По воде, объясняют мне. Низкий зеленый берег, пляжи, мелкая галька. Ряд отелей. Небольших и нешикарных, демократических.

Едем по красивой дороге, быстро набирающей высоту. Озеро слева. Пропало. Серпантин. Утренние запахи леса. Поют птицы. Дорога все забирает вверх. Потом свежеет. Альпийский луг. Перевал. Выходим. Вид открывается в обе стороны — на западе Охридское озеро, на востоке — Преспанское. Скалы, скалы, за ними в два яруса горы. Теперь едем вниз, торопимся — облако двинулось наперерез, не хотим попасть в его туман. Дорога плохая, то и дело осыпи. Гудим долго на поворотах. Эхо гуляет в горах. Встречных машин нет.

Отдыхали в роскошной вилле. «Горица». Около десятка километров от Охрида. Оттуда делали наезды в Охрид и Стругу. Тогда я и осмотрел старинные храмы в окрестностях, был на ярмарке, где Гане азартно торговался с крестьянином, прежде чем купить копеечные сливы, орехи, айву и еще какие-то сладости. Оба кричали, смеялись, делали вид, что разойдутся, но каждый знал, что просто так нужно, что без этого южный базар перестанет быть базаром. Там Гане подарил мне дудку, длинный чубук, а Мира — деревянное блюдо, наполненное орехами. Базар сверкал на солнце медью, латуной, посеребренными уздечками, переливался яркими красками ковров, распятых на рамах, пахло пряностями, кожей, гнилыми смоквами, дегтем, свежим сыром, козьей шерстью и еще тысячами веселых и резких запахов... Кто-то стучал на бубне, кто-то жарил рыбу на противне, кто-то про-

давал ослика и плакал, а покупатель утешал его, хлопая по плечу... Мне напекло голову, я трижды терял своих и снова находил. Мира покупала что-то всерьез, Метод перемазался ягодами и весь был увешан не нужными никому покупками, а Гане говорил пословицами с какой-то бабой в яркой одежде, а та отвечала ему, видимо, чем-то похлеще, потому что он заливался хохотом, и бил себя по бокам при каждом ее ответе... Хороший был день!

А потом мы сидели с Гане на горе, возле развалин крепости, где пахло мятой и полынью, он рассказывал мне о Прличеве, основоположнике новой македонской поэзии, читал наизусть его стихи. С горы было видно, как маленький катерок отчалил от охридской пристани.

— Поехали к Святому Науму, — сказал Гане. — Завтра и мы двинемся туда. Только на машинах, хочешь?

И мы назавтра поехали туда.

...А теперь вот плыву на катере. С поэтами.

*27 августа*

Катер выключил двигатель и, сильно покачиваясь, стал подходить боком к пристани. Зеленые купы деревьев нависли над прозрачной водой, в которой отражался купол маленькой церкви. Она стояла на холме, а прямо за церковью, в ста метрах, была Албания. Меня поразила идиллическая атмосфера на государственной границе. Албанские солдаты закусывали на склоне горы, сидя на траве, а когда я стал их фотографировать, помахали мне руками. Винтовки лежали рядом с ними. Албанский сторожевой катер «гулял» совсем рядом с нашим прогулочным. Мне объяснили, что было далеко не всегда так. Но теперь, слава богу, все уладилось, страсти улеглись. Ах, если бы этого рода страсти вообще не начинались!..

Я вспомнил двух худеньких, большеглазых албанцев — поэтов, которые учились со мной после войны в Литературном институте имени Горького. Одного звали Лазарь Силичи, другого — Фатьмир Дзята. Может быть, один из них и кричит мне что-то? Вряд ли. Высоко, говорят, вознесла их судьба... И мне захотелось представить их ночью, за дружеским вином, поющими свою родную песню, которую им пела мать. Наверное, они тоже меняются в это время суток, когда, подперев голову, вслушиваются в музыку народной души... Или уже даже не поют, чтобы не бередить себя? А карабкаются еще выше по

своей крутой лестнице успеха, самой крутой лестнице на земле, даже для албанцев...

Поэты резвыми толпами рассыпались по живописным полянам, где предусмотрительно были расставлены столики. Играл оркестр. Контрабас, кларнет, турецкий барабан. Все в национальных костюмах. Место здесь райское, конечно, что и говорить. Пруды, образованные впадающим в Охридское озеро Дримом (река эта на наших картах называется почему-то Дрином), окаймлены плакучими ивами, кустами сирени и жасмина, густыми зарослями дрока. Тут же платаны, дубы, орех. Причудливые тени, яркость зелени, белые лебеди в пруду, синь Охридского озера, желтый песок береговой полосы, тишина, деревья, подходящие к самой воде озера, воздух, напоенный запахом свежих трав, кувшинки на прудах и на возвышении старинный храм святого Наума.

Огромные бочки с деревенским вином расставлены по полянам. Специально к Стружским вечерам выпущено марочное вино рубинового цвета «Тоска по югу». Так называлась знаменитая поэма македонского классика Прличева.

Симон Дракул, полный брюнет с эффектной бородкой и усами, расплескивает свое внимание на всех гостей, гордо простирая руки к обильной трапезе.

Вездесущие фотокорреспонденты, не теряя времени, щелкают аппаратами, а к концу затянувшегося обеда устилают траву свежими снимками. Десять динаров — и ты хозяин полюбившейся тебе картины...

Я тихо выбираюсь из круга коло (Гане уже организовал танец, в котором счастливым прообразом будущего мирового согласия босиком по траве выплывают обнявшись канадец, француженка, англичанин, голландский герметист, хорват, босниец и македонка, американский коммунист и сербский сюрреалист, венгр из Воеводины и польская переводчица, немец из ФРГ и ирландский сторонник свободного стиха, красноносый словак и заместитель редактора советского журнала «Дружба народов»...). Я выбираюсь из круга и иду к храму.

Во дворике на траве лежат и сидят люди. Странно, но здесь в основном молодежь. Они слушают Шкловского, и доносящиеся звуки коло их не отвлекают. Хорошенькая журналисточка записывает за Шкловским каждое слово, изредка переспрашивая. «О, о...» — только и говорит она.



«Снимите же галстук»,— строго говорит мне Серафима Густавовна. И верно, печет здорово.

По каменному забору, важно распутив радужного цвета хвост, ходит павлин.

Виктор Борисович зачарованно смотрит на него, склонив голову. Хорошенькая интервьюерша терпеливо ждет.

Потом павлин подходит к старику, продающему иконки у входа в храм, и с чувством достоинства садится рядом с ним.

Шкловский, проводив павлина восхищенным взглядом, продолжает рассказ о структуре художественного произведения.

Я бреду на берег озера. Вода холодная. Но мне приходится в голову, что надо искупаться. Солнце клонится к закату. Я ощущаю озноб, но плыву. За мной в зарослях взлетают пробки и клики. Снова звучит оркестр. Вода прозрачна. Подо мною косячком, мерцая плавничками, проносятся маленькие рыбки. Дно полосатое, песчаное, быстро уходит вглубь. Поворачиваю к берегу. Бегу, чтобы согреться. Первый, на кого натыкаюсь на берегу,— Метод. Он протягивает мне бутылку.

— Ты крещеный, Володжья? — спрашивает он. — Охридское озеро — как ваш Днепр. Теперь ты крещеный македонец... Познакомься с этим вином, и пойдем к столу...

У стола я нахожу Луконина, Максима Танка и Любчо Стойменского. Стойменский — переводчик поэзии. Он уводит меня в сторону и начинает долгое объяснение: я обещал ему привезти книги Ахмадулиной и Тарковского, где же они? Объясняю, что книги хороших поэтов найти невозможно, что и авторы их не имеют. Любчо печально кивает головой.

— Мне очень нравится Марцинкявичюс. Он такой скромный. Такой интеллигентный.

— Он прекрасный поэт, — говорю я.

— Знаю. Чувствую, — улыбается Любчо.

— Кстати, где он? — спохватываюсь я.

Юстинас всегда сдержан, смущенно улыбается, мало пьет, еще меньше говорит, всегда в тени. Я потерял его из виду. Ищем его долго и находим на берегу озера. Он сидит и смотрит на закат.

— Ты что такой грустный? — спрашиваю я. — О доме думаешь?

Юстинас пожимает плечом и виновато улыбается. Я знаю Юстинаса. Он и в Москве на второй день начинает грустить. Подсаживаюсь к нему. Будет ли он выступать на симпозиуме? Марцинкявичюс в ужасе: неужели и ему надо говорить? Мы с Любчо смеемся — настолько по-детски он пугается. Нет, нет, избави бог, говорить он не умеет, а стихи читать на мосту придется. Луконин сказал, что нужно. Любчо рассказывает ему, как проходят эти вечера на мосту. Огни на реке, факелы, быть может, трибуна и много людей на берегах реки, усилители радио, праздничное настроение, флаги...

— А может, можно мне не читать? — Юстинас с мольбой смотрит на меня.

Любчо говорит, что в прошлом году утонули два молодых поэта, иностранцы. Сели на байдарку, и в общей суматохе никто не заметил, как лодка перевернулась, слышали крики поздно, они не умели плавать, а течение там сильное, камни... Река ведь там вытекает из озера, а не впадает... Да, да, такой феномен. Черный Дрим. Здесь в Охридское озеро впадает Малый Дрим, а из озера там, в Струге, вырывается Черный, течет на север, сворачивает к западу, в Албании сливается с Белым Дримом, и уже большая река, просто Дрим, впадает в Скадарское озеро, на той стороне Албании, где граница с Черногорией.

Юстинас слушает внимательно.

— На байдарку я не сяду, — говорит он, — но читать стихи на такую аудиторию не умею. Вот в чем дело.

И он снова смотрит на меня с надеждой, как будто я могу отменить его выступление.

*28 августа*

Вот и говорите потом, что по закону рассеивания два артопадания не бывают в одну точку...

Только позавчера говорили мы с Юстинасом о роковом этом месте — Мостах. Мосты — во множественном числе — название, собственно, одного моста, дугообразного, каменного, переброшенного через устье (исток — так будет точнее) реки Черный Дрим. А то, что случилось на моих глазах недавно, каких-нибудь три часа тому назад, до сих пор у меня перед глазами...

Вчера мы сидели с Юстинасом рядом на симпозиуме. Он был спокоен, так как выступать ему не пришлось. Го-

ворили Шкловский, Луконин и я. Юстинас советовался, что ему лучше читать на мосту, остановился на коротком отрывке и почти успокоился.

А сегодня в темноте подъехали мы к Струге и увидели огромные толпы людей на обоих берегах реки. Многие прожекторы освещали флаги пятнадцати государств, участников праздника поэзии, шарили по нарядной толпе, на мосту соорудили трибуну, приехало телевидение из Скопле, в вечернем небе рвались ракеты с фейерверком, цветные всполохи то и дело блестели на черной с белыми гребнями воде реки, сновали опять юркие байдарки, гремела музыка.

Мы протолкались к трибуне и увидели, что ряд кресел для гостей пустует. Я хотел сесть, так как после купания в озере колени мои ломило, но Юстинас строго сказал мне, что это не совсем удобно, ведь есть женщины... Я переминался с ноги на ногу в ожидании, пока начнется церемония, Юстинаса позовут на трибуну и можно будет куда-нибудь присесть, не испытывая его европейское воспитание. В это время меня окликнул Гане. Он стоял у борта моста. «Извини», — сказал я и оставил друга. Гане спросил меня, не составлю ли я ему компанию... Больше он не успел ничего сказать. Я услышал шум, крики женщин и, резко обернувшись, увидел в слепящем потоке света прожекторов вскинутую морду коня, оскаленные его зубы в кровавой пене, могучие копыта, занесенные над толпой, повалившейся, подобно траве под ветром, стоны, грохот телеги, тела под колесами, волочащиеся по мосту, кровь на камнях... Все это продолжалось секунду. Гане метнулся к коню и схватил его за узды. Конь дрожал, рвал постромки и пытался встать на дыбы. Я и еще кто-то из мужчин закрыли коню глаза рубашкой, он успокоился, но его сильная дрожь трясла телегу. Пострадали три женщины. Их окружили, подняли, толпа мигом сомкнулась, задние стали напирать на передних, все куда-то подались, смешались и только потом, в темноте, сразу наступившей после запоздалого решения выключить прожектор, ослепивший коня, стали делиться возбужденными впечатлениями... Я увидел, как телегу мигом оттащили с моста, как увели сразу присмирившее животное, тяжело дышащее мокрыми боками и высоко закидывавшее замотанную тряпьем голову...

Меня оттеснила толпа на другой конец моста и там

оставила перед сразу возникшей веревкой-ограждением. В темноте, ее вновь прервали потоки света, иллюминация, вспыхнувшая по парапетам реки, фейерверки, взвившиеся над нами,— стихи, зазвучавшие с помоста, на какое-то время властно завладели вниманием публики, и никто уже не обсуждал случившегося, не знал размеров беды, обрушившейся так внезапно, так странно...

И только когда отзвучали последние выступления, когда были розданы призы победителям, зачитано приветствие Пабло Неруде, заочному победителю, и люди стали весело расходиться, я тщетно пытался найти Юстинаса... И в это время я услышал чей-то женский голос:

— Литванца убило...

Я похолодел.

Нет, его не убило, но удар пришелся именно по нему. Первый удар взбесившегося коня, ослепленного светом, вынесшего телегу из темноты, на мост... Удар пришелся дышлом в спину, а при падении Юстинас сломал руку.

И вот мы сидим в нашем номере. Юстинас держит на весу лубок. Он совсем беспомощен и стесняется, когда я ухаживаю за ним. Но я уже знаю и то, чего он пока не знает. Врачи сказали мне, что бояться за почки — не отбиты ли они вовсе. Он должен лежать. Говорить о том, что выяснится позднее, — на месте ли почки, — нельзя. А удерживать его в покое трудно с его вечной вежливой щепетильностью. Приходится идти на все уловки, обманывать его бдительность.

У меня действительно болят суставы после купания в холодном озере, но Юстинас, видя, что я никуда не хожу, оставаясь дома, понимает это как жертву с моей стороны, и мне совсем худо: я вынужден выглядеть в собственных глазах мужчиной благородным во всех отношениях, меня это и смущает, и раздражает. Увы... добрый и благодарный взгляд Юстинаса говорит мне: «Знаю, знаю, верный друг, ты лишил себя всего, заперся со мною в четырех стенах, ты ничего не увидишь в Югославии, а ты поехал за материалами к книге... О, как я виню себя, что стал причиной твоего самопожертвования!..» Или что-то в подобном роде.

Да и в самом деле, как бы я оставил его? Ну, положим, у меня не разыграл бы ревматизм, неужели я или

кто-то другой на моем месте за границей оставил бы товарища в беде? Кажется, элементарная вещь. Но я впервые понял, как сковывает людей чувство взаимной моральной обязанности. Я понимал, как смущает Юстинаса его беспомощность, как мучится он по ночам, боясь разбудить меня тихим стоном или неловким движением, которое я мог бы истолковать как желание, скажем, закурить. И от этого сознания скованности другого становился сам скованным, боялся проспать или оказаться невнимательным, когда Юстинасу самому приходилось с трудом что-то делать, что я сделал бы и легче и успешнее. Мы продолжали говорить обо всем. Молчали.

И все было и так, как раньше. И не так. Я опасался, например, что долгое молчание может быть истолковано им как усталость. С другой стороны, когда вдруг разговаривался Юстинас,— а было это не так часто,— я ловил себя на мысли, что он томится моим вынужденным заключением и как бы развлекает меня...

Может быть, я и усложнял наши отношения, но мне было бы проще иметь дело с человеком не столь щепетильным и тонким.

Прошло немало времени, а мы нет-нет да и возвращались к тому, что же случилось на мосту. Слухи ходили разные. Одни говорили, что лошадь эта была привязана у корчмы, хозяин зашел на минуту, а животное якобы наелось винных дрожжей, что лежали в передней повозке, или надышалось ими... Кто-то допустил даже мысль, что некий враг македонцев развязал коня умышленно. Что-то частенько стали случаться, мол, происшествия на Стружских вечерах!.. Все эти версии вызывали у нас только улыбку. Обычная случайность.

Но странно, что сам Юстинас, покачивая головой, прочитал мне свои стихи о лошади. Писал он когда-то что-то подобное: «Лошадь, иди ко мне!» Вот и дозволялся...

*29 августа*

Утром наши товарищи уехали по республике. Нам надо торопиться в Скопле. Там хорошие врачи. И, может быть, посоветуют вообще вылететь в Москву. У Юстинаса держится температура и не проходит боль в пояснице.

До Скопле практически надо пересечь всю Македонию — с юга на север. Как избежать тряски? Выход найден самый странный — гоночная машина. У нее, говорят,

сильные рессоры. А места? Ну, правда, не роскошь для троих два места. Как же мы досдем? Досдем!

У подъезда отеля появился ярко-желтый «фиат-спорт». Этакая элегантная сигара. Водитель — местный журналист, веселый парень, вечно подмигивающий, «типичный македонец», как мне его отрекомендовали. Это уже интересно.

Юстинас усаживается в кресле рядом с водителем, спинку кресла мы откидываем до предела. Водитель садится на свое место. Я растерянно смотрю на так называемое заднее место — узкую и плоскую щель между откинутой спинкой сиденья Юстинаса и сужающимся верхом «фиата-спорт». Если б верх был только сужающимся, но он еще и снижающийся. Правильно говорят, что безнадежных положений не бывает. Оказывается, я влез в эту щель. Рванули с места. Но в Охриде водитель подмигнул нам: «Одмор!» Одмор — значит отдых. Однако о каком отдыхе он сказал нам? Прошло от силы пятнадцать минут, как мы выехали из отеля. Здесь, где мы остановились, тоже отель. Юстинас морщится, но улыбается.

— Ничего. Неудобно высказывать неудовольствие. Это и так любезность.

Проходит полчаса. Я ругаю себя, что хотя бы не вышел размяться. Уже более сорока минут я представляю из себя сложенный перочинный ножик.

Водитель выходит, напевая. Зато теперь быстро! Таков смысл его слов.

Машина действительно гоночная. Рев ишаков, которых мы обгоняем, сливается в подобие сирены. Тополя, стоящие при дороге, хватаются друг за друга, будто танцуют коло. Шмель, расплющенный ветровым стеклом, на глазах расплывается желтой слезой и улетучивается вовсе. Водитель предлагает Юстинасу сигарету. Тот легкомысленно соглашается и становится свидетелем щекотания нервов: водитель совсем бросает баранку, медленно достает пачку, подняв правую ногу, коленкой подправляет руль, неторопливо достает сигарету, делает левым коленом обратный поворот, прикуривая же от автозажигалки, он вращает рулевое колесо локтем... Мы, словно замороженные, следим за этой процедурой, мне видно в зеркальце, как улыбка растягивает губы Юстинаса. Нет, думаю я, больше он курить не захочет!

Водитель поет, как всякий македонец, поет и стучит по баранке время от времени. Обгоняя другие машины, обязательно высовывается из окна и кричит:

— Гочо! Привет!

Или:

— Сенто! Браво! Привет городу Битолу!

Или:

— Ай-ай, кум, прости, опаздываю!

Высовывается он также при появлении на обочине девушки. Это уж обязательно. После этого он некоторое время едет молча и только покачивает головой, как бы сожалея, что такая красота остается где-то позади...

У какого-то домика он неожиданно затормозил и с криком: «Одмор!» — побежал к нему. Через полчаса появился, подмигнул нам: «Сестричка моя!» — и долго напевал, крутя баранку.

«Одмор» был и в Прилепе. «Майка ми» («Мама моя»), — сказал наш водитель, загнав машину между белеными стенами, увешанными табачными гирляндами, и исчезнув надолго. При этом он открыл капот машины, предварительно извлек оттуда три бутылки и, подмигнув, побежал во дворик. Залаяла собака. Видно, собака не поняла, что имеет дело с сыном своей хозяйки.

Мы вздремнули, и я не знаю, сколько отсутствовал любвеобильный сын, но вышел он из калитки не сразу, долго еще припадал к женщине, шутливо выталкивающей его. Мама его хорошо сохранилась. Выглядела лет на тридцать.

С песнями доехали мы до Скопле. Долетели. Я менял положение ног, как мог. Иногда падал налево при поворотах и тогда больно ушибался о пустые бутылки, прикрытые плащом нашего водителя. Они были свалены рядом со мной и держали меня в своеобразном плену. Юстинас засыпал и просыпался. Молчал, но я чувствовал, как ему худо. У самого въезда в город наш водитель погнался за маленькой машиной, в которой сидели неглиже две француженки и, хохоча, махали ему платочком. Он заносил свой «фиат-спорт» то вправо, то влево от них, тормозил и все-таки прошляпил — «ситроен» францушек улизнул по боковой дороге. Наш друг серьезно расстроился.

— Если бы не ты, — обратился он к Юстинасу, — я бы их догнал. Но когда другу надо в больницу, я еду в боль-

ницу. Да, я еду в больницу, и для меня ничего другого не существует.

С этими словами мы и приехали к отелю «Метрополь». Это на самой вершине горы, над Скопле.

Типичный македонец жал и тряс нам руки. Он был истинно счастлив:

— Прокатились, а? В двенадцать выехали...

— В одиннадцать,— уточнил я.

— ...а в четыре...

— В пять,— внес я поправку.

— В пять — ну да, в пять — уже в Скопле. Какая машина, а? — Он любовно оглаживал желтый верх «фиата-спорт». — Я купил ее случайно... Боже мой, уже пять часов! — спохватился типичный македонец. — Извините, друзья, я должен быть... Опаздываю!

Машина рванулась и стрелой желтого цвета метнулась вниз с горы.

— А ты знаешь, он хороший,— сказал Юстинас. — Его просили остаться в Охриде, у него там дела важные. Боюсь, что он должен сделать обратный рейс. Смелый и добрый человек! Это была его любезность — через всю Македонию доставить нас, которых он вовсе не знал до того, в Скопле. Нет, он очень хороший человек!

— Настоящий, типичный македонец,— резюмировал я.

*29 августа*

Ночью мы долго не спали. Любовались панорамой огней Скопле, говорили о Македонии, ее поэтах. Наши товарищи уехали в монастырь святого Пантелеймона на банкет... Да, теперь в монастыри ездят и для этого. Прекрасная церковь, в пристройках которой и реставрированных приделах разместилась со вкусом отделанная трапезная (она же коммерческий ресторан с марочным монастырским вином и изысканными кушаниями), выставка прикладного искусства македонян — коврами ручной работы, керамикой (византийский характер с местными вариациями), резьбой по дереву. Монастырь и храм стоят на горе, еще выше, чем наш отель.

А внизу Скопле. Сейчас он весь — море огней, а днем вид у македонской столицы не такой презентабельный. Много, ах, как много разрушений! Когда я прошлый раз приехал впервые на вокзал Скопле, мне показалось, что я попал в самый центр бомбардировки. Стены домов зия-



ли пустыми дырами, висела мучительно перскрученная проволока, на башне рухнувшего вокзала часы показывали время первого толчка. Город начинался с длинной полой улицы как-то сразу, как начинаются наши бесконечные Черемушки, Теплые Станы или Чертановы. Даже асфальт на краю новой улицы был резко обрезан. Хотелось остановиться и вытереть ноги о невидимый половик...

Вспомнил, как я тогда приехал. Выходило солнце. На площади перед вокзалом (новым, временным зданием) стояло несколько автомашин. Постепенно они разъехались, встретив своих хозяев. Такси не видно. Я стоял со своим чемоданом посреди пустой площади. На меня смотрел оборванный малый, прислонившийся к тумбе с обрывками афиши. Ветер трепал ее край, изображенная женщина с пистолетом, казалось, то целилась в меня, то раздумывала... Наконец парень, не вынимая рук из карманов, двинулся ко мне, отклеившись от тумбы. По мере того, как он подходил, на лице его происходила удивительная перемена. Казалось, он постепенно всматривался в меня и узнавал — наклонил голову, вытянул шею, улыбнулся, потом нахмурился и помотал головой, как будто все еще не веря своим глазам: такое счастье — он видит не кого-нибудь, а меня лично!.. Не доходя до меня шагов пять, парень вскинул руки и перешел на бег. Он похлопал меня сначала осторожно, как бы проверяя, не сочту ли я это за излишнюю фамильярность, а затем поэнергичнее, схватил мой чемодан. При этом он издавал какие-то нечленораздельные звуки, будто проверяя, на каком языке нам с ним начать обмен приветствиями.

Я покорно подчинился инициативе парня и пошел за ним, из приличия пытаюсь отобрать чемодан, но он перебрасывал его из руки в руку и сиял, глядя на меня с выражением, какое могло означать примерно следующее:

— Скажи-ка, а? Ну, кто бы мог подумать! Вот мы и встретились. Сколько лет, а? Неужели это ты, мой друг?

— Вы из Союза писателей? — наконец догадался я.

Парень радостно закивал головой.

— Я русский. Вы не говорите по-русски?

— О, люблю русский! — закричал парень, бросил чемодан и обнял меня. — Русский и македонец — братья...

Он еще раз стиснул мне плечи и, схватив чемодан, побежал вперед, сияя и оглядываясь. Я едва поспевал за ним.

— Куда мы? В «Скопле»?

— Да, да, русский... Русский и македонец — друг!

— Но мне говорили — «Скопле» в другой стороне?

— Занято, все занято, нет номеров! Другой отель!

Мы шли по каким-то доскам, настанным над развалинами и ямами от фундаментов явно в сторону от главной улицы. Смутное сомнение закрадывалось в мою душу.

— Пойдите, отдохните, — сказал я.

Но парень уже подбегал к невзрачному дому среди развалин, огражденных в косметических целях щитами с рекламой джина и виски. «Инвалидный дом», — с удивлением прочитал я. Парень не дал мне опомниться и нажал на кнопку лифта. Теперь лицо его стало официальным и строгим. Лифт распахнул двери. Мы вошли. Парень нажал на кнопку с цифрой пять.

— Туда мне идти не хочется. Здесь плати. Пятьдесят динаров.

— ?!

— Я нес чемодан. У меня дети. Пятьдесят динаров.

— Значит, вас не прислал Союз писателей, — сказал я, — значит, вы носильщик? — Я судорожно стал рыться в карманах.

В это время лифт остановился.

— Скорее, — прошептал парень.

И нажал на кнопку «вниз». Мы поехали вниз.

— Но... пятьдесят динаров большие деньги, может, пять? — спросил я с надеждой, что ослышался. — У меня всего сто динаров!

Парень нажал на кнопку «стоп». Мы остановились между этажами.

— Пятьдесят динаров, — уже строже сказал парень. — У меня дети.

— У меня тоже дети, — пытался я сострить и нажал на кнопку пятого этажа, на которую сначала ориентировался парень.

— Сорок пять, — отрезал парень, нажимая на кнопку «вниз».

— Бери пятьдесят, — сказал я холодным голосом. — Просто мне обидно, что я поверил тебе, ты нехороший человек! — Я нажал на пятый.

— Я нес чемодан и не возьму денег, пусть тебе будет стыдно. — Лифт тем временем остановился. — У меня дети, — скороговоркой шептал парень. Я протягивал ему

бумажку, он прятал руки за спину. Тут открылся лифт, и парень мгновенно выставил мой чемодан и вырвал у меня деньги.— Спасибо!

Лифт закрылся, и я остался на этаже. Лифт пошел вниз. Я закрыл и вновь открыл глаза. Потом стал смеяться. Все, что только что произошло со мной, представилось мне со стороны очень забавным. Парень оказался великим актером. Я вспоминал всю эту недолгую одноактную пьесу, начиная с выражения лица, с которым незнакомец приближался ко мне на вокзальной площади, и кончая бурей «чувств», которые отразились на его лице в минуту ложного «потрясения» и готовности отказаться от заслуженного гонорара в ту минуту, когда его наметанный глаз понял по моему пунцовому лицу, что мне стыдно наживаться на его бедности... Как психологически верно был рассчитан момент шантажа, давления, ложного отступления, отчаяния, презрения, горького разочарования в людях, наконец, секундная реакция в финале, когда, казалось, доля мгновения отделяла его от того, что я спрятал бы пятидесятидинаровую банкноту обратно!.. И эта великолепная мизансцена в лифте, расчет на эффект замкнутого пространства, от античного театра идущее стремление мастера сцены замкнуть действие в единстве места!.. Какое искусство! Какое знание человеческой природы!..

Позднее Гане сказал, что мне повезло, я действительно встретился с интересной личностью. Но только пусть я не думаю, что он македонец. Он грек. Его в Скопле многие знают. Артист? Тоже мне артист. Мелкий жулик. Работает на иностранцах. С македонцем такие шутки не прошли бы...

Я рассказываю Юстинасу этот эпизод с таким удовольствием, будто не он, македонский грек, брат нашего Остапа Бендера, остался победителем психологической дуэли, а я. Юстинас смеется и морщится. Когда же эта боль отпустит его?

Потом я вспоминаю, как меня водили друзья на гору, которая возвышается над Скопле с противоположной стороны, пытаюсь по огням найти это место.

— Видишь, вон там, правее этого яркого «созвездия», трассы к новому району города, на подъеме справа стоит

дом Гоце Делчева. Кто такой Делчев, ты, конечно, знаешь... Мало? Но хотя о нем много написано и в Югославии, и в Болгарии, обстоятельства его смерти, скажем, да и ряд других моментов неясны и по сей день... Знаем мы только одно: редко рождает земля таких людей, как Гоце,—монолитный характер, чистота помыслов, высокий идеализм, правдивость, любовь к людям...

Я рассказываю о Делчеве.

Родился он в Эгейской Македонии, в местечке Кукуш. Биограф его вспоминает, что отец, отправляя Гоце учиться в Салоники, напутствовал его такими словами: «Слушайся... и не упорствуй, как это с тобой иногда бывает. Трудно добиваться справедливости и бороться с тем, кто обладает большей силой, чем ты». Этот совет, известно, всегда приходится слышать от тех, кто уже так или иначе умудрен опытом. Но, вероятно, к счастью, им, этим советом, обычно пренебрегает молодежь. И хорошо делает. Гоце Делчев уже в гимназии начал собирать друзей-единомышленников, готовить их к борьбе против турок. В шестом, кажется, классе он уезжает в Софию, поступает в военное училище. И этот шаг был обдуман заранее: офицер, знающий военное дело, близкий к армии человек, нужнее будущему восстанию. Здесь он продолжает работу, вовлекая военную молодежь в кружок, распространяет революционную литературу. Его исключили из училища, а через несколько дней арестовали. После тюрьмы Гоце возвращается в Македонию. Устраивается учителем в Штип. Туда, кстати, поехали сегодня наши товарищи... Но служба смотрит в оба. Делчева вскоре переводят в другой район, в Баньску,—это Пиринская Македония. Дело в том, что Делчев был связан с неким Дамянном Груевым, тоже учителем. Местные власти поступили либерально, вроде как рассадили на разные парты. Груева оставили, Делчева перевели подальше. Но и в Баньске Делчев продолжал свою деятельность и был уволен. Тогда он стал ездить по Македонии, организовывал мастерские, где изготовляли бомбы, гранаты, другое оружие, вербовал активистов, которые переправляли оружие из освобожденных к тому времени балканских стран в Македонию. Потом начался трагический период борьбы за власть руководителей разных групп, возглавлявших восстание. Делчев был принципиальным и последовательным борцом, для которого не было других инте-

ресов, кроме народных. С болью и горечью наблюдал он, как великая идея разменивается на мелкие соображения, на подспудные цели и намерения, на борьбу за власть, еще не завоеванную... Он помнил, как еще ребенком наблюдал резню мухаджиров — переселенцев из Боснии, Герцеговины и Болгарии, мусульман — с местными крестьянами. Как началась постройка первой железной дороги Салоники — Скопле. Как то тут, то там македонцы брались за оружие, уходили в горы и как возвращались они в самодельных наручниках, конвоируемые турками. И все эти отдельные, как будто не связанные между собой события с годами проясняли для него суть происходящего...

Вместе с тем славянское население испытывает и сильный национальный гнет османской Турции. В этом клубке противоречий нужно учитывать и массовую пауперизацию крестьян — и славян, и неславян... Именно в эти годы начинается массовая эмиграция в Америку, уход в другие страны. Европейские товары потеснили ремесла. В Охриде, когда-то славившемся кожевенными изделиями, закрылись мастерские. Мастера уходили на отхожий промысел. Кроме того, Македония всегда была краем многих национальностей, — пестрота этническая влекла за собой и разницу традиций, вставала языковым барьером, заставляла подозревать серба, албанца, грека или болгарина, влаха или мухаджира в особых интересах, коварстве, покушении на его, македонца, землю, дом, поле, лавку, его кредит в банке, его место в обществе и т. д.

Я был в доме Гоце Делчева в Скопле. Теперь там музей. Смотритель открыл большие ворота, и мы попали в типичный восточный двор-каре, посреди которого бил фонтанчик. Осветив — был уже вечер — фонарем стену часовенки, смотритель с гордостью показывал филигранную резьбу по дереву на церковные сюжеты. Он несколько раз повторил мне, что эту резьбу восторженно рассматривал Илья Эренбург и он первый заметил, что миниатюрные фигурки святых одеты как македонцы...

Юстинас вспоминает своих литовских мастеров-резчиков, и разговор постепенно переходит на печальный и повсеместный процесс гибели ручных ремесел, художественных промыслов.

Трудно сказать, что пагубнее — полное отмирание искусства примитива или его имитация. Я не сторонник восхищения плодами изошренного ума, который ловко подражает наивному сознанию. Фантазия народного художника — это стихия его представлений о мире в целом, а не только создание этого коника с ушами летучей мыши или этой ложки в форме птицы. Я часто думаю, глядя на вырезанную из дерева ложку, напоминающую гуся, что это — метафора, а не только запечатленное в дереве сходство форм. Ложка «летала» ко рту, как птица... Замечено: когда древний мастер изображал в пещере слона или кабана, он пытался запечатлеть его облик как можно тщательнее; когда же он изображал охотника, ему достаточно было намека, абриса, схемы человека. Почему? Ученые говорят сбивчиво. Намекают на культовые представления древних. Но тут есть противоречие. Известно, что самые древние рисунки дают лишь намек, абрис фигуры. Рука еще не слушается художника. Потом наступает пора удивительного «реализма» и пластики — фигуры оживают. В них начинает угадываться нечто большее, чем сходство. Я был поражен, когда узнал, что слониха, защищающая детенышей хоботом, запечатлена на скале рядом с охотником! Значит, подумал я, человек не только славил меткость своей руки, своего копья, не только торжествовал победу над животным, но видел и запечатлел испуг, инстинкт материнства, позу, которую надо было понять, осмыслить, выделить... Зачем? Не первое ли это пробуждение — стихийное, полуосмысленное — сострадания?..

Специалисты заметили, что вслед за эпохой «реализма» вновь торжествует господство намека, абстракции, но уже на другой, нежели на заре искусства рисунка, основе. Упрощенность идет от намеренности. Стадо оленей нарисовано так, что только головные фигуры детализированы. За ними идут «знаки» оленей — палочки ног, условные обозначения рогов и т. д. Я вспоминаю иконы из болгарской Крпты — хранилища древних икон, собранных из монастырей. Привлекло внимание следующее: идущие волхвы в первом ряду выписаны вплоть до черт лиц, дальнейшие люди намечены как проекция нимбов, сами тела идущих не видны. Очевидно, количество однородных изображений принципиально не интересовало искусство. И не только на самой ранней стадии его. Но я не досказал одной

важной детали: замыкающие олени из рисунка древнего художника вновь... обретают плоть. Вот ведь что интересно! Отсюда я делаю вывод, что между собирательностью как принципом у охотника и автора иконы была разница. Охотник говорил своим рисунком: стадо было большое, я не знаю, сколько их было. Ему было важно количество. И он замыкал рисунок выписанными фигурами. Дело было сделано, цель достигнута. Он создал «модель» стада. «Модель» множества оленей. Богомаза не интересовало количество волхвов. Знаки количества (нимбы) намечают перспективу движения — и только. Он уже знаком с пространственной перспективой и не может не изобразить нимбы, но знает он также и то, что тела не бесплотны и, значит, стоящие или идущие следом не могут быть видны нам. Видимо, предполагаю я, охотник одновременно намекал и на то, что середина стада не так видна, как начало. Но уж совсем не видимый хвост стада тем более неразличим?

Это кажущееся противоречие снимается при учете психологии восприятия внешнего мира древним охотником и рисовальщиком нашей эры. Охотник не знал абстрактного мышления. Его мысль была конечна. Замкнута. Современное мышление включает в мир своих представлений понятие бесконечности. Повторяемости сходных процессов или явлений. Если вы не видите конца процессии, вы тем не менее не сомневаетесь, что конец все-таки существует. Древнему художнику это неизвестно. Бесконечность, неясность, незавершенность его... пугает. Освоить мир — значит ввести его в определенные рамки. Нарисовать стадо, даже непересчитанное, — значит ограничить его пределы первым и последним оленем.

Значит, отвлеченное мышление, образная абстракция всегда позволяют перейти от формы явления к принятому и усвоенному шифру искусства. Это закон для всех эпох. Может быть, то, что мы называем условностью искусства, и есть все время новый шифр? Бывают периоды, когда искусство должно вновь и вновь возвращаться к жизни, улавливая первичные связи воображения, памяти, представления и — форм объективной действительности. И бывают другие периоды — когда оно должно осмыслить отвлеченные связи в новой проекции условности. Эти периоды сменяют друг друга, как приливы и отливы океана.

Но почему же все-таки человек, судя по найденным

реликвиям художественной жизни доисторического общества, в последнюю очередь и так схематично изображал... самого себя? Почему звери, птицы всегда пользовались предпочтительностью как объекты его творчества? Много здесь мне не ясно. Одно брезжит как догадка: изображалось то, что удивляло. Что как-то выходило за рамки примитивного самоутверждения.

Искусство было уделом мужчины. И потому первые более или менее отчетливые изображения человека — фигура женщины. Замечено: не вообще женщины, а женщины-матери — большой живот, подчеркнутые груди. Это и в наскальной живописи, это и в африканской деревянной скульптуре. Тайна рождения, видно, потрясала воображение. Племя увеличивалось благодаря этому священному феномену.

Человек-Женщина раздваивался на двух человек. Женщина достойна удивления, изображения. Для того чтобы избрать своей моделью себя, не было еще предположек. Себя видишь в последнюю очередь. Другой мужчина? Воспринять его как особь первобытный художник не мог. Он — охотник. Я — охотник. Мы — одно. Охотники. Женщина, солнце, животные, птица. Это — объективная реальность. То, что «не-я».

Что же, опыт многовековой истории подтвердил одно: человек познает себя в последнюю очередь... Ему подвластен уже и космос, и микрокосмос, он судит о системах жизни и общества, разгадывает загадки материи, клетки и возникновения жизни. Понять же собственную натуру, победить себя, свое несовершенство — оказывается по-прежнему самым трудным делом.

— ...Но ты говорил, что не принимаешь современное искусство примитива? — спросил Юстинас. — Почему? Не идет ли оно от возвращения к каким-то основам естественности, утерянной цивилизацией?

— Нет, я очень люблю Руссо, Пирсмени, польских и югославских примитивистов... Но это все люди неискушенные. Манера их — от характера, чистого и странного. Более того, — я готов скорее принять абстрактное полотно с его живым брожением настроения в цвете, чем фигуративное искусство, где в угоду моде жизнь предстает в детской неуклюжести. Это для меня одна из ипостасей идил-



личности, ухода от правды, которая все труднее и труднее дается нам. Примитив меньше всего подчинен рассудку. Расчету. А современное повальное увлечение плоскостным решением темы, статичностью фигур, головное применение цвета — все это игра в ребенка, инфантильность, которая отвратительна, как румяна на лицах старух!

Мы говорили о язычестве и христианстве. Не помню сейчас, в связи с чем,— кажется, я вспомнил трагедию Марцинкявичюса «Миндаугас». Я знаю, как он понимает сущность литовского национального искусства. Многие особенности литовского искусства он выводит из языческого наследия народа, как известно, позднее других в Европе вступившего на путь христианства. Я писал как-то, что его героиня, жена князя Миндаугаса, сходит с ума, не выдержав казни совести — этого нового качества личности, пришедшего с христианской идеей второй жизни, той, за жизненным пределом...

Для меня всегда было волнующей загадкой начало творчества. Его связь с идеей жизни и смерти. Или бессмертия. Тут христианство действительно должно было быть своего рода революцией сознания. В самом деле, солнце, как один из наиболее могущественных символов жизни в дохристианские эпохи, мы находим уже в наскальных рисунках. То его тащит лошадь (очевидно, так запечатлено было движение светила по небосводу!), то оно олицетворяется в облике «кромлеха» — концентрически расположенных циклопических камней, в центре которого располагался жертвенник... Интересно, что так называемая «трипольская культура» — первые следы поселений на территории Украины — дает такое же — концентрическое — расположение жилищ... Жертвенные костры должны были, по всей видимости, играть роль... солнца. Круг — наиболее точное повторение символики равномерного расположения вокруг огня. А первым огнем было солнце.

Может быть, это покажется фантастическим домыслом, но я ведь не претендую на научные открытия,— мне представляется, что прямоугольные дома в поселении Халепи, близ Киева, которому насчитывается не менее трех тысячелетий до нашей эры, не случайно имели окна в форме... круга, как современные иллюминаторы на корабле. Мне чудится в этом знак солнца, которое как бы

входило в дом нашего далекого предка, - круглое солнце через круглое отверстие!

В Литве меня поразило на дороге в лесу распятие, где крест был окружен языками солнца. Я подумал тогда же (и позднее образ этот стал символом книги о Витаутасе Монтивиле, замученном фашистами поэте), что человек здесь должен быть подавлен как бы двойной ношей веры: гореть и быть распятым одновременно!.. Позднее в картинах и в музыке Микаэлюса Чюрлёниса я снова чувствовал эту борьбу земного и духовного начал как трагедийную симфонию жизни и смерти.

И снова вставала загадка: искусство, религия знают понятие «второго мира», каждый, конечно, по-своему, но отделяют то, что окружает нас, что мы ощущаем, видим, чувствуем своими органами зрения, слуха, обоняния, от того, что нам видится, чудится, наконец просто снится. Ни теория «игры», ни теория «магических» знаков не давали полного объяснения сущности искусства. Какой-то таинственный осадок в форме выявления противоречий и тупиков мысли остается для меня и в современных теориях искусства как формы «познания мира».

Мы далеко ушли в постижении законов мира, но мало продвинулись в объяснении искусства. Чем дальше шагает разум, тем меньше остается иллюзий на этот счет.

И просто практика говорит нам: искусство велико там, где оно решает загадку жизни и смерти. Где оно титанически борется с небытием. Там, на грани того, что есть в действительности, и тем, что является непостижимым пока «двойником» реальности — областью кажущегося, предвидимого, не облеченного в плоть законченности и завершенности, — там и таится феномен искусства.

Языческая мифология и христианство только разные стадии одного, по сути, процесса — духовного отражения дуализма видимого и сущего. Век научных революций и технических переворотов сознания укрупнил проблемы бытия и духа. «Вторым миром» стал не только мир духовный, но и искусственная среда, феномены «памяти» какой-нибудь ЭВМ, язык дельфинов, получасовая реанимация или обучение иностранному языку во сне. Все это не просто следующий шаг цивилизации, но переворот в мире иерархических ценностей духовной жизни...

И я хочу понять, что влечет меня к примитиву Хегедушича, Генералича или Пиросмани: подлинное чувство

красоты и естественности, объективно заложенное в их диких и странных видениях непохожего и похожего нашего мира, или... страх перед более серьезным и прямым светом истины? Истины крушения нашего привычного мира представлений о идеале, гуманизме, красоте. Не есть ли примитив сегодняшнего искусства — только гримаса боли, шарж на современного человека, «венца творения»?

Вот почему я и люблю примитив... и боюсь его.

Юстинас рассказывает о литовских умельцах, еще сохранивших вкус к традиционному искусству предков. Конечно, новое входит в круг их представлений о модели. Но остается вечное: характер, юмор, народное представление о ценностях, нравственный элемент. Дерево — любимый их материал...

— У тебя, — вспоминаю я, — в поэме «Кровь и пепел» есть мотив: лес научил мыслить человека. Деревья — это застывшие мысли... Потом я почувствовал это же у Чюрлёниса в его симфонии «Лес», в его картинах...

— Да, лес и человек — наше, литовское. Древнее чувство... Под ножом мастера-резчика и человек рождается из куска дерева, и дерево оживает...

— В храме святого Пантелеймона, где сейчас веселятся наши друзья, мне как-то подарили сосуд, напоминающий урну для праха. Жена так и называла его «урна», и очень сердилась, что я привез такую вещь в дом... Так вот, изучая орнамент сосуда, я обнаружил, что он только по первому впечатлению повторяет эллинский мотив. У него другой ритм, а главное в выемах линий — разная глубина. Мастер, наверно, волнообразно нажимал на резец, когда амфора вертелась на гончарном круге. В результате при боковом освещении сосуда появляется своего рода мерцание света и тени, орнамент кажется двуцветным — будто синкопированный ритм! Правда, когда я заговаривал об этом, надо мной смеялись... А я хочу верить, что тут не случайность, что старый мастер (а мне говорили, даря амфору, что она старая) знал, как оживить вазу скромными своими в то время средствами... А может, думал я, македонец этот не имел выбора глины и должен был как-то компенсировать это за счет создания зрительной иллюзии, тем более что на юге светотень — могучее средство выразительности...

...Я видел картины современных македонских художников. И вспомнил Мартироса Сарьяна. Пока я не был в Армении, богатство цвета на его полотнах казалось мне лишь чертой индивидуальности художника, проявлением его чувства жизни, повышенного цветового восприятия окружающего... Но, побывав в горах Армении, я понял, что Сарьян просто идеальный реалист, его сочетания тонов, его цвет — цвет армянских нагорий. И меняется он в разное время дня, утра и вечера резко и своеобразно, как будто кто-то смешивает краски прямо на твоих глазах... Я видел такой закат летом 1967 года. Нежная гамма охоема, Арагац в огне и мертвенный свет после того, как солнце скрылось за горами, — свет, похожий на неоновый, застал нас у въезда в Ереван.

Мы часто говорим — юг. Или — север. А юг, допустим, македонский и армянский — разный, и в цветовом соотношении гамма тонов и полутонов неповторима и под Охридом, и под Струмицей, и под Ереваном!

И вот что еще: цветные тени, порою воспринимаемые нами как чисто живописный эффект, мы тоже можем наблюдать в самой природе. Это, вероятно, знали древние художники. Вспомним зелено-голубой, или просто голубой (не помню сейчас!) мазок на щеке фаюмского портрета пожилого римлянина, что хранится в Музее изобразительных искусств в Москве. В работах македонских живописцев я часто наблюдал увлажненную голубоватую тень от предмета...

Мы просто нелюбопытны, невнимательны, иначе и цвет моря, озера или реки не характеризовали бы так бедно. И рассветы, и закаты, и предгрозовое небо — всюду свои: на севере, на востоке, на юге...

И вот я возвращаюсь к Гоце Делчеву. Тогда, во дворе его дома в Скопле, смотритель музея рассказывал мне, как Делчев любил македонское искусство: «чувствовал его всей душой, всем существом своим, как мать чувствует дитя на груди, когда кормит его молоком своим», — так он сказал... Герой вскормлен своей землей. И сам ответствен за все, что на ней, — будь то пашни, виноградники, кони или овцы на склонах гор, будь то песни, надежды, родное слово...

Мне всегда кажется, что гений рождается для всего. Он

может только писать музыку, как Бетховен, только писать картины, как Рембрандт, только делать Революцию, как Ленин... Но в этом «только» уже содержится огромная энергия всеобщности. Разве Бетховен не писал Революцию в своих симфониях? Не чувствовал красок и форм звука? Разве Рембрандт не готовил человека к величию свободы и гармонии своими таинственными полотнами, в которых свет рождался из вековой тьмы? Разве Ленин не первый угадал «ноты» «музыки Революции»?..

Искусство. Родина. Революция (Свобода). Тут существует вечная органическая связь. Как жаль, что только с годами начинаешь понимать это не головой, а сердцем...

Утро брезжило в широком окне. Мы говорили с Юстинасом все тише и наконец как-то сразу почувствовали, что наступила та особая тишина, когда нет сил ни пошевелить рукой, ни ощутить веса воздуха — все проваливалось мягко, застывало, лишалось очертаний, уходило в ничто... Сон наступил внезапно.

### *1 сентября*

Белград. С предосторожностями Юстинас доставлен сюда. Самолетом. Лежит пока. Смотрит в белый потолок номера в том же уютном «Паласе», и на лице его тоска.

— Больно?

— Нет. — Улыбается широкой, медленной, доброй своей улыбкой. — Сегодня Юрга пошла в первый класс. А меня, видишь, нет дома. Хотелось... Важный момент...

— А ты помнишь, как она приняла меня за деда-мороза?

Мы оба смеемся. Как-то ночевал я у Юстинаса в Вильнюсе. Засиделись поздно, и меня оставили спать в кабинете. Была зима, я был в полушубке, повесил его в передней мехом наверх. Юрга — ей было тогда года три — спала и утром, выйдя в коридор, увидела меховую шубу на вешалке. А было это под Новый год...

— Мама, папа, скорее вставайте! Он уже пришел!

И так незаметно, говорю я Юстинасу, пришел уже не один Он, а пришли и Они — годы, которые все суровее и трезвее смотрят на нас. Течения лет не замечаешь, пока внезапно какое-нибудь воспоминание не всплывет в памяти — неужели это было так давно?.. Как вчера...

— Знаешь, главное — не терять этого ощущения, что время остановилось для тебя,— шутит Юстинас.

— Увы-увы... Сохранить бы это Юргино ощущение жизни как запланированного чуда. Ты помнишь, на нашем симпозиуме выступал Анте Стамач, молодой хорватский поэт? Речь идет об упрощении поэзии, говорил он. Мы утратили детскость. Наивную душу. (Будто это так просто: вернуть наивность незнания!) Он говорил об узости, упрощении — самой опасной угрозе для поэзии... И это так. Но опять же — как вернуться, следуя его призыву, к тому времени, когда искусство обращалось «ко всем», как он заявил? «Разрушить формализованные схемы, замкнутость, искусственность» хорошо. Но где взять эту искомую «естественность»? На Марсе? Поэзия такова, каков мир. Я не верю в принудительную наивность. Я с удовольствием забыл бы, что мне осталось жить меньше, чем я прожил, но это так...

Естественность художника, вообще человека — в нем самом. А он таков, каков уж есть. Узкий или широкий — его мир души отражает время. Он и так борется — днем и ночью, с врагами открытыми и скрытыми, с собой самим,— мало ему забот, чтобы бороться еще за... естественность! Думать о естественности — самое неестественное, что можно себе представить!

Я собирался выйти в город, но не знал, как мне оставить Юстинаса. Он, разумеется, гнал меня погулять, отвлечься. Но я не был уверен, не встанет ли он, и понемногу обиняками намекнул ему, что картина удара в спину не очень ясна и стоит все же постраховать себя... Он улыбался спокойно и невозмутимо.

— Не бойся, не встану. Я ведь слышал, о чем говорили врачи... Они не думали, что латынь — язык и мне вполне доступный...

Оказывается, он знает, что угрожает ему! Ну что же, может, так и лучше. Во всяком случае, я ушел несколько успокоенным.

...Белград хорошел в утренней дымке. В узких улочках старой части города теснились стоянки машин с длинным рядом счетчиков — опускаешь динар и беги по делам. Но

не очень зевай — динар быстро переварится в желудке синенького счетчика, стоящего, как аист, на одной ноге. Найти место для стоянки нелегко. Иной раз проще пройти пешком пол-Белграда, чем найти местечко для машины. По тенистой короткой улочке дошел до оживленной столичной артерии — улицы кнез Михайлов. Это нечто вроде Кузнецкого моста в Москве. И такая же старая традиция аристократического места для модниц. И... модников. XX век внес существенные коррективы в разделение функций между полами. Я иронически разглядываю холеных юношей, женственно несущих аккуратно расчесанные гривы набриолиненных волос. Когда это мускулистый верзила, на котором бы воду возить, это особенно трогательно. На загорелой шее трепыхаются зефирные платочки нежных тонов. Рубахи, завязанные на пупке в узелок, уже прошлый день. Короткий слюнявчик на шнуровочке — верх шика. Пижоны в Москве и в Белграде одинаковы. Только наши отстают от моды на какой-нибудь часовой пояс. А повадки одни. Толкутся группами на углу кн. Михайлов и шумной, как река, Теразие. Сидят, разваливаясь, с соломинками коктейлей в зубах на многочисленных террасках, закидывая гривы, пьют из маленьких бутылочек цветные лимонады и кока-колу. Впечатление вечного праздника. Никто не торопится.

В Москве на улице Горького бывают приливы и отливы. В определенные часы люди бегут быстрее, потом сбавляют темп, потом фланируют. Конечно, разные это люди. Но общее впечатление движения, если его учитывать с птичьего полета, как бы регулируется по часам. В Белграде на Теразие всегда равномерный, замедленный поток. Дело, очевидно, в том, что магазины здесь расположены почти равномерно, мало чем отличаются друг от друга, одинаково притягательны по витринам, умело поставленной рекламе, — домохозяйки, служивый люд, домработницы — категория самых торопящихся горожан — не полезут на главные улицы без особой нужды. На Теразие человек приходит не спешить. Тут всегда прицениваются, придирчиво изучают моды, цены, изменения в витринах, толпятся у одних, медленно проглядывают на ходу другие. Обмениваются впечатлением — солидно, без страсти, научно основательно. Атмосфера на Теразие напоминает мне Третьяковскую галерею. Тихо, почтительно, уважительно, склонив голову, человек стоит иной раз ча-

сами перед шедевром. И уходит, унося с собою таинственные свои мысли по поводу созерцания «вещи в себе», если воспользоваться на время философской терминологией...

Продолжение Теразие — прямая и широкая, как решительный карандашный жест на боевой карте, улица Маршала Тито. Тут еще есть магазины, но они все чаще разрываются общественными учреждениями, иностранными агентствами, туристическими и прочими оффисами, отелями и книжными выставками, кинотеатрами, которые называются здесь трогательно старинным для меня словом «Биоскоп». Почему старинным? Видимо, напоминает «калейдоскоп», детское воспоминание, «микроскоп» — что-то далекое, школьное, теплое... И в подтверждение воспоминаний у каждого «биоскопа» толпится детвора — прогуливают школу, конечно.

Сеансы идут один за другим. В глубоких подворотнях, под арками, в частых пассажах — ряды застекленных рекламных щитов. Идет одновременно фильмов от силы десять, чаще — меньше. Они чередуются по разным кинотеатрам, разным сеансам. Пока не прокрутят все возможные комбинации (места, времени, удаленности от центра, дней недели), фильм не сойдет с экрана. Репертуар... ох, репертуар... Коммерческий, одним словом.

По Маршала Тито дохожу до круглой площади, от которой лучами расходятся улицы. Слева высится типичный «небодёр», — вот, кстати, словечко для наших славянофилов! То же, что и «небоскреб», собственно говоря, но не захватанное Америкой. Небодёр этот — гостиница «Славия». В ней почему-то любят размещаться мои соотечественники. В двух шагах по тенистой, липами засаженной улочке — наше посольство.

Туда я и держу путь. Там ждет меня знакомый веселый, умный и острый на язык дипломат.

(Когда я спросил разрешения вывести его одним из героев «Дневника», он замахал руками... Поэтому я не называю его фамилии, да и не «рисую» его внешности. Он — просто Дипломат...) Он очень интересуется нашей поездкой, симпозиумом, впечатлениями о любимой «его» Югославии. И приготовил мне кучу книг, расширяющих мой кругозор. Он так его расширяет, что я и в Москве уже не могу повернуться от книг, которые прочитать тоже не



так просто при моем лишь относительном знании языка. Он так рад, когда мы что-то успеваем почерпнуть из своих поневоле кратких поездок, он так огорчается, когда поездки эти носят туристский, развлекательный характер.

(Меня познакомил с ним Тимур Гайдар, сын знаменитого писателя, тогда корреспондент «Правды» в Белграде. Вскоре я встретил Тимура в Москве, поныхающего своей трубкой и энергично покачивающего широкими плечами, он уже собирался на новое место — не то на Северный, не то на Южный полюс. Тепло и с благодарностью вспоминали мы помощь, советы, дружбу нашего неугомонного Дипломата.)

...На звонок у чугунной решетки выбежал сам.

— В Черногории был? В Боснии был?

— Скажи дяде сначала: «Здравствуйте!» И дай дяде отдышаться.

— Дома будешь отдыхаться. Идем, я жду тебя уже пятнадцать минут!

«Как будто три часа», — думаю я и улыбаюсь. Он почти бежит по дорожке.

— На Козаре собираются партизаны. Юбилей! Надо успеть туда. Но сначала ты поедешь...

— Ты же знаешь, у нас «чепе»...

Я даже не спрашиваю, знает ли он о несчастном случае с Марцинкявичюсом, — я привык, что он все знает.

Как бы угадав эту мою мысль, он говорит:

— Может, ты думаешь, что я и лошадь эту знаю?

— Насчет лошади обстоятельства неясны...

— Насчет дрожжей врут, лошади их не едят.

— Ты и это знаешь? Тогда давай свою версию.

— Растяпы — и все. Мне жаль Дракула, у него сейчас испорчено настроение. Как Шкловский? Силен еще?

— Моложе всех, — отвечаю я. — Его речь на симпозиуме имела небывалый успех. Устроители правильно сделали, что на ходу переиграли протокол — дали вести симпозиум Шкловскому. Он и закрывал разговор.

Мы входим в его кабинет.

— Зачем ты меня позвал?

— Видишь ли, я говорил с посланцем, тебе бы хорошо съездить на Вуков Сабор.

— Дорогой, у меня же свои планы... Пойми, не разорваться.

— Ты будешь шляпой, если проторчишь здесь лиш-  
ний день. Козара, Сараево, потом Черногория — вот на  
твоем месте как бы я спланировал время... Если надо, по-  
могу. Позвоню. Куда позвонить?

— Никуда не звони, а найди на Вуков день кого-ни-  
будь посолднее. Там съедутся академики-слависты, и  
мое присутствие будет хуже, нежели отсутствие...

— Тогда поезжай на столетний юбилей словенской  
писательской организации.

Я с ужасом посмотрел на него. Он захохотал:

— Шучу, это уже шучу! В Любляну прилетит Барто  
Агния Львовна. Ну, садись... Нет, некогда. Поедем к Мар-  
цинкявичюсу. Потом ты должен посмотреть тут одного  
художника... На фотовыставке уже был?

— Помилуй, когда же?

— Ну, так ты ничего не увидишь! Спать надо меньше.

*2 сентября*

В этот день я метался, как угорелый. Звонки следова-  
ли один за другим. Я притворно сердился, но в душе был  
благодарен Дипломату. Он умел зажечь самыми неверо-  
ятными предложениями. И действительно, оказывалось,  
что можно «все успеть». Или «почти все», что примерно и  
равнялось всему...

Юстинаса я передал на попечение посольства. На сле-  
дующий день его посадили в самолет Белград — Москва.  
Я же накануне был вынужден, распрощавшись с ним, вы-  
ехать в Сараево.

— Иначе ты все смажешь, — говорил мне неугомонный  
Дипломат. — Ни то ни се... Быть в Югославии и терять  
время попусту...

Ох, уж этот Дипломат!

Я пишу в поезде Белград — Сараево... Мы стоим где-  
то в горах, уже сумерки. Но все по порядку. Вчера, когда  
я с Дипломатом навестил Юстинаса, мы, то есть вся деле-  
гация — Шкловские, Луконин, Максим Танк, Дебора Ваа-  
ранди, Павел Боцу, Валентин Леднев, Марцинкявичюс,  
работник Инокомиссии Иван Акимович Харитонов и я —  
были приглашены на самодеятельный прием в ресторан  
«Лондон». На обеде были Бранко Чопич, Десанка Макси-  
мович, Мира Алечкович и Радоня Вешович.

Чопич что-то тихо рассказывал, и все покатывались со смеху, даже не всегда улавливая смысл его хитроумных и лукавых пословиц. Как я заметил, он порой говорил и в рифму.

Десанка держалась просто и скромно. Казалась усталой. У нее в эти дни и дома были гости.

Добрейшая Мира все старалась, чтобы всем было хорошо. Она то записывала какие-то поручения, то диктовала телефоны — кому позвонить, с кем связаться, то повторяла, кто, кого, когда должен встретить, то называла книги, которые надо прочитать, то передавала блюда, то меняла их на ходу, когда видела, что кто-то не сразу к ним притронулся, то подливала вино, то кричала кому-то, чтобы он больше не пил... Мира как Мира. Красивые глаза ее лучились участием. В Белграде она, и не имея определенного «поста» и должности, всегда главный человек, на которого ложатся заботы по приему советских гостей. Она делает все добровольно и с охотой.

— Мира, ты мусульманка, а мы православные, мы хотим ракии! — кричит Радоня.

Я удивленно смотрю на Миру. Она наклоняется ко мне и шепчет:

— Да, да, мой дед мусульманин. Имя мое...

Я не расслышал, что-то вроде Муханира...

— Вообще много намешено. — Она смеется. — А кто у нас чистых кровей? Балканы!

У нее синие глаза, черные брови, светлые волосы.

Десанка похожа на турчанку. Радоня толстый, сутулый, с большой головой и вечно сжатыми губами, как будто он боится проговориться, похож на русского, такой же неторопливый, не серб, одним словом, по темпераменту. Чопич? Мягкий, седой, полноватый, смахивает на полтавчанина. Какие они, эти сербы? А кто его знает!..

В Македонии я доискивался у всех: каков типичный облик македонца? И тоже ничего определенного сказать не могу. Похожи они и на греков, и на болгар, и на цыган, и тех же сербов — много русских и даже курносых... Гане рыжеват и полнеет на глазах. Метод черен, в улыбке что-то японское, Мира похожа на польку, — да она, сербка, не в счет... Ну, а Блаже Конески, академик и поэт — вообще особый тип, вроде мистера Пиквика, как его рисовал Агин... Есть еще Тоне Момировский — гигант, кра-

савец с бровями покойного Владимира Луговского, тип почти нордический... Вот и разберись...

— В Боснии то же самое! — смеется Мира. — Легко заблудиться.

Мира выговаривает «л» мягко, почти по-польски.

Прощаюсь, обнимаемся с Юстинасом, с остальными. Радоня выходит меня проводить. Долго ловим такси. До отправления поезда остается полчаса, но расстояние тут до вокзала мизерное. Ничего. Наконец с помощью милиционера останавливаем такси, Радоня вталкивает меня с чемоданом и последний раз спрашивает, не поехать ли со мной... По глазам вижу, что ему явно рано еще вставать из-за стола, где столько хороших людей. Прощаюсь.

И тут начинается самое пикантное. Водитель (еще один тип серба) не спеша, потягивая трубку, лениво говорит мне, что мы явно не успеем к поезду на Сараево. Как так? А так. Он прямо сказал и милиционеру, и Радоне, прямо по-сербски и сказал. Не успеем. Почему? А если быстрее? Товарищ хочет быстрее? А что это даст, когда мы все равно не успеем?.. Но простите, я начинаю нервничать, от кого же тогда зависит, опоздаем мы или нет, если не от него самого, водителя. Нет, это товарищ так думает, а на самом деле мы не можем поспеть, это уж точно. Наконец я начинаю догадываться, что значит песимизм моего полусонного шофера... Ремонтируют улицы, закрыта Балканская, основная магистраль, мы стоим в длинном ряду машин, и конца не видно. Если б товарищ его послушал да пошел переулками, так дело бы куда быстрее было. Увы, товарищ не решается рисковать. На часах остается десять минут. А если я заплачу получше, а мы свернем куда-нибудь? Да, это товарищ так думает, что можно свернуть. А свернуть некуда... Продвигаемся медленно на три метра. И семафор снова перекрыт. На часах шесть минут до отхода. Я закрываю глаза и откидываюсь на спинку сиденья. Так, все уже ясно. Пусть везет до вокзала, а потом в отель, как-нибудь разберемся. Билет я порву. Слышу голос водителя. Он говорит с кем-то — ругает дорожных хозяйственников. Потом обсуждает футбольные новости. «Партизан» сильнее «Црвеной звезды», но у тех везение... Рокот моторов. Я открываю глаза. Тронулись. Ну, пожалуйста, ну, попробуем, а? Это това-

риш думает, что можно что-то попробовать, а успеть нельзя. Вот и вокзал! Это ничего, что вокзал. Теперь проезда тут прямо нет. Нужно вокруг площади объехать. Ужас. Слышу, как в горле стучит пульс. Если бы не надежда, появившаяся несколько минут назад... 2 минуты! Вот же он, вокзал, я не выдерживаю, кричу милиционеру в белых нарукавниках, который предусмотрительно показывает нам на объезд, кричу, открыв дверцу:

— Брат! Друг! Пусти! Поезд уйдет, я русский, брат! И что бы вы думали — помогает!

Водитель поднял брови: да, да, милиционер весело машет ему жезлом и берет под козырек, только по-своему, как крестится, касаясь середины лба двумя пальцами: давай, мол, дуй прямо... И мы рванулись к вокзалу. Не смотрю на часы, — кажется, полминуты... А впереди метров сто до дверей сгрудились машины, ждать маневра некогда, сую динары, благодарю, хватаю чемодан, бегу, расталкивая людей, — куда?

Где нужный поезд? Только не останавливаться, почти безнадежно, но бежать, бежать, не останавливаться. Голос репродуктора: «...отправляется... на Сараево». Свисток. Вот он, на первой же платформе, тронулся, бегу рядом, он идет медленно, бросаю чемодан на ступеньку второго от конца состава вагона, подтягиваюсь...

Неужели успел?..

Долго глотаю воздух, смотрю на медленно движущиеся столбы перрона, людей, остающихся на платформе, улыбка растягивает мне губы... Не может быть! Успел!

Сижу за откидным индивидуальным столиком и пишу при свете перронного фонаря. Ветер раскачивает ветки деревьев. Блестят плиты платформы. Мы загораем здесь часа два с лишним... Я, кажется, опять влип в историю. Мне сказали, что доеду к вечеру, но не сказали, что ливни размыли дорогу и в горах случилось серьезное крушение. Поезд сорвался в пропасть. Все газеты полны этими картинками, от которых хоть кому не по себе станет. Мы едем в объезд, по временной дороге. Но впечатление такое, что движемся не быстрее, чем тогда, на вокзал, с моим невозмутимым водителем. И потом само движение какое-то неуверенное, как будто нами играют на ксилофоне. Шпалы ворочаются внизу и недовольно скрипят. Ночью проснул-

ся от толчка. Мы спали втроем поперек купе (кресла тут опускаются, спинка принимает горизонтальное положение, и можно, закрыв лицо газетами, а ноги плащами, видеть сквозь бумагу желтые наплывы фонарей)...

Толчок был серьезный. Вагон стоял набекрень с некоторой, я бы даже сказал, долей лихости. За окном, разбитым о какой-то предмет (видимо, столб), вовсю бушевал ливень. Кто-то что-то кричал. Временами вагон страшно дергался, словно буйвол, которого хотят поднять пинками, а он залег без сил и не хочет подыматься. С фонарем (непроглядная темень) прошел проводник и что-то сказал. Я понял, что мы отцеплены и что это «слава богу»...

Мои соседи собрали вещи и предложили перейти в другое купе. Народу в вагоне осталось мало. Люди куда-то бежали вдоль поезда.

В другом купе сидел седой старик, здесь было тепло и сухо. На столике горел огарок свечи. Хозяин купе завернулся в плед и читал журнал с серьезным и невозмутимым видом. Мы поздоровались, спросили разрешения и уселись. Вагон все еще стоял накренившись, и я чувствовал, что все время сползаю к окну.

Время от времени кто-нибудь входил в наш вагон, отряхивался и чертыхался. Мои спутники ходили узнавать, что случилось, и вернулись расстроенные. Получалось, что мы застряли надолго.

Мы стояли перед туннелем, еще два-три вагона — внутри него.

Старик, читавший журнал, поднял кустистые свои брови, повернулся к молодому человеку, который был для нас основным источником свежей информации, и сказал строго и громко:

— Како сте?

Все помолчали.

— Како сте? — повторил он.

«Как дела?» — вспомнил я. Оригинал! Он нас спрашивает, как будто это случилось только с нами, а не с ним тоже.

— Это глупые бредни, — ворчливо сказал старик. — Никакие вагоны здесь не могут упасть в пропасть. Тут нет пропасти. Кончится дождь, будет утро, и вы сами убедитесь. Откуда вы взяли, что в туннеле река? Река ниже нас на двести девяносто три метра.

Точная цифра произвела впечатление. Молодой человек смотрел на старика, как на своего спасителя, и кивал головой:

— Так я же не сам видел... Люди говорят... Там...

— Люди? — спросил старик и еще больше нахмурился. Он даже отложил на время журнал и долго смотрел на молодого человека.

Тот виновато улыбался и разводил руками. Старик вздохнул и снова закрылся журналом.

В это время вошел блестящий от дождя проводник с фонарем. В черном плаще с капюшоном, он походил на монаха. Он осветил нас и вздохнул.

— Ну, что там? — загалдели мы, надеясь на более точную информацию.

Он пожал плечами и вышел. Дождь лил как сумасшедший—бил в окна при порывах ветра, гудел по крыше, изредка звук его сливался с каким-то иным, более ровным и могучим шумом.

Я всматривался в гудящую тьму, и от напряжения иногда казалось, что вижу край пропасти, или лес, или берег моря, на который накатываются громадные волны.

Вскоре тьма разом была порвана одним резким звуком, идущим с неба, и сиреной. Мгновенно озарилась местность за окном, и все догадки отпали: в потоках воды, падающей с неба, я увидел слепящий прожектором вертолет, а в свете прожектора край пропасти и за ней в некотором отдалении высокие, до неба, пока хватал глаз, горы. Слева над вагоном нависла отвесная стена. Чуть впереди виднелся вход в туннель. Поезд изогнулся, но кроме нашего вагона другие стояли, кажется, прямо и разрывов в составе не наблюдалось... Но мгновение света сменилось снова тяжелой тьмой, вертолет пронесся над составом — и резко вверх, скрылся за горой. Дождь полил, казалось, с удвоенной яростью, словно разбушевавшаяся природа пыталась компенсировать себя за временное поражение против человека...

— Воинские части, будут эвакуировать...

— Возможно, просто военный патруль...

Я посмотрел на старика. Он сидел, смежив веки, отложив журнал. Молодой человек затягивался папиросой, и лицо старика в эти мгновения становилось различимым. Свечка почти догорела и ее кто-то задул, когда появился

вертолет. Теперь мы смотрели на старика, ждали его указаний насчет свечки. Но старик, видимо, дремал.

Кто-то сильно постучал в стену вагона снаружи.

— Выходите! Слышите, вы. Быстро выходить! Всем! — Снаружи колотили не переставая.

Мы быстро, толкаясь, потянулись к выходу. В тамбуре стояло несколько человек, они нерешительно топтались, забив проход. Здесь, у открытой наружной двери, ливень казался вообще потопом. Голоса снаружи едва пробивались сквозь грохот воды о крышу вагона.

Я выскочил в темноту и упал на какого-то человека. Он только крикнул и заскользил на четвереньках по воде. Вода доставала до колена, я, оглушенный потоками воды сверху и снизу, шел, волоча чемодан, за плотной толпой, жавшейся к составу, вперед.

Несколько голосов предупреждали, что справа пропасть.

Больно ушиб ногу о камень. Кто-то наступил на пятку разбухших от воды туфель, я потерял равновесие, но устоял и снова занял свое место в строю. Наконец чьи-то сильные руки подхватили меня и, передавая по цепи рук, втолкнули на ступеньку вагона. Здесь, в тамбуре, буря оборвалась, и я увидел фонарь, ослепивший меня, и чьи-то снова сильные руки, вталкивающие меня в купе. Оно было переполнено, но теплый, сырой пар и ощупью находящиеся друг друга люди создавали впечатление спасения от чего-то более страшного, что минуту назад грозило просто смыть нас в пропасть там, снаружи...

Мы тронулись через какое-то время, медленно, не веря самим себе, что едем...

И вот уже кончилась ночь, наступило сырое утро. Дождь шел, но это уже был нормальный затяжной дождь под обложным небом. Я сидел верхом на мокром чемодане. Нас было человек шесть-семь, не больше. Постепенно люди куда-то выходили, — видно, распределялись по купе и вагонам более равномерно. Пытались переодеться, вытаскивали сухое, сопели, вздыхали, крихтели, в вагоне запахло пролитыми духами, какими-то теплыми, забытыми с детства запахами, вроде гематогена... Я рассмотрел среди незнакомых мне лиц знакомого старика. Он сидел в



углу, у окна и кивнул мне. Он один казался абсолютно сухим, словно перенесся сюда теленатпическими путями.

Были в купе и две женщины, выглядевшие весьма плачевно, но они и здесь проявили необходимую сметку и, завесившись извлеченным из чемоданов пледом, сумели переодеться раньше всех. Все почему-то говорили вполголоса. Поезд шел медленно. Часто слышался тоненький гудочек паровоза. Из разговоров выходило, что нас умело и быстро эвакуировали воинские подразделения, но толком никто ничего не знал. В этом вагоне я не слышал ничего о вагонах, полетевших в пропасть. Говорили, что пути размыло, полотно стало сползать, что в туннеле просто сошел с рельсов паровоз и поезд стал. Но кто-то шептал, что это только «благоразумная версия»... Как всегда, понять что-нибудь в такой обстановке было невозможно. Стихийное бедствие.

Но и в нем проявилась прекрасная черта народа, думал я, всматриваясь в людей, вспоминая подробности прошедшей ночи. Как в войну, все были заодно, действовали дружно, почти молча, с полуслова понимая команды, никто не бросил товарища, и все запомнят, как я буду вечно помнить, эти руки, сильные, ловкие, верные, руки сотен людей, мгновенно прилетевших на помощь, в ночь, в горах, под библейским ливнем!.. Я и сейчас до конца не могу понять, каким мастерством надо обладать, чтобы проникнуть вертолетами в узкий ночной каньон, но мне хочется верить, что все было хорошо, что среди воинов не было жертв...

Кто-то вспоминает, что именно сюда недавно бросили усташей из эмигрантского охвостья. Они были одеты в специальные костюмы «командос», — одели их «там», конечно: пробиваемая пулей ткань одновременно выделяет состав, дезинфицирующий и затягивающий рану пластырем. Оружия и боеприпасов они привезли порядочно, проникли через границу как туристы, а часть выбросилась с парашютами. На что надеялись? Трудно сказать. На эффект за рубежом? Но сколько же они могли продержаться!

Один человек рассказывал, как ходил проводником отряда. До войны еще жил в этих горах, все знает. Когда партизанил в войну, выводил из окружения часть. Теперь пришлось еще раз забираться на головокружительную высоту, чтобы зайти в тыл банде. А вертолеты? Вертоле-

ты хороши для поиска, объяснял он, а так они ведь пугают,— пока снижаются, можно уйти. Леса здесь густые, в каньонах тропки между скал, под террасами не сразу и с воздуха обнаружишь человека. Если опытный, как ящерица уйдет в землю...

...Без всякой связи вдруг вспоминается картина: мы с одним хорватским писателем в костеле «Мать хорватов» на горе под Загребом. Хороший осенний день. Дверь костела приоткрыта, и в нее видно, как медленно и плавно, словно снег в театре, падает желтый лист, один, другой, третий — покачиваясь, трепеща, планируя... А здесь идет служба. Народу много в маленькой молельне. Люди стоят тесно. И вот я вижу, как служка, крупный холеный мужчина, протягивает сачок. В него опускают деньги. Сачок тихо летает над головами молящихся. Внимательно, прикусив язык, служка высматривает, с кого он еще не взял монету, и, вытянув руку, делает выпад с сачком... Я непроизвольно следил за полетом сачка и перестал ощущать ту высокую и трогательную истому духа, какая рождается от музыки. «Аве Мария» пели дети, а большой толстый дядя играл большим сачком с потными, скомканными бумажками и теплыми, липкими монетками... А на монете — знакомый умный и решительный профиль человека, который сделал хорватам больше, чем их «спасители» в черных сутанах, холеные их служки, доброхоты из-за рубежа, желтые журналисты, разжигающие тлеющий огонь розни и ненависти к иной нации, иной вере... «Аве Мария!» — шепчет страстно и просительно за моей спиной женщина с заплаканными глазами. Что у нее? Сачок уже тянется к ней. И кажется, он накроет и ее, и ее мысли, и ее детей, и ее будущее... Я вышел тогда из костела с тяжелым настроением, под гнетом неясной, темной мысли о слабости человека, о его слепоте, которую не так легко вылечить государству, даже героическому, красивому свободолюбием, гордому народу...

Я не хожу в наши церкви, но, наверное, и там я испытал бы то же самое чувство горечи и стыда за человека. И ненависть, а не сочувствие вызывают у меня интеллигенты, очередной модой сделавшие прославление ладана и иконы. Картина благолепия и елейного соития душ патриотов, во время войны жертвующих рублики на спасение отечества, представляется мне постыдным маскарадом! Здоровые, похожие на жеребцов детины, которых я на-

смотрелся в разных монастырях, никак не внушали мне уважения к ним. Я вспоминаю, как два дюжих краснорожих малых тащили настоятелю полированный сервант, а он не лез в узкую дверь кельи, поткатился из-под черных камилавок, широкие рукава скуфеек были закатаны и волосатые руки мускулисты. Такое здоровье, такая плотская радость от физической работы, такая хмельная силушка была в этих работах от Христа, что зависть брала! Эти не знали ни войны, ни смертей близких, ни дистрофии блокадных городов, эти лебедушку не мешали в хлеб, эти не пахали на себе пахоту, эти не принимали на себя ни чужой вины, ни чужой беды — эти прятались от бедного села, да сохи, да войны, да детей своих в кельях, если не с полированными сервантами, то с крышей над головой и куском верного хлеба! Нет, не «блаженные, нищие духом, таинственным миром своим» спасали Россию в годы пожаров, засух, глада и мора, войн и стихий, а умное сердце и сильные рабочие руки народа — с кайлом и винтовкой!

— Пожертвуем! — басил священник  
среди старух, среди калек,  
и вырастала груда денег,  
и раздавался звон колец...—

так писал один русский стихотворец, славянофильски моргая, чтобы не расплакаться... А ему и невдомек, что «жертвы» были явно неравные — у тех, кто жизни свои «жертвовал», судьбы свои обрывал на бегу жизни, и у тех, кто «басил», закатывая очи горе, — ничего, у него оставалось про запас кое-что и от тех дареных колец, и от тех денег... Сачок был вместительный!

...Поезд подошел к станции. Здесь вот мы и стоим два часа с минутами. Нас поили кофе, густым, горячим. Пришлось на брата по трети бумажного стаканчика. Наливали девушки из больших чайников. Девушки были красивые и строгие. Ни словечка. Ни улыбки.

Старик ходил на станцию, пришел с хорошими вестями. Скоро поедем — и уже по-настоящему, быстро. Дорога теперь главная, не времянка.

Мы со стариком подружились. Хочу записать наш ночной разговор. Вернее, рассказ старика. Собственно, начался он ночью, а потом мы заснули крепко и спали долго. Частые остановки утомили нас. Есть мы не хотели,—попав

в беду, все делились, чем могли. Разворачивали запасы, доставали из сумок и мешков самые разные вещи. Угощали меня сушеной дыней и маринованными яблоками, кукурузным хлебом и большими сладкими луковицами, рыбой и сыром, который пахнул овчиной, ракией из яблок и винограда. После ракии мы пели песни — русские и сербские, далматинские и македонские, даже американские, которые пели два студента-юриста на английском языке...

Но вот рассказ старика.

— Родился я в Боснии, неподалеку от Мостара, в горном селении, приютившемся у самого основания высокой отвесной скалы, закрывавшей после полудня солнце. Селение жалось между скалой и рекой Неретвой. Почва здесь была хорошая, росли сады. Дом был у нас старый, построенный еще прадедом нашим. В семье кроме меня росли три брата — Салих, Меджед, Али. Я — младший. Сестру единственную едва помню, рано выдали ее за сына одного богатого крестьянина из соседнего селения. Говорили, что была она красавица, не знаю, — запомнилась мне только одна картина: стою я неподалеку от кадия, он что-то говорит ей и жениху, а я не свожу глаз с новой красивой фереджи — это такое покрывало черного цвета... А потом все взрослые сели на коней и поехали цепочкой к месту ее нового жительства. Ехать надо было по узкому карнизу, круто набиравшему высоту над Неретвой, туда, где клубились в тот день облака и скрывали солнце. Оно то появлялось, то скрывалось в облаках. И мне казалось, что никак оно не решит, что делать — смеяться ему или плакать, что уезжает моя сестра. Я очень любил ее. Она одна играла со мной и ласкала меня. Мать меня видела мало — трудилась допоздна спозаранку на поле. Сестра мне заменяла мать. Когда конь, на котором сидела сестра (он был один белый и я смотрел только на него), исчез в облаке, нависшем над вершиной скалы, я побежал домой, чтобы не видеть больше ничего, — мне казалось, что облако поглотило сестру, и было страшно...

Мы — мусульмане. Предки мои — боснийские сербы, отуреченные и постепенно забывавшие веру свою и язык. В селении нашем кричал с мечети муэдзин, мы одевались как турки, как турки сидели за кофе на полу, курили такие же трубки, ходили с ятаганами усмирять неверных...

И все-таки что-то оставалось в нас такое, что никак не вытравлялось годами духовной неволи, которую мы и перестали ощущать неволей, но до конца не приняли и как свободу.

Было в этой промежуточности положения какое-то насилие, какая-то неправда, которые мы не то чтобы понимали умом, но носили в себе как чувство неполноценности или сознание стыдной болезни, о которой никто, кроме тебя, не знает, но тебе кажется, что рано или поздно это станет достоянием других...

Может быть, так я думаю теперь, а тогда, раньше, все казалось иначе, но, оглядываясь назад, вижу: многие несчастья, мне кажется, шли отсюда, а люди давали им другие объяснения. При моем отце граница между Боснией и Сербией была границей между Турцией и Сербией, а потом Австро-Венгрией и Сербией. Но турки и сербы в Боснии жили давно вместе, что даже священники и муфтии водили дружбу семьями, а про крестьян или торговцев и говорить нечего. Когда восстала Герцеговина, когда грянула пушка Карагеоргия, когда в Боснию вошли австрийцы, во многих местах мусульмане и православные были больше озабочены не делами веры, а экономическими проблемами. Когда вера и карман держались друг за друга, тогда выходило, что надо вешать турок или сажать на кол христиан... Но многие крестьяне уже в то время, не зная про Карла Маркса, усвоили простую истину: бедняк бедняку — брат, кто бы он ни был...

Да и то сказать, османлия — одно, а отуреченный серб — совсем другое. Османлия родился в Анатолии, а к нам пришел как солдат султана. Он все равно и на боснийца-мусульманина смотрел как на полукровка, полутурка. Эта земля не его земля. Наемник на чужой земле — беспощаднее. Бессердечнее. Он будто мстит ей за то, что далеко от родных стен занесла его судьба.

Потом я скажу так. Веками мои предки жили рядом с мечетью и рядом с церковью. Это тоже терпению учит, пониманию, что не ты один на земле такой, какой ты есть, есть и другие, на тебя не похожие. Им тоже жить надо. Когда эта мысль в книге — это одно, а когда ты ее, эту идею, рядом видишь и прикурить можешь вот сейчас и у турка, и у нетурка — это совсем другое.

Конечно, стоило огоньку вспыхнуть — все наши привычки и традиции дыбом вставали, как у пса шерсть...

Легко, ох, легко хватались мы за ятаганы да за ружья — и лилась кровь правоверного и того, кто крестится! Особенно когда твоя земля, потом политая, или твой дом — под угрозой. Но, опять же, ни он, мой сосед, ни я не начинали разделов и переделов, насколько я помню сам, да отцы нам рассказывали... Вся эта кухня махинаций, перекройки бедной нашей многострадальной земли начиналась далеко от моего селения... В столицах европейских государств. Там решалось, кому завтра сверху быть — Осману или Ивану... Когда выгодно было, Осман ближе оказывался, про веру тогда помалкивали, оправдание всегда найдется... Тут все были одинаковы: и Австрия, и Англия, и Сербия, и Болгария, и Россия. На кого выгодней, на того и ставили. Правительства на Балканах тасовались всегда — как карты в игре Лондона, Порты, России, Вены... Ну, это я отвлекся. Так вот, было, говорю, у меня три брата. Старший пошел в пандуры — так назывались местные полицейские, которых власти стали набирать и обучать в Мостаре. Второй вынужден был уже против воли пойти на строительство железной дороги. Остались у отца мы с братом Али. На нас легла вся тяжесть работы на винограднике. У нас был большой виноградник. Мы делали вино и продавали его в Мостаре.

Старший брат мой сбежал в Черногорию. Тогда было восстание пандуров и мой брат в нем участвовал. Я и родился, говорят, оттого, что мать испугалась, увидев в нашем саду двух австрийцев с ружьями, которые вели кого-то к дому. Она решила, что это Салиха (так звали старшего брата) поймали и ведут, чтобы убить на ее глазах. Такие случаи бывали.

Но это был не Салих, а его друг, который был пойман в горах, когда пытался пробраться в село ночью. Он был, рассказывали, измученный, окровавленный, потерявший речь, только мычал. Его привели к нашему дому, потому что думали, что это Салих. Когда мать закричала и начались роды, солдаты растерялись, парень этот выпрыгнул из окна, началась стрельба. Отец мой был на винограднике. Услышав выстрелы, он побежал с мотыгой наперерез парню, так как видел, что он выпрыгнул из окна. Он слышал выстрелы, слышал крик матери и в ярости свалил парня ударом мотыги, тот только хрипел и смотрел на отца безумными глазами, слова застряли у него где-то в горле... Австрийцы подбежали к ним, когда отец уже стоял

на коленях перед парнем,— он узнал его, соседа, и, потрясенный убийством (как только он увидел солдат, он понял все), отец долго не мог прийти в себя.

Друг Салиха был серб. Его отец был другом моему отцу. Австрийцы, желая наказать нас чужими руками за бунт Салиха, сказали, что убийца — Мустафа, мой отец. Когда шнур поджигают, не знают, кто поджег,— знают, что огонь может достать твою крышу. Так было и сейчас. Братья парня подстерегли второго моего брата, Меджеда, когда он приехал домой из Мостара, и убили его ножом в самое сердце. Мне тогда исполнился год. И в этом же году пытались поджечь наш дом. Но тут вышел новый закон о воинской повинности,— до этого у нас в Боснии не было армии, а австрийцы решили распространить и на нас законы империи. И вот братья наших врагов попали в армию. Стало спокойнее, так как старый серб, их отец, нас не преследовал. Он только переходил на другую сторону реки, когда шел на свое поле, чтоб не встречаться с нами, и опускал голову, если случалось встретиться с кем-либо из нас. При этом он хранил молчание. Нельзя было понять ни что он думает, ни почему не пытается мстить нам.

Жизнь продолжалась, раны затягивались. Старший мой брат, Салих, появился в Сараеве. От него пришло письмо. Мне было тогда лет восемь, а брату Али — десять. Он уже сам ездил продавать вино в Мостар. Решили, что Салиху в село ехать нельзя, а встретятся они с Али в Мостаре.

Возвратился Али какой-то странный. Как ни пытался у него узнать подробности отец, толку было мало. Он даже не мог рассказать, какой теперь наш Салих. Только расширял и без того большие черные свои глаза и качал головой. Мы поняли только, что Салиха «подменили». Одет не по-нашему, как австрияк, читает книги, говорит о том, что наступил век «разума», что меня надо учить в гимназии на учителя, что учитель — самая благородная профессия. Что убитый отцом по недоразумению друг его серб был его «кровным братом», что они в Черногории по очереди выносили друг друга после ранений, что в Сараеве он, Салих, собирает верных людей, студентов, и другую молодежь, что у них есть оружие, что надо объединяться всем, и сербам, и мусульманам, против австрияков за свободу и «конституцию»...

Отец качал головой в потемневшей от пота феске и курил длинную свою трубку. Мать плакала и говорила, что его в детстве сглазила «вила», то есть неретвинская русалка. Никто ничего не понимал. Отец осторожно осведомился у Али, не видел ли он около Салиха какой-нибудь женщины. Нет, Али не мог видеть в Мостаре никого с Салихом, он ведь приехал туда ненадолго и жил в гостинице. Но дружит тот с неверными, читает их книги и не молился в час, когда кричал муэдзин с мечети.

В 1914 году, когда Гаврила Принцип стрелял в Франца-Фердинанда, начались повальные аресты среди молодежи Сараева. Салиха поймали где-то на дороге, судили и отправили в тюрьму. Но ему удалось бежать в то село, в котором жила наша сестра.

Уже в первые месяцы войны между Сербией и Австро-Венгрией в наших краях стали брать заложников. В их число попал и старик серб, бывший друг, а ныне враг нашей семьи. Дело в том, что оба его сына перебежали к сербам в первом же бою.

Местные власти знали о нашей вражде и предложили отцу присоединить владения нашего соседа. Но отец отказался. Он не хотел нагружать свою совесть, и без того болевшую ночами, еще одним грузом. Имущество нашего соседа было конфисковано.

В это время на нашу семью обрушилось сразу два несчастья. Из села, куда на белом коне была увезена наша сестра, пришла горькая весть: муж ее, фанатичный мусульманин, «легионаш» (так называли в те годы добровольцев, членов полувоенной мусульманской организации «мстителей»), узнав, что сестра прячет Салиха, который вместе с другими членами «Младой Боснии» был участником революционного заговора в пользу Сербии, хотел убить Салиха, но сестра закрыла его своим телом. Салих тяжело ранил убийцу сестры и ушел в горы.

А на следующий день после этой вести, сразившей мать, забрали в армию Али. С тех пор мы ничего не слышали о нем. Он пропал без вести.

Когда в России началась революция, в лесистых горах возле нашего села прятались сотни «зеленых» — дезертиров распадавшейся армии австро-венгерской монархии. Однажды ночью с гор спустились заросшие и совсем опустившиеся люди с черно-желтыми кокардами на фуражках. Они постучали в ставень, и когда отец впустил их в



дом, в одном из них он узнал того солдата, который охотился за другом нашего Салиха в тот день, когда мне суждено было появиться на свет. Он был словак. Мне было уже семнадцать лет, и я впервые услышал историю своего рождения. Отец был стар, и слезы то и дело наворачивались ему на глаза. Мы сидели вокруг низкого стола и пили свежую ракию из слив. Мотыльки летели на огонь лампы и гибли. Черный, заросший кадык словака дергался, и в горле его что-то булькало. Остальные солдаты, разморенные после еды и ракии, спали, а отец и словак все смотрели друг на друга и вспоминали тот день, когда отец бежал с поднятой мотыгой, когда мать, дико вскрикнув, упала на пол, когда бедный парень пытался защититься от занесенной мотыги и не мог вымолвить слова, когда словак бежал через сад за беглецом и в ужасе думал о том, что его расстреляют, даже представил, рассказывал он, как его выводят на плац перед строем под стук барабана... В краткие мгновения погони, говорил он потом, он видел себя как бы со стороны, но отчетливо представил лицо матери, крестьянки из горного села в Татрах, в белом платке, повязанном под подбородком...

Отец мой был совсем одинок, несчастья надломили его. И теперь, куря трубку, он смотрел на словака слезящимися добрыми глазами. В последнее время так смотрел он на всех людей. Он никого не судил, не возмущался, только пристально, наморщив лоб, всматривался в глаза человека, как будто искал всюду ответа на свой вопрос о том, почему люди не могут жить в мире даже со своими соседями... Терпимость отца удивляла мусульман нашего селения. Сначала они возмущались, потом махнули рукой. Отец перестал существовать для них, они оттолкнули его не то чтобы с презрением, но с недоумением и равнодушием.

После того, как Али ушел в армию, отец часто говорил со мною о том, что я должен читать книги и учиться. Он приносил мне их от муфтия, едва ли не единственного человека, с которым отец сохранил какие-то отношения. Они говорили о смысле жизни, о вере, о достоинстве человека, и мне иногда казалось, что муфтий сам переживал какой-то кризис, что ему нужно было в разговорах с отцом не укрепиться в вере, а подтвердить догадку, что в мире рушится идея неколебимой веры и что неизвестно что придет ей на смену. Это хоть немного оправдывало

муфтия в собственных глазах. Он стал сомневаться во всем. Стал перечитывать суры Корана, пытаясь найти в них высший, доселе не ведомый ему смысл. Но мудрость, в которую он просто верил и потому она представлялась незыблемой в своей вечной непререкаемости, не была теперь притягательна, могуча, она не давала устойчивости его мыслям обо всем, что творилось вокруг. Жизнь спорила с сурами Корана — тихо, без нажима, скромно, почитительно. Но достаточно твердо и, главное, убедительно. А так жить было нельзя. По крайней мере ему, муфтию.

Но так жить не мог и отец. Теперь я думаю, что вообще человек, если он хоть над чем-то задумывается, — так, пусто, без веры, жить не может...

Когда отслужил Салих (а он попал в плен к русским, а затем в составе Второй добровольческой дивизии сербской армии попал в Салоники, там схватился в диспуте с сербом-националистом, был арестован и бежал, боясь суда), мы с ним уговорили отца, — а его теперь легко было уговорить, он стал пассивен, как женщина, — переехать в Сараево. Мы продали нашу землю, все, что оставалось от движимого имущества, простились с домом и на рассвете в августе 1918 года двинулись в незнакомые нам края... Причин для этого было немало. Но главная — разруха, голод, бесчинства военных властей, невозможность вести хозяйство, неурожай. Последнее время я вообще скрывался, так как меня могли призвать в армию. В условиях голода и неразберихи бесконечно сменяемых властей, мостарских и местных, обострились отношения между православными и мусульманами. Отца теребили единоверцы, требовали активных действий, но он молчал и уклонялся. Дальше так продолжаться не могло. Наконец, опасно было и присутствие в знакомых местах Салиха — он не скрывал своих социалистических идей. Люди косились на нас, назревал конфликт с властями.

Но самый большой сюрприз ждал нас в Сараево. Салих ничего не сказал нам о том, куда мы приедем, а оказалось, что в большом доме на горе, откуда был виден весь город, хозяином был... Георгий, один из двух братьев, убивших моего второго брата. Когда мы увидели его, мать закричала проклятья, отец побледнел и прислонился к стене, я просто растерялся и смотрел на Салиха. А он грустно улыбался и стоял... обняв за плечи огромного мрачного серба.

Сколько себя помнить буду, не забуду, наверное, ту минуту.

Потом все объяснилось. Второй брат серба, тот, который убил нашего Меджеда, навсегда порвал с Георгием. И случилось это еще на острове Корфу, где братья-сербы были офицерами эвакуированной туда сербской части, после разгрома ее и отступления через Албанию. Убийца Меджеда был великосербским шовинистом, яростно ненавидевшим не только мусульман, но и хорватов, и словенцев, и влахов. А Георгий, близко сошедшийся с социалистами, с русскими революционерами, мечтал о единой свободной Югославии. В тайном комитете, который существовал в армии на острове Корфу, Георгий поддерживал связь с эмигрантскими кругами так называемого Югославянского комитета в Лондоне. Там, на Корфу, Георгий встретился с Салихом. Он рассказал ему о трагедии, разыгравшейся в нашем селении, о горе своего и нашего отца. Они проговорили всю ночь. А утром Георгий, боясь, как бы Салих все-таки не наделал глупостей, предложил помочь ему переправиться в Салоники с очередным эшелоном. Салих дал слово, что уедет, но уже в Салониках неосторожно вел себя и, почувствовав в речи одного серба-офицера знакомые нотки ненависти к мусульманской части добровольцев, бросился на него с кулаками. Офицер постарался придать этому инциденту нужный характер, и Салиху грозил полевой суд. С трудом он бежал...

И вот теперь мы поселились в доме Георгия. Сначала было трудно даже мне, не говоря уже о матери. Она скоро слегла, не брала еды, не пила и угасла. Отец молчал, как всегда. Не знаю, что ему было тяжелей — жить в доме кровного врага или потерять вообще родную землю под ногами... В городе он не приживался.

Прошло много лет...

Отец мой похоронен на мусульманском кладбище в Сараеве. Салих погиб в партизанском отряде. Героем. И знаете, где? На перевале, в часе ходьбы от селения, где сестра наша спасла ему жизнь.

Я тоже воевал в наших местах с немцами. Видел Тито. Вот так — вот он, а вот я...

...Старик улыбается воспоминаниям. Он устал от рассказа. За все время я ни разу не перебил его вопросом. Теперь спросил:

— А как сложилась ваша жизнь?

— Обыкновенно,— просто отвечает он,— обыкновенно. Учился в Загребе, Граце. Женился на австриячке,— старик лукаво улыбается,— живем мирно, не воюем. Внуки мои не знают, что такое хорват, а что такое серб или мусульманин. Они знают только, что надо быть человеком. Они любят свою родину, как я ее любил и люблю... нашу Югославию.

Он сказал это просто, скромно, но с гордостью. Это я почувствовал.

...Перронный фонарь все так же раскачивает ветер. Дождь прекратился совсем. Пока я писал, на часах стрелка переместилась еще на полкруга. Три часа, как мы стоим на промежуточной станции. Состав несколько раз дергался, что-то отцепляли или прицепляли. Девушки еще раз и так же молча и с достоинством обнесли нас пахучим, горячим кофе. Тихо. Я закрываю глаза. Рассказ моего случайного спутника оживает перед глазами.

Да, видимо, старик прав, судьбы людские лучше передают смысл тех или иных отвлеченных проблем жизни.

*3 сентября*

Поезд наш был в Сараеве в два часа ночи. Я прошел через пустой холодный перрон и спустился по переходу в вокзал. В таком же пустынном, гулком зале, мягко освещенные плафонами потолка, стояли в самом центре два человека. Один из них быстро пошел мне навстречу. Он, улыбаясь, поправлял очки.

Это был Миодраг Богичевич, известный боснийский критик, общественный деятель, редактор журнала «Израз». Мы познакомились в Москве, в редакции журнала «Вопросы литературы», но уже встречались и в Сараеве, когда я приезжал туда туристом. Богичевич, как и Саша Флакер, настоящий интеллигент, типичный интеллигент. Я бы затруднился дать этому своему пониманию толковую формулу. Скорее я чувствую, чем могу определить дефинициями, что я вкладываю в слово «интеллигент». Кроме знаний, понимания жизни и человека, такта, духовности для меня неуловимо присутствует тут еще одно качество, которое можно было бы определить, пожалуй, как естественность поведения. Многие умные, известные, талантливые люди нередко бывают манерными, подчерк-

пую аристократичными или, напротив, развязными, рисующимися своей «доступностью», простотой. Натужная непосредственность — то же выламывание, что и дающее о себе знать очерчивание вокруг собственной персоны круга особо посвященных. Такт у интеллигентного человека не продукт воспитания, выдержки, расчета. Такт — свойство личности, производное гармоничного, чуткого восприятия мира. Интеллигентный человек не может быть не простым. Потому что простота — верховное качество самоуважения и достоинства человека. Простота — единственная возможность оставаться самим собой.

Миодраг строен, среднего роста, густые черные волосы зачесаны назад, у него живые, кажется, карие глаза под толстыми стеклами очков и толстые губы, которые часто растягивает добрая, чуть застенчивая улыбка. При этом он опускает ресницы.

Второй встречающий — совсем молодой красивый человек, поэт по имени Стеван Тонтич. С ним мы познакомились неделю назад в Струге. Он оргсекретарь Боснийского союза писателей. Богичевич, оказывается, председатель. Вот и все начальство.

Итак, как у нас бы сказали, «аппарат» союза писателей Боснии и Герцеговины ведет к машине. Шофер спит так крепко, что Богичевич стучит в стекло долго и методически. Очень холодная ночь. Тонтич втягивает голову в плечи под пронизывающим, сырым ветром. Он вообще приехал без плаща. Ведь поезд опаздывал серьезно, а уезжать они не хотели. Ничего не было известно о судьбе поезда. Ничего они не знали, пока я не рассказал (бегло и без подробностей) и о происшествии.

Машина летит по улицам Сараева. Странное ощущение — совершенно вымерший город и ярко освещенные витрины с застывшими манекенами, глаза которых поблескивают отраженным светом фар. Портал костела, поворот направо, знакомая улица, ведущая к реке Миляцке, еще поворот. Здесь, устроив меня в отель «Европа», они прощаются до утра.

Сегодня я проснулся рано. На карнизе громко ворковали голуби, солнце пробивалось сквозь штору и маленький квадратный номер голубел. Синеватый воздух дрожал у потолка, против открытой форточки.

Ключ от номера был угрожающих размеров, потертый, медный, какими, наверное, запирали когда-то врата крепостей.

На улице все сверкало от солнца. Ярче всего — медные подставки на ящиках чистильщиков обуви. Достаточно было мне секунду помедлить, глядя на них и шурясь, как судьба моя была решена. Три голоса одновременно закричали мне, и каждый чистильщик ударил щеткой по ящику, и другой рукой махнул мне. Я, покорно улыбаясь, подошел к ближайшему и поставил ногу на надраенный медный выступ в форме следа остроносого ботинка. Но не успел усатый и строгий маэстро в феске взмахнуть щетками, как за моей спиной загудел гудок автобуса и я попятился, припрыгивая на одной ноге, так как вторую испуганно ухватил чистильщик. Огромный автобус фирмы «Путник» вплитирку к нам остановился у подъезда. Теперь прохожие, которых было уже с утра много, так как прямо за гостиницей гудел базар, стали протискиваться между моей спиной и автобусом, ругая попеременно то меня, то автобус. Я извивался и делал сложные па, но маэстро, отругиваясь от прохожих, не желал торопиться. Он, вдохновенно сопя, навел на мою правую туфлю лоск и шик. Казалось, это парикмахер, а не чистильщик, а туфля — какой-нибудь капризный модник. Маэстро брызгал на нее белой жидкостью, высоко подымая кисть с далеко отставленным мизинцем и, отклонившись в сторону и прищурившись, не спеша любовался тем, как капли молочной жидкости, дрожа, располагаются на ослепительном носке туфли. Когда меня сильно толкали и я почти падал на чистильщика, он огорченно говорил мне, что я порчу ему всю работу. Вначале я пытался смеяться и разводил руками перед каждым прохожим, который, прежде чем протиснуться в узком проходе, обязательно вопросительно смотрел на меня, как бы говорил взглядом своим: «И тебе не стыдно, брат?» Но потом мне все это надоело, я выглядел со стороны смешно и нелепо со своими угодливыми телодвижениями, которые непрерывно следовали одно за другим.

— Кончай! — почти простонал я. — Хватит. Отличная работа.

Маэстро посмотрел на меня с сожалением, как на неуча, и не удостоил ответом. Он знал толк в работе и явно не видел серьезной причины для халтуры. Теперь он мас-

сировал задник туфли черными пальцами с бело-красными разводами и внимательно, не отрываясь, следил за своими движениями.

— Слушай, дорогой мой, я опаздываю...

Наконец обе туфли засверкали и я пошел по переулку. Он вывел меня к Милячке. Река была вроде Яузы, маленькая и мутная. Она взята в камень и очерчена парাপетом.

На той стороне Милячки был парк с высокими старыми деревьями. В прошлый раз я гулял в нем лунной ночью, было лето и весь парк жил своей молодой скамеечной жизнью. Парочки сидят здесь лицами в разные стороны и полуповернувшись друг к другу. Или я давно не сидел на почных скамейках и успел запамятовать, или это новшество в духе НТР. Ночь в остальном была как ночь. И даже боснийско-герцеговинские соловьи пели как наши курские...

Помнится, я тогда заторопился и, выйдя из парка, пошел по набережной, где светились в ночь открытыми дверями многочисленные кофейные и чебуречные. Запахи кофе, чеснока и жженого масла развеивались холодными струями ветра с гор, смешивались с прекрасным и грустным запахом олеандров.

Иногда маленькие комнатки с распахнутыми прямо на тротуар дверями оказывались парикмахерскими. Темные зеркала, простенький стул. И много разных цветных картинок на беленых стенах. Обыкновенно никто не брился и не стригся в таких местах. За маленьким круглым столиком в углу сидели хозяин в феске и безрукавке на белой рубашке и кто-нибудь из его знакомых и пили обязательный кофе. Или играли в нарды за низким столиком.

Удивительно уютны такие малюсенькие кофейни, парикмахерские, «винарни» ночью! На их далеко видный свет сходятся из темного городского сплетения кривых и наклонных улочек никогда, кажется, не спящие люди. Южная ночь дышит, бодрствует, поет тихие, вкрадчивые песни Востока. Над высоким, похожим на ракету, минаретом висит мусульманский серпик луны. Где-то сонно лают собаки. На склоне горы, окружающей Сараево таким же полумесяцем, какой смотрит с неба, мер-

цают огни. Там редкий автомобиль похож на падающую звезду...

Ночью Сараево кажется огромным городом. Вообще я заметил, что ночь обладает одним весьма обнадеживающим человека качеством: все в ней кажется более значительным, важным, более красивым и духовным... Ночью, когда оживает звездное небо и начинает кружиться голова от его захватывающего простора и величия, человек одновременно испытывает отрезвляющее и опьяняющее чувство. Он начинает ощущать божественный холодок по спине от спокойной грандиозности того, что существует помимо его в общем-то мелочных и суетных забот, бескрайность и вечность становятся осязаемыми, приближаются к человеку, показывая его действительное место, его масштаб в мире природы. С другой стороны, никогда так не хочется верить в счастье, в силы свои, в исполнение самых дерзких и трудноисполнимых замыслов своих, как ночью. Собственно, человек и живет-то по-настоящему только тогда, когда замышляет нечто выходящее за рамки автоматического существования. Я чуть было не попался в ловушку собственной логики: едва не сказал себе, что подлинная жизнь протекает ночью... Увы, тогда мы ничего уж вовсе путного не сделали бы на земле, ну разве что сумели бы продлить многострадальный род человеческий... Но согласитесь со мной — разве ночью, наедине с собой, мы с вами не лучше говорим речи и пишем книги, чем наяву, суровым и многоопасным днем? Разве женщины не красивее и не божественным огнем светятся их глаза ночью? Разве не ночью приходит нам однажды мысль о напрасно прожитой жизни или не ночью же жжет стыд и раскаяние — да так, что, ей-богу, никогда это не бывает так безысходно днем?.. Ночью ты попадаешь в некое царство полнейшей и бескрайнейшей свободы духа. Тебе все по плечу. Есть что-то родственное между этим состоянием ночного бодрствования и творчеством. Вот, наверное, почему под покровом ночи рождаются симфонии, романы, политические перевороты, жены уходят от мужей, а дети решают, что им уже тесно под родительским кровом... Ночью, когда мне было десять лет, похолодев от страха и росы, я откапывал в саду «неприкосновенный запас» (галеты, соль, спички, баклага, сахар, вяленая барабулька), чтобы вместе с приятелем Сашей Сторчевым плыть к



Азорским островам... Правда, эту барабульку мы съели не на Азорских островах. А преимущество ночи перед днем выявилось несколько с неожиданной стороны: днем я лично не мог сидеть на стуле примерно с неделю... И все-таки да здравствует ночь!

Летней ночью я набрел на сараевского философа-албанца, который угощал меня восточными сладостями и беседой о смысле жизни. Он был очень толстый, и глаза его почти не открывались. Но когда раздавался звоночек и кто-то входил в его крохотную, разделенную ширмочкой надвое комнатку, насквозь пропахшую ванилином, мятой, кофе и кремами, он вскакивал, как на пружинах, и тело его долго колыхалось, словно тесто в большой белой кастрюле, из которой он, подобно магу и волшебнику, вытаскивал ложкой на длинной ручке тянущееся тесто. Это тесто он в воздухе перекручивал, подхватывал на лету и окунал в масло. Через некоторое время на блюде дымилась красивая штука вроде той, которую называют у нас «хворостом». Все делалось на глазах нисколько не изумленной публики. Заходили к нему и заспанные дети,— впечатление было такое, что они только что проснулись и среди ночи захотели подкрепиться, чтобы снова свалиться и досмотреть интересный сон в цветных картинках с продолжением. Хозяин молча запускал другую длинную ложку в ведра, обложенные льдом, и доставал мороженое — ореховое и айвовое, серое и желтое. Дети выходили безмолвно, путаясь в недосмотренных снах и пестрых шароварах.

Албанца звали Лазарь. Он поставил передо мной стакан холодной воды и блюдо с маленькими, но зверски сладкими восточными сладостями. Казалось, что все прилипает и тянется друг к другу вокруг за сто метров — так это было медово и сирописто. Лазарь смотрел на меня сквозь прозрачные, розовые от огня, падавшего на его лицо от висячей лампы, веки и сложив толстые, короткие пальцы на верхушке живота. Внутри Лазаря что-то бродило. Невидимые миру дрожжи подымали сначала хрип в его груди, потом свист в горле, а все это заканчивалось впечатлением, что гора родила мышь: голос у Лазаря был такой тоненький, что я впервые посмотрел куда-то за ширму, думая, что кто-то из его детей (а их, говорят, у него

пятеро, мал мала меньше) зовет папочку. Нет, это был его собственный голос. Лазарь говорил высоким дискантом и любил поговорить.

Помню, что все началось как раз с проблемы ночи как таковой. Я сказал, что ночь сегодня прекрасна. И сказал, как каждый догадается, без особой надобности. Просто это то первое, что приходит в голову не очень находчивым людям, таким, как я, в условиях, когда за окном не день и по этой причине у них начисто выбит такой могучий козырь, как фраза: «Какой сегодня хороший день».

Лазарь посмотрел на меня сквозь веки и ответил без всякого юмора, что ему приятно это слышать, потому что сегодня действительно исключительная, можно сказать, редкая ночь. Одна ночь на сто, а может быть, и на все сто пятьдесят лет. Он, Лазарь, конечно, не может поручиться, что это такая ночь, какая была в 1909 году, когда что-то там такое особенное было во взаимоотношениях Скорпиона, Козерога и Близнецов. Тут я полный профан, поэтому не запомнил, что же такое поразило Лазаря в ночном небе в том достопамятном 1909 году, но одно было несомненно: ночь сегодня и в самом деле была незаурядная, не просто бог весть какая, každоночная ночь, а выдающаяся ночь.

Лазарь распрямил могучие плечи и вздохнул. Воздуха в кафе было сначала мало, как в барокамере, а потом много, как в финской бане, когда уже и тебе самому нет места. Сразу заработал в форточке вмонтированный там вентилятор, открылась как бы сама собою дверь на улицу. Хотя дверь у Лазаря стеклянная, а так много поколений, видимо, залоснило ее пальцами, сладкими от восточных сладостей, что мир виден сквозь нее излишне задумчивым и туманным. Сейчас нам открылось звездное небо, край крыши противоположного низенького дома и кот, выгнувший спину над черепицей.

— Что такое время? — спросил меня Лазарь без обиняков.

— Форма существования материи, — машинально отозвался я, так как не знал, к чему он клонит.

— Августин считал, что понятие времени начинается с сотворения мира. До этого «раньше» не было. Когда мир создан, — продолжал Лазарь тихим и тоненьким голосом, как будто жаловался мне на Августина, — время потекло, как кофе из турочки, но его струя прерывиста. Ночью вре-

мя идет не так, как днем. Вот почему ночью все не такое. Между ночью и днем бывают минуты или даже секунды, когда время останавливается совсем. Тогда все в природе замирает. Птицы не кричат, а стонут. Муравьи остаются на том месте, где их застала минута перехода. Вы видели когда-нибудь шторм на закате? Его не бывает. В эту минуту не может умереть человек. Даже если началась агония. Он притихает, как притихает вся природа. А потом кофе продолжает литься... Так вот струя времени набирает и теряет скорость. Когда мы говорим, что земля и космос связаны физическими законами, это правильно, но это не объяснение процесса живого времени. Есть два вида времени — живое, мое, ваше, его — каждого: время мышления, жизни, наших духовных процессов... и есть — правильно! — время как категория физических законов, материи. Да, это так. Истинная жизнь человека протекает в сочетании двух этих времен. И момент совпадения их и некоторого момента, когда они идут в ногу,—его-то и улавливают люди одаренные в какой-нибудь деятельности, его чувствовали астрологи всех времен и на этом основали законы предвидения! — этот момент кратковременной синхронности рождал великие открытия...

Наверное, я хлопал глазами слишком откровенно, потому что Лазарь сказал мне:

— Вы не пугайтесь, тут никакой мистики нет. Есть попытка обосновать китайскую философию открытиями современной физики.

— Китайская философия меня меньше всего интересует,— усмехнулся я.— Пусть в это играют кто помоложе...

— Я имею в виду философию дзэн.— Лазарь сокрушенно вздохнул, и опять заработал вентилятор, и входная дверь, к тому времени возвратившаяся на свое место, со звоном, отошла в положение «открыто». — Я учил философию в университете. Поскольку эта тема для вас представляет некоторую трудность, перейдем к европейским мыслителям. Фома Аквинский полагал, что истинное разумение мгновенно. Постепенное же, доказательное — бессильно. Возьмем Фихте. Он также считал, что художник ближе к природе вещей именно потому, что язык искусства — элементарный язык человеческого общения. Вдумайтесь в то, что говорит Фома Аквинский: просветление, вдохновение, наконец — озарение истины

есть не процесс, а мгновение! Время тут не участвует. Но как же мы с вами,— Лазарь ткнул меня толстым, коротким пальцем в лоб,— материалисты, можем допустить вакуум физического пространства, вакуум времени?

Лазарь хитро улыбался и согнутым пальцем манил меня к себе, что, надо полагать, следовало понимать как приглашение к ответу. Но поскольку я безмолвствовал, албанский Спиноза вздохнул со всеми вытекающими звуками и последствиями физического порядка (форточка, вентилятор, дверь со звоночком) и закончил свою мысль:

— Искусство, футурология, предвидение, открытия в духовной сфере, начало научных открытий в форме гипотез суть вневременные явления. Сложная дифференциальная система импульсов проводит предварительную работу в сознании, в подкорке, именно в те моменты, когда живое время набирает свою собственную скорость!

Лазарь засмеялся тоненьким смехом, заколыхался и даже хлопнул в ладошки, издав звук двух пуховых подушек, столкнувшихся при взбивании постели. Он торжествовал, весь светился, и мне ничего не оставалось, как изобразить на лице крайнюю степень уважения к его оригинальной концепции. Но время, то, сермяжное, нам, неофитам, более понятное и осязаемое как зевота, говорило, что до утра не так уж долго, и я, расплатившись с сияющим философом-кондитером, ушел спать.

Воспоминания о ночном Сараеве были бы не полны, если бы я забыл про первое свидание с мостом Гаврилы Принципа. Этот мост я видел сейчас, в ярком свете утра, совсем не таким, как тогда, летом, когда я набрел на него, возвращаясь от Лазаря. Нет, верно, пожалуй, что ночью мы замахиваемся куда сильнее, чем бьем днем... Тогда ночь была вся усыпана звездами. Их было так много в высоком небе Сараева, что казалось — Лазарь, проверяя свою гипотезу, швырнул в месяц горстью мака, которым посыпал свои булочки, и они приклеились, эти маковки, миллионы, мириады маковых зернышек! А вода Миляцки казалась темной, глубокой, и в ней тоже плавали звезды. На том берегу, у моста, свешивались в реку ивы. Я стоял на углу дома, возле плиты, в которую навечно впечатаны следы ног Гаврилы Принципа, одна чуть вкось (напрягся, готовясь стрелять и бежать...). И я, помню, представил

все до подробностей, стоя на пустынном углу у самого начала моста, всматриваясь в перспективу набережной, наполовину скрытой выступом углового дома, в уходящий в ночь мост, который представлялся мне тогда большим мостом над большой рекой... Сейчас, днем, я поразился, как все выглядело иначе: мост был узенький и маленький, не больше тех парковых, что висят обычно, переброшенные через ручьи и прудики, река мелкая и узкая, следы Гаврилы Принципа и те были маленькие, как будто покушался не мужчина, дерзкий и отважный, а мальчик-проказник на спор с такими же мальчишками. Мне даже стало грустно.

Сохранилась фотография: арест Гаврилы Принципа 28 июня 1914 года. Под раскидистым шатром деревьев на той стороне Миляцки стоит дама в белом платье, в широкополой шляпе, слева на узком тротуарчике моста женщины с зонтиками, на переднем плане посередине моста — Гаврила Принцип в короткой, распахнутой ветром курточке. Он заканчивает бег — с обеих сторон его нагоняют военные в австрийской форме из свиты кронпринца, но их уже опередили штатские, они хватают юношу за руки — справа человек в феске и европейском костюме, слева некто в белом кепи с большим козырьком. Момент истории. Остановившееся время по концепции сладкого булочника Лазаря. Фото остановило историю, оставив на всеобщее обозрение случайных лиц... Собственно говоря, Гаврила Принцип тоже был случайным лицом. Не он развязал первую мировую войну. И не здесь, на тихой улочке, у маленького моста, история совершила новый крутой поворот, каких было много и после, и до выстрела, дымок которого быстро растаял среди пряных запахов того летнего дня, когда все кофейни и все шашлычные Сараева ждали своих праздничных клиентов по случаю прибытия высокой особы. Не надеясь на стечение обстоятельств, благоприятное для запланированной провокации, идя на провокацию, что называется, с поднятым забралом, австрийская военщина объявила о проведении больших маневров австро-венгерской армии именно в Видов день. Это больно ударило по самолюбию сербов. Ведь этот день траура, отмечавшийся ежегодно по случаю поражения на Косовом поле 15 июня 1389 года, сербы, на гребне побед

в балканских войнах 1912—1913 годов, готовились отпраздновать особенно торжественно и не как день траура, а как день победы. Кронпринц хотел напомнить сербам, что торжествовать рано. «Младая Босния», молодежная организация террористов, поддержанных сербской военной группой «Черная рука», взяла на себя инициативу сорвать приезд кронпринца. Молодежь в это время вообще рвалась к власти, ей казалось, что время стариков, нерешительных и неповоротливых, подходило к концу. Незадолго до выстрела Принципа короля Петра сменил юный Александр, честолубивый, с дальними планами на расширение государства, превращения его в «великую Сербию». Это он, манипулируя то «Черной рукой», то «Белой рукой», передушил своих противников, уже на греческой земле, когда разгромленная сербская армия фактически была в эмиграции...

Да, это было горячее, молодое время. Много лет спустя Иво Андрич, сам член «Младой Боснии», отсидевший годы в тюрьме после покушения на Франца-Фердинанда, вспоминал, какими смутными и путанными концепциями руководствовалась эта пламенная молодежь. Ей в подавляющем числе не терпелось увидеть национальную победу, а справедливость, социальное равенство и прочие блага мыслились как производное «великой Сербии», сбросившей ярмо турецкой и австро-венгерской деспотии. И только некоторые задумывались над тем, не перенесут ли в новую государственность угнетенные свою рабскую психологию, а угнетатели — свои паразитические, реакционные инстинкты, антиобщественное мышление. Сможет ли этот скачок полуфеодалного балканского крестьянина в новое общество социальной справедливости привести к успеху, если в крови у него сидит лишь один завет Карагеоргия: «Пусть каждый убьет своего господина!»... Убьет-то убьет. А дальше?..

Я пошел, ориентируясь на мечеть, и вскоре, как и предполагал, вышел к рынку. Его морской шум доносился издали. В шуме базара есть что-то живительное, и потому он еще раз напоминает море. Чем ближе было это торжище жизни и красок, тем чаще встречались люди, торопящиеся туда по кривым улочкам, мощенным, наверное, еще при турках. Постепенно базар показывал свои окраины.

То тут, то там попадались островки нетерпеливой торговли. Не доходя до площади, уже сидели на корточках продавцы мелкой рухляди, ковриков, узкогорлых медных кувшинов, живых индеек, сухофруктов, прошлогодних номеров «Плейбоя», четок, чувяк, тельняшек, бананов, перца, чеснока, замков всех размеров, птиц в проволочных сетках и деревянных клетках... Тут я остановился. Целый квартал щелканья, щебета, трелей и свиста радостно оглушил меня. Клетки висели на разной высоте, этажами, хозяева сидели под клетками по-турецки, на ковриках. Яркие перья птиц, их гомон создавали атмосферу праздника. Я пошел дальше и увидел целый ряд картинок местных матиссов и ван-гогов. Краски и здесь горели и перекликались. Сюжеты меня заворожили. Тут были и сцены из жизни знойного Востока: пышногрудые красавицы, полужележавшие на шелковых диванах и держащие в перстах голубков. Брови красавиц срastaются над переносьем в одну волнистую линию. Глаза закрыты, как у Лазаря. Ресницы, как стрелы, высыпaющиеся из дырявого колчана, непременно направлены навстречу девятому валу бюста... Среди других сюжетов я бы отметил танцующих баядерок, вездесущих лебедей (только в любвеобильном Сараеве они обязательно целуются), несколько одинаковых, но выполненных в разных тонах, на выбор, Карагеоргиев. Карагеоргии мне понравились. У них был вид Ролана Быкова в роли Бармалея. Усы — те же ресницы красавиц, но решительно поднятые вверх. Были тут и птицы в клетках, в основном напоминающие попугаев, но только по цвету. По телосложению попугаи смахивали на перекормленных кур. Клетки рисовали только черным цветом, очень жирной чертой, в чем, несомненно, парадоксально проявлялась любовь местных художников к ничем не стесненной свободе.

За вернисажем начинался собственно рынок. Посреди площади стоял духан под умилившим меня названием «Ташкент». Там было иссиня-темно от дыма, и войти туда я не рискнул, но заглянул в гостеприимно распахнутую дверь. В углу сидели три человека в среднеазиатских полосатых халатах, чалмах и пили чай из пиал. Дым шел от очага, на котором тут же создавались прекрасные произведения из баранины. У задней стены духана блеяли два кандидата на стол, привязанные к столбику. Мне стало их жаль той лицемерной жалостью человека, когда он

видит отбивную еще в шкуре и с громким голосом. Я поспешил пройти дальше.

В рядах бойко шла торговля. Это был типичный южный базар, где господствовала зелень, овощи, фрукты, мясо. По краям площади лепились маленькие, одноэтажные домики, передняя стена в которых часто отсутствовала, — эта дыра для обозрения закрывается щитом вроде засова в полроста человека. Все содержимое можно видеть и не заходя внутрь.

Тут царство ремесел. Читаю вывески — оригинально нарисованные, в духе Пирсменишвили, картинки и названия: «Златар», «Крояч»... Снова сладости, снова вертел с дымящимися тушками ягнят, поросят, запах окалины и стук молотков, лавки с одеждой, вроде наших «скупок», скобяные лавки, снова «крояч», снова «златар», чайные, винные заведения, часовщик, парикмахер, жаровни с шашлыками, какие-то экзотические сувениры попеременно с западными сигаретами...

Достопримечательность сараевского базара — голубиный плац. Это часть базара, где голубям отдана сравнительно громадная площадь. Они сидят — тысячи — плотной копошащейся массой на низких крышах лавок и на площади вокруг фонтанчика. Крик, клекотанье, постанывание голубей сливаются в сложный равномерный гул. Тут много детей, старух, которые, видимо, на протяжении многих лет кормили голубиное войско у фонтана. И воздух здесь какой-то иной — плотный, душный, со своеобразным запахом.

При выходе с базара увидел сидящих мусульманок в кедах. Они, кеды, были новенькие, голубые с белым, китайские. А мусульманки, закутанные в полинялые ткани, продавали джинсы. Джинсы были что надо — с наклейками — «ли», «луи», «супер райфл». Вокруг джинсов толпились молоденькие покупатели и покупательницы в шортах и огромных модных очках — приезжие, туристы, интеллигенция. Они возмущались, что мусульманки дерут с них три шкуры, что на них нет креста. Креста на них действительно не было. Но им помогал аллах.

По дороге к отелю услышал крик муэдзина. Он кричал, как пел. Над городом висел звук на одной высокой ноте, и протяжное тремоло властно заглушало транзисторы, с которыми ходили по улочкам молодые боснийцы.



Звук муэдзина покорял все другие звуки: гудки автомашин, смех, крики, грохот сгружаемых ящиков, хлопанье дверей — всю симфонию городских звуков и шумов. Голос пророка доносился жителям Сараева по самой мощной волне. Высота!

Я подошел к мечети, главной в городе. Кажется, ее тоже зовут Махам. Также потому, что тут, в Сараеве, всё «Махам». Начиная с кругошатровой бани Махам, построенной знаменитым в Сараеве Гази Хусреф-бегом, богатым мусульманином, который на свои кровные отгрохал Безистан — крытый рынок Сараева, а главное — мечеть Хусреф-бега (Гази Хусрефбегова Джамия), с которой, как с господствующей высоты на фронте, бил сейчас крупнокалиберный тенор муэдзина. Ее построили еще в 1531 году.

Мечеть, самая высокая в городе, окружена высоким каменным забором, в стене которого есть сводчатая ниша, в которой вечно бьется струя фонтанчика. Молящийся почтительно припадает к живой струе, особенно летом, когда к почтительности примешивается и удовольствие.

Сейчас у открытой решетчатой калитки стояли немцы-туристы с таксой. Такса была старая, увешанная медалями, как Гинденбург. Она не хотела идти во двор мечети, хозяева солидным полушепотом просили ее сделать это. Пока немцы препирались с принципиальной таксой, я вошел во двор, и меня приятно поразила чистота каменных плит, затененность двора огромными зелеными орехами и платанами. В центре двора был большой фонтан, в котором вода пела чисто и переливалась светло-зелеными отсветами от листьев склоненной над ним ивы. В углу двора, на стене, я рассмотрел щит с фотографиями, на которых был изображен один и тот же молодой человек с черной аккуратной бородкой, в черной низкой шапочке, вроде тибетейки. Он всюду возвышался на трибуне и внешне, в своем заштанном пиджачке и темной рубашке типа косоворотки, был похож на колхозника, которого просили рассказать, как ему удалось вырастить урожай хлопка со своей молодежной бригадой. Но внешний вид обманчив. Этот гражданин в тибетейке был не кто иной, как известный проповедник. Я тут же подумал, как бы напустить на него Лазаря с его философией дзэн на базе Эйнштейна. Интересно, кто бы кого? Проповедник рядом

с албанским пирожником оказался бы, наверно, хлипким во всех отношениях.

Внутри мечеть Гази Хусреф-бега поражала размерами и роскошью филигранной отделочной работы. На стене висел балкончик со спускающимся с борта ковром. Оттуда, наверно, и проповедовал слуга Магомета. Тут было прохладно, тихо, и шаги раздавались бы под высоким сводом громоподобно, если бы не приглушал их огромный, удивительно красивой работы ковер. При выходе мне вручили за соответствующую мзду набор открыток с видами и ракурсами мечети.

Отсюда я двинулся не прямо в отель, а круговым путем, чтобы посмотреть еще на одно чудо Сараева — Безистан. Это строение ни на что не похоже. Может быть, отдаленное сходство есть у него с Краковским торговым рынком, если его погрузить наполовину, а то и на три четверти под землю и «отредактировать» по фасаду в чисто восточном стиле. Но, кажется, это уже не редакция, а переписка набело? Нет, Безистан надо брать без аналогий. Таким, каков он есть. Снаружи его облепили соты маленьких ячеек — лавок ремесленников. Но здесь они не так бедны и расхристанны, как на городской площади открытого рынка — «Чаршии», как ее здесь называют. Здесь лавки взяты в оправу сводчатых кирпичных, с сохранением фактуры, пристроек от длинного, с множеством входов и выходов строения. Вначале вы попадаете по ступенькам вниз в подвальное помещение. Для этого надо войти в подобие станции метро. Оттуда открывается панорама-анфилада каменных закутков с единым «проспектом», их связывающим. Некоторые закутки ограничены современными стойками, другие открыты для выбора товара, который всюду разложен вдоль стен по полкам, до самого потолка. Каждая секция освещена по центру и в глубине закутков старинными фонарями. В тупике каждой комнаты-секции высокое, в резной металлической решетке окно — в форме узкого восточного сводчатого проема. Сквозь решетку видны щиколотки проходящих. Безистан завален красочными тканями. Горы одеял, нитки, пуговицы, веревки, тюки с платками с бахромой и без, сувениры, огромное количество турочек для кофе самых разных размеров, медные блюда с арабской вязью, кожаные сумки с тиснением, чупаки из сафьяна с загнутыми носами. Через определенное количество сек-

ций — кафе, оччень чистые, с ароматными запахами «высококвалитетного», как здесь говорится, кофе. С официантами в турецких костюмах.

Единственно, чего я еще не охватил из дара Гази Хусреф-бега родному городу, так это бани Махам. Во-первых, утилитарная сторона этого сооружения требовала от меня предварительно хотя бы легкого завтрака. Вчера я, как уже известно, питался подаениями «Красного Креста», а это почти то же, что и духовные подаения ночного полумесяца, — символическая процедура. Меня так и подмывало выяснить у кого-нибудь, не построил ли на моем пути святой мусульманин Гази чего-нибудь похожего на «Махам-ресторан», так как возвращаться в отель было уже поздно — пора по программе быть в издательстве. И только я подумал об этом, как на ближайшей стене увидел крупные слова: «Махам-бар». Я подошел поближе, но то, что я увидел на красочном типографском оттиске, меня повергло в смущение. Оказалось, что знаменитый «Махам-бар» есть заведение ночное. Да, он помещается в не менее знаменитом строении Махам-бани, которое построил на свои средства богатый негоциант Гази и т. п. Но ныне там не смывают грехи, а скорее, наоборот, подготавливают себя к последующему очищению душ. «Махам-бар» — ночной клуб с «программой». Стриптиз повосточному! Два мулата в чалмах и со скрещенными на могучей груди руками. Гибкие, как виноградная лоза, одалиски в зефирных шальварах! Факир на пятнадцать минут! Любовь в садах Семирамиды!..

Твердыми шагами направился я по пути праведному.

— Здравствуй, Изет!

Сарайлич стоит у окна в своем кабинете и склонил к плечу лохматую свою, с сивой сединой голову. Глаза его насмешливы. У него курносый и широкий нос, полные губы и очки, сползающие и остающиеся там, куда они сползли. Он производит впечатление ехидного и ленивого человека. И он всегда говорит резкости.

— Здравствуй, Огнёв! Ты, кстати, Огнев или Огнёв?

— Называй, как тебе нравится или легче.

— Я достаточно знаю русский.

Вот уже и обиделся. Да, его резкость, как я замечал, идет не от нападения, а от готовности к защите. Он вечно

готов к защите. Или его много обижали, или он чересчур обидчив. Видно, и то и другое.

Вспоминаем московских друзей Изета — Иду Марковну Радволину, Женю Винокурова. Говорим о Евтушенко, Слуцком, Вознесенском, многих других. Знает он у нас людей немало и обо всех говорит коротко, но точно. Этот все видит. Представляю, как он выскажется и обо мне. Хмыкаю. Чувствую себя, правду говоря, немного настороженно. Насмешливо улыбаясь, Изет прохаживается по кабинету и по новым лицам, имена которых всплыли в разговоре. Потом резко вдруг обрывает сам себя и подводит меня к шкафам с книгами.

— Вот что мы издаем. Смотри, Огнёв, сколько русской литературы. Антология русской поэзии. Здесь около сорока поэтов. Может, тебе покажется, что мало громких имен? Но мы так и хотели. Тех, кого раньше не переводили. Военное поколение в первую очередь... Вот смотри — «Книга скитаний», Паустовский. Знаешь, Огнёв, плохо шла эта книга. Не знаю, почему. Прекрасный писатель. Мы много переводили русскую критику, но раньше. Больше как пособия для учебы. Деборина, Тынянова, Когана по истории зарубежной литературы... А эта красивая серия массовая. Называется она «Ласточка». Для детей. Идет на всю Югославию. До ста тысяч экземпляров! Ты представляешь, Огнёв! Это же не ваши масштабы страны, а такой тираж!

Мы смотрим прекрасно оформленные книги разных серий. Классика русская и югославская. Современные поэты и рассказчики. Выпускают книги быстро. Издателям не выгодно тянуть — автор может уйти к другому издателю, и если книга хорошая, престиж издательства падает. Пресса ведь следит за всем. Ее не то чтобы побаиваются, — почему ее бояться, если она не решает, а информирует? — но за ней следят и делают выводы. Она — барометр общественного мнения. Вкусов публики, ее запросов.

Руководит «Веселин Маслешей» писатель Ахмет Хроматич, веселый мусульманин, по-моему, человек осторожный, как говорится, себе на уме. Говорят, он здорово ведет дело. Изет с его несговорчивостью и задиристостью с ним как-то ладит.

Спрашиваю Изета о Богичевиче. Нахмурился:

— Это другое издательство. «Светлост». Конкуренты.

Не поймешь — шутит, нет ли?

Рассказываю об издании сборника стихов югославских поэтов. Скоро, говорю, выйдет. Там есть и Сарайлич, в числе семи поэтов разных республик. Против ожидания, Изет не проявляет гордости, что он в числе семи. Принимает как должное.

— А почему вы не издадите отдельным сборником?

— Кого?

— Ну, хотя бы меня.

Как ребенок.

Мне показалось, что он скуповат на улыбку. А, собственно, мы-то с ним знакомы шапочно.

Ухожу с осадком на душе. Ничего такого, определенного Сарайлич не сказал, что бы могло насторожить меня, но ощущение, что он чем-то обижен.

#### *4 сентября*

Проснулся от телефонного звонка. Из Москвы вызвала стенографистка «Литературной газеты». Я передал информацию о Стружских вечерах, написанную еще в Охриде, и хотел было спуститься вниз, как снова раздался звонок телефона. Изет говорил лениво и иронически:

— Огнѐв, если ты не идешь в Махам-бар, приходи ко мне домой.— Он назвал адрес.— И вообще, почему ты пропал?

Мне стало приятно. В его голосе появилась теплота. К его насмешливо-раздраженному тону я начал привыкать. Ответил, что непременно буду.

Погода в Сараеве непостоянна, тучи гнетут небо, потом коротко сияет солнце, с чистого неба моросит светлый, светлый дождик, какой в детстве мы звали «слепым», и оттого, что постоянный фон сумрачен и сер, солнце в Сараеве кажется особенно праздничным, а капельки дождя на чистых витринах трепещут осколками радуги.

Книжные магазины в Сараеве носят название издательств: «Веселин Маслеша», «Светлост», белградские — «Нолит», «Просвета», есть люблянские и загребские. Но в Югославии отличен от нашего. Он многоотраслевой. Внутри в них все примерно одинаково. Книжный магазин Здесь обычно три отчетливо выраженных отдела. Писче-

бумажный (главным образом школьных принадлежностей), собственно книжный и тот, что у нас называется «культтоварами», — здесь можно найти не только гитары, банджо, пластинки, приемники, иногда спортивные товары, но и сигареты, открытки, картины, офорты, журналы на всех языках любого профиля. Я узнал, что особенность этих магазинов еще и в том, что они дают прибыль издательству, которая целиком, за исключением расходов на содержание данного магазина, идет на расширение издательского фонда.

Некоторые предприимчивые издательства имеют иностранные, — не говоря уже — межведомственные, внутри собственной страны, — связи, агентов по снабжению, мастерские по изготовлению... гитар, надувных лодок или вертящихся стульев. Всякий ходовой товар идет в дело. Издательство выступает в виде головного предприятия, но, не имея государственных дотаций, в интересах расширенного воспроизводства и накопления прибыли, вынуждено кооперироваться с торговыми точками, а вернее, порождает свои торговые филиалы, часто в разных городах.

Издательство, проще говоря, — это фирма. И тут вступает в силу понятие «честь фирмы». Честь поддерживает и умело, и вовремя выпущенная книга, пользующаяся спросом, и прибыли, гарантирующие возможность издательского риска, когда издаешь талантливого, но не имеющего пока имени автора.

Руководить издательством в Югославии — значит быть и литератором с критическим даром, умеющим оценить талант по его себестоимости, и хозяйственником, который не будет хлопать ушами, чтобы не прогореть в торговле, кстати соединенной, а не отделенной от издательства.

Тут не на кого пенять, если книга залеживается. Тут гибко планируется тираж. Его никто не «спускает», ты сам шевелишь мозгами, если не хочешь, чтобы с тебя спустили штаны.

Полистав две-три ходовые книжки, выхожу из магазина и иду в «Светлост», к конкурентам Изета Сарайлича и Ахмета Хромаджича.

Конкуренты встречают меня так же радушно и, не боясь выдать производственные секреты, охотно делятся со мной издательскими соображениями.

Богичевич и Есенкович, директор, прежде всего усаживают меня за кофе. Без этого тут вообще не делают никаких шагов, связанных с деловым разговором, не говоря уже о приеме гостя. Есенкович выкладывает на стол со вкусом оформленные книги серии «Культурное наследие Боснии и Герцеговины» и тут же поясняет, что «Веселин Маслеша» здесь делит с ними сферы: у них книги по искусству, а здесь литературные памятники.

Я замечаю, что в Югославии дело издания отечественной литературы отмечено особым, систематизированным подходом. Всюду заметен уклон в «серию», собрание сочинений, но не одного автора, а главным образом периода, эпохи, этапа литературы. Это, конечно, свидетельствует и о научном, не случайном подходе к изданию, и о желании очертить, осмыслить линию развития. Такая дифференциация по сериям играет, как я заметил, еще одну роль.

Известно, что вопросы качества, достоинства и масштаба литературных явлений — одни из самых щекотливых и трудных в практике изданий. Особенно когда речь заходит о живущих авторах. «Светлост» решает их так.

«Культурное наследие», как я уже сказал, серия классики прошлого. Устоявшиеся репутации. Бесспорные образцы.

«Современник» — это серия, в которой выходят книги живущих рядом, но уже достаточно прочно утвердивших свое имя в отечественной литературе авторов. Известные широкому читателю имена. Собственно, современная классика. Круг имен вовсе не широк. Выбор очень строг.

«Горизонты» — это серия текущей литературы, самая подвижная, наиболее массовая. Когда появляется книга, вдруг заявляющая о рождении еще одного шедевра, она может быть вторым изданием «переведена» в высшую «лигу» — в «Современник». Может быть издана в «Современнике» и без предварительной проверки изданием в «Горизонтах», — тут все решают компетенция и чутье издателей.

Так что разница в сериях «Современник» и «Горизонты» вовсе не в «именах», а в достоинстве, качестве самих книг. Разница существенная, принципиальная, говорящая об открытом характере серии, доверии к писателю,

перспективе его роста, неэлитарном характере литературы, отсутствии формально-номенклатурных шор.

Наконец, высшее признание издателей — издание собрания сочинений. Тут тоже есть чему поучиться. В Боснии и Герцеговине пока этой чести удостоены только трое — Иво Андрич, Меша Селимович и Добрица Чосич. Не густо! Зато «густо» по качеству. При такой строгости критериев нельзя представить себе, чтобы автор много-томного собрания сочинений был вовсе не известен (и заслуженно!) ни в своей стране, ни за рубежом.

Издательство «Светлост» имеет еще такие серии:

«Феникс» — серия современной переводной литературы. Как один из примеров укажу, что «Светлост» очень большими тиражами издает учебники русского языка, они идут по всей Югославии. Но это пример не типический. Учебные пособия вообще идут хорошо, а вот с художественной переводной литературой что-то не ладится — слабо расходуется. Почему? Думаю, что и слабая информация виновата, и боязнь своевольного рынка. И связанная с опасением периодической прессы конъюнктура. В том же издательстве «Светлост» выходили Бунин, Шолохов, Паустовский, Казаков. Достойные имена. И, насколько я знаю, книги их расходились, и читатель не оставался в накладе. Но вот дальше этого круга имен дело не шло. Мало энтузиастов типа Изета Сарайлича, хорошо, а не понаслышке, знающих нашу литературу, новые книги, новые тенденции. У многих непонятный страх перед засилием «производственных», то есть бездарных, сочинений. Я говорю Есенковичу:

— Да их и след у нас простыл! Ведь не в «производственности» их беда. Они и производства не знали. Кстати, производственными называли и романы Артура Хейли «Аэропорт», а затем — «Отель». Так что такое производственный роман? Тут человек знает то, о чем берется писать как писатель. Это же большая разница! Мы неправильно говорили, что автор производственного романа якобы знает работу, но не изучил человека. Ерунда. Человек вне дела вообще нонсенс. Если бы «производственники» знали человека в деле, они бы создали классику! Какая разница — показать горнового или доктора Астрова? Жизнь меняет сферы «дела», само дело становится объектом литературы — это уже другой вопрос. Роман меняет структуру формы, когда героем ста-



новится человек производственного труда — рабочий, земледелец, инженер, капитан корабля или солдат на долгой войне. Но знание человека от этого не становится делом второстепенным. Просто та же литература показывает, что герой не тот, что был раньше. Здесь все связано одной цепочкой: и характер новых отношений человека и его дела, и характер человека, и его любовь в обстоятельствах, скажем, общего дела, общих интересов...

— А, люди не хотят у нас читать о производстве... В Югославии немного другая традиция. Читатель ждет от книги не еще одного нравоучения о смысле жизни и о том, как ему себя держать тогда-то и тогда-то, а чего-то иного... Хочет страстей, мира всегда нового, увлекательного, хочет понять смысл существования в философском смысле, хочет угадать ход времени, историю в ее движении. Журналистика и литература у нас давно развиваются разными путями.

Это говорит Есенкович. Я:

— Значит, уже вы, издатель, противник той социальной литературы, которую вы назвали «производственной»?

— Нет, вы не так поняли. Я говорил о читателе. О традиции, которая шла не только от гуманистической или социальной романистики, от русской школы, скажем, но и от сильного влияния западноевропейских школ нового времени. Мы должны считаться с читателем. Ничего тут никто еще не выдумал.

— Как так? Это же хвостизм? А влияние на умы и души, хотя бы будущего поколения? Или политика динара тут перевешивает?

Говорит Богичевич:

— Это сложный вопрос. Напрасно вы думаете, что политика издания литературы не связана с общими идейными задачами, что закон рынка и законы наших благих мечтаний — это только две противостоящие силы. Тут сложная система сил. Читателя приходится и учить, и обманывать ему же на пользу, и... учиться у него, чтобы не отрываться от живых нужд, потребностей, надежд. Иной раз «странный» вкус читателя говорит больше о реальных процессах жизни, нежели наши устоявшиеся, но неверные выводы...

— А насчет воспитания и динара,— подхватывает Есенкович,— то вот вам пример, опровергающий ваш

догматизм. Вы видели в журнальных киосках еженедельник «Чик»? Это одно из наших секс-изданий. Оно пользуется огромным спросом, как «Ева и Адам». Мы называем такие журналы «шоу». Раньше «Чик» стоил два динара, теперь цена его пять динаров. Надбавка в три динара значительна. Как видите, динар может и помогать воспитанию...

— Однако и за пять динаров его берут,— улыбается Богичевич.

Есенкович разводит руками. Я говорю:

— У нас тоже водка дорожала, но тяга к этому напитку не уменьшалась, по-моему.

— Может быть, вы хотите коньяку? — спохватывается Есенкович.

Все разом расхохотались.

— Вот она, непоследовательность нашей борьбы за спасение душ человеческих! — говорю я. — Мы так любим воспитывать всех и вся, а надо бы начать с себя.

— И быть посмелее в выводах. Почестнее, во всяком случае,— добавляет Богичевич. — Мы хотим быть менее снисходительными к другим и требуем от них того, что не хотим исполнять сами.

— А как вы работаете над рукописью? — спросил я.

— У нас три инстанции: редакции, рабочий и художественный советы. Но это не значит, что все они последовательно решают один и тот же вопрос. Чаще всего обходится без лишней перепроверки. В рабочий совет входят руководители редакций, я, товарищ Есенкович. В художественный — кроме нас еще и ряд известных писателей, на общественных началах, конечно.

— Значит, главная тяжесть ложится на редакции?

— Ну, если хотите, называйте это тяжестью,— отвечает Богичевич. — Это приятная тяжесть: самому решать судьбу книги, которая ложится на твой стол, а ты — первый ее читатель.

— Но тогда редакции должны состоять из высококвалифицированных литераторов?

— А как же иначе? Им же решать. Мы уже скорее консультанты. Главное — доверие. — Это говорит Есенкович. — Поверьте один раз в редактора, рискните, дайте ему самому решать, доверьтесь раз-другой его решению — и вы увидите, что и тот, кто казался вам просто средним литератором, исполнителем вашей воли, на са-

мом деле очень интересный, самостоятельно думающий, со своим взглядом человек... Я убеждался в этом не раз. Доверие к человеку в творческих делах может рождать чудеса.

— А риск? — состорожничал я.

— Риск в каждом деле неизбежен. Но эффект успеха серьезнее, чем мы думаем... Иначе человек не растет. А зачем такой в нашем деле? Зачем он, постепенно смирившийся сам, поверивший мне, что он маленький, скромный, способный лишь на то, чтобы угождать мне? И сам я тогда поверю, что все, что я ни сделаю, ни скажу, всегда верно и не подлежит раздумьям... Я же тоже привыкну умирать... еще до смерти! — Есенкович засмеялся.

— Скажите еще, пожалуйста, если я не утомил вас вопросами, как и кем устанавливается тираж книги?

— Пожалуйста. Тираж устанавливаем мы. И регулируем процесс. Как? А вот как. Проще простого. Следим за спросом каждой книги. Учет поставлен и постоянно корректируется непосредственно в магазине. Но — тут, думаю, вы должны быть довольны — спрос не единственный довод. Здесь вот важную роль играет наш художественный совет. Мы заранее оцениваем значение той или иной книги с точки зрения высоких и абсолютных критериев художественного качества. Тираж — это слабое спроса и художественного значения вещи. Ведь и мы понимаем, что рынок — это рынок. Тут возможны значительные деформации.

— И последний вопрос — критика. Какое место занимает она в вашей продукции? Ведь тут вообще не может быть места надежде... Тут спрос особенно жесток?

— Не скажите, — ответил Богичевич. — Критика у нас, как везде, имеет малый тираж, но интерес у читателя к ней не так уж мал, как вы представляете. Особенно популярна она у студенчества. Вообще все, кто хочет что-то знать, кто читает серьезную литературу, тот, как правило, читает и критику. Кстати, мы забыли сказать еще об одной серии — «Взгляды». Это серия современной критики. Как показывает само название, главное требование к критике — самостоятельность мышления, наличие концепции, участие в интеллектуальной жизни общества.

Мне передают несколько книг этой серии. Я вижу знакомую уже работу Богичевича «Присутствие», книгу эссе

об Иво Андриче, Крлеже, Давичо, Матии Матевском, современных проблемах литературы.

— Что бы вы посоветовали мне почитать из этой серии? — спрашиваю я.

— Леоваца, — не задумываясь отвечает Богичевич. — Славко Леоваца. Серьезный критик. Яркий, острый, самобытный... Кстати, вы его увидите у меня. Я пригласил его, хочу, чтобы вы познакомились.

— Ну, и уже самый последний вопрос: молодые, начинающие авторы?

— «Нада» («Надежда») — так называется эта серия. Первая книга. — Есенкович достает из шкафа стопку ярко оформленных книг, небольших по формату и объему. — Если эта надежда оправдывается, автор постепенно перебирается на «верхний этаж» — в «Горизонты». Тут мы по традиции — не столько из-за боязни риска, сколько из педагогических соображений — даем небольшой тираж.

Заглядывает секретарша, вносит чайник с горячим кофе и что-то говорит директору.

— Товарищ Огнев, вас ищет Сарайлич, он просит вас к телефону.

Я выхожу в соседнюю комнату.

— Слушай, Огнёв, тут ко мне приехали знакомые немцы. Сегодня я с ними должен заняться, а завтра я тебя жду вечером. Только ты обязательно приходи. Будут и немцы. Очень хорошие немцы. Тебе ничего не нужно? Ну ладно, привет. Занимайся личной жизнью...

Когда я вошел в кабинет Есенковича, Богичевич спросил:

— А что вы делаете сегодня вечером?

Но ответить я не успел, так как Есенкович, расставлявший книги в шкафу, снял трубку, сказал:

— Добер дан. Момент, Изете... — и протянул мне трубку.

— Слушай, Огнёв, завтра — это завтра, а сегодня мы едем с тобой высоко-высоко, где кочуют туманы... Я жду тебя в издательстве. — И положил трубку.

— Куда-то еду с Сарайlichem. Высоко. — Я показал на потолок.

Ну, на вечер мы все-таки договорились с Миодрагом. Хотя он и не был уверен, что Сарайлич меня быстро выпустит.

...Осман — так звали шофера Хромаджича из «Веселин Маслеша». Он был ловок, храбр, лихач, немного любил порисоваться, но, в сущности, добрый малый этот был готов поддержать любую компанию. Когда Изет сказал ему, что мы едем «наверх», он для порядка покапризничал: только что из рейса, машина не в порядке, ночь не спал, пускай поедет другой...

Говорил Осман, развалившись в кресле, как будто это он и был Хромаджич или Сарайлич. Изет терпеливо и, как всегда, внешне лениво просил его поторопиться, будто не слышал решительных доводов Османа. Мне стало не по себе, и я стал рассматривать книги в кабинете Изета, где капризно вертелся на кресле смуглый, курчавый парень в белой рубаше с закатанными рукавами.

Но Изета это вовсе не вывело, как я ожидал, из равновесия. Не обращая внимания на Османа, он кому-то названивал, потом кончил говорить и сказал как ни в чем не бывало:

— Айда, Осман!

И шофер встал и весело, перепрыгивая через ступеньки, побежал вниз, к машине. Сошли и мы. Осман распахнул дверку и, громко запев, с места рванул машину. Она была невиданно грязна,— видно, в самом деле, Осман прикатил издалека. Но марка дорогая, знаменитая. موتور хороший.

По дороге Изет что-то попросил Османа — куда-то заехать или как-то иначе поехать — уже не помню, но тот опять стал спорить и сказал, что он туда не поедет, это крюк, а он и так устал. И тут же свернул в указанном направлении и весело запел. Вначале я пялил глаза на него и ничего не понимал, но потом пришел к выводу, что лучше не удивляться.

У Османа был «косовский» характер. Упрямый. Но делал он все как надо и наилучшим образом. Просто сначала требовалось ему показать свою независимость.

— Он из Косова,— сказал мне Изет, когда мы вышли размяться уже в горах. Как будто это что-то мне объясняло. А когда я удивленно сказал ему, что у нас шоферы держатся с начальством поскромнее, настал черед Изета удивиться.— Как ты сказал, Огнев? Скромнее? А как, потвоему, держится Осман? Нахально?

— Ну, не нахально... Но как бы сказать, слишком самоуверенно...

— Не понял,— сказал Изет и нахмурился.— Не понял.

— Ну как же не понял. Капризничал, говорил, что устал...

— А по-твоему, шофер устать не может?

— А как он сидел на кресле?

— А, вот оно что...— Изет посмотрел на меня насмешливо.— В кре-е-сле...— Он явно смаковал это слово.

Я смутился:

— Да нет же. Не в этом дело...

— В этом,— вздохнул Изет,— в этом, Огнёв.

Когда мы подходили к машине, Изет похлопал меня по плечу, тряхнул своей серо-седой шевелюрой:

— Ничего, ничего...

Так мы и поехали молча.

Дорога шла круче и круче. День выдался туманный, и мы ничего почти не увидели внизу. Останавливались несколько раз на разной высоте и пытались понять, где же Сараево. Виды не удались. Осман пел и шутил не переставая. Они говорили с Изетом по-сербски, а Изет переводил мне, хотя я и просил не делать этого, так как я все понимаю. Рассказывал Осман разные истории о своих и общих с Изетом знакомых. Причем всегда выходило, что Осман их провел — и сказал ловчее, и пари выиграл, и подшутил лучше, и перехитрил, а его оппоненты в накладе остались, вынуждены были утереться, как говорится. Но похвальба его была какая-то веселая, наивная, почти детская, и Изет подыгрывал ему, мне кажется, с удовольствием и бескорыстно. Это была игра талантливого человека, чувствующего индивидуальность и любящегося ее цельностью...

...Мы вышли на небольшой площадке, высоко, где уже закладывало уши, и, оставив машину у деревьев, поднялись по ступенькам еще выше, к ресторанчику, нависшему над обрывом. На его террасе мы пили кока-колу и болтали о чем-то. Тучи постепенно разорвались в одном месте, и часть Сараева открылась нам.

Изет стал рассказывать о том, как расположен город, о розе ветров и о том, что строительство высотных домов на его окраине еще больше усилило ветродуй в районе «небодёров». Об одном архитекторе, который предложил смелый и радикальный план перестройки Сараева по современному принципу, с учетом особого положения города среди гор. Сараево, как, например, Тбилиси или

София, летом гибнет от духоты и смога. В другое время года Сараево еще сносный город, но летом жители его должны бежать в горы, со всех сторон окружающие его. Изет говорил, что если бы вон там, где сходятся два горных кряжа, прорезать искусственное ущелье, город получил бы воздух, задышал бы ровно и воздухообмен его привел бы к положительному изменению микроклимата.

Я посмотрел на Изета. Он стоял у парапета площадки, нахмутив брови, широко расставив ноги, как полководец перед началом решительной операции по очищению города от противника, но глаза его были добрыми и светлыми. И на какую-то минуту мне показалось, что я нашел его главную «формулу» — он человек действия, нетерпеливого действия на благо людям. И неуживчивость, резкость, ворчливость его идет от сознания, что для его планов, бесспорных, нужных не ему самому, а другим, целесообразных и разумных, понадобится еще много времени... Он и в стихах такой. То, что называется активностью позиции поэта, у него налицо в самой ясной форме. Слово его имеет острые углы и энергично вталкивается в стих, толкает соседнее, и тому нужно иметь хорошие мышцы, чтобы устоять на месте.

И тогда мне показалось, что и его терпимость к поведению Османа, нарушавшего всякие представления о субординации и иерархии, основывалась на родстве душ — не формальном, а существенном понимании долга. Осман трет красные от бессонницы глаза, а поет. Он готов драться за свое право не ехать плохим маршрутом, где потрет шины, но уж если придется по нему провести машину, он всю душу вложит в то, чтобы провести ее с минимумом риска, забыв и свое лихачество, и детское честолюбие. Потом Изет сказал мне, что еще одно качество ценит в Османе, может быть решающее для него, Изета: он человек, остро чувствующий достоинство личности. Он сделает все, расшибется в лепешку, но не позволит просто командовать, исходя из предположения, что само местонахождение на лестнице служебных подчинений регулирует человеческие отношения. Уважение к себе не просто каприз, хотя может быть выражено по-разному каждым человеком, в том числе Османом, и по форме так, что может выглядеть как каприз. Это — норма отношений в социалистическом обществе, где каждый, неза-

висимо от того, какой у него чин и должность, служит всем, всему обществу в целом. Почему же он должен и держать себя как-то особенно, номенклатурно, так, чтобы каждый мог узнать уже по положению его спины его должность? В современном обществе много пережитков старого. Тут никуда не денешься. Но зачем же культивировать, сохранять то, что рождено другими, собственническими отношениями? С этим нельзя не согласиться.

На обратном пути мы почти объехали весь город, как мне кажется, кольцами опоясывая его по склонам — улицами, застроенными домиками из самана и камня, извилистыми, узкими, зелеными, часто немощеными, но поразительно живописными, обнаруживающими свои захватывающие дух ракурсы, в каждом из которых присутствует старое Сараево целиком. С горы видишь все иначе. Вот Миляцка, знакомые теперь мечети, мосты, которые снова глядятся внушительно, вот главные магистрали, запруженные транспортом, телевышка, небоскребы, новые районы, парки, кладбища, — история налагала тут свои черты наглядно, потому что сохраняла их все одновременно, ничего не зачеркивая, не вытесняя одно другим. И в том, как этот конгломерат религий, стилей, эпох, культур, народов, камня и дерева; реки и облака, человека и природы, традиции и бурных новаций века, — в том, как этот конгломерат предстает перед вами сейчас, и таится прелесть, совершенно неповторимая, — Сараево...

...Вечером я был в гостях у Миодрага Богичевича. Красивая и милая жена его Неда оживленно рассказывала о своей жизни в Ленинграде, — кажется, это было в 1968 году. Ей пришлось провести здесь несколько месяцев. Лечилась. Успешно. Теперь им предстоит переезд на новую квартиру. Ужас эти книги. Опять переживания. Так хорошо было здесь жить. На берегу реки, в новом доме. Так в чем же дело? Маленькая квартирка. Действительно маленькая. Ничего лишнего. Книги, книги, самые необходимые, функционально необходимые вещи. Две комнаты, из которых в каждой не более десяти квадратных метров. Коридорчик тоже до потолка заставлен книгами, но и это не спасает. Для книг и переезд.



Я думал, что министр культуры республики живет по-вольготнее. Нет, так они всегда жили и до министерского поста, и при министерском, и сейчас, когда Мнюдраг хочет остаться только на научной работе. Иначе не напишешь докторскую диссертацию, говорит он. В новой квартире будет три комнаты на троих членов семьи. Норма.

Входят друзья. Леовац и Стеван Тонтич с женой Снежаной. Стеван и Снежана сияют белыми зубами и с уважением слушают «профессора» Леоваца. Он читал у них в университете, большой авторитет. При нем они как-то робеют. Я смотрю на эту молодую пару — один красив, другая еще красивее. Есть же такие человеческие экземпляры. Они могут вообще не говорить, думаю я, а все равно их присутствие будет украшать этот вечер. Как много значат человеческая красота, молодость, сила. У них все впереди. И они не знают, нет, не знают, что это огромное счастье — молодость, когда все впереди... Они просто блестят глазами, просто улыбка растягивает губы, просто интересно, откинувшись в тени торшера, который выключен, чтобы горели свечи, слушать умного профессора, быть в его компании, знать, что о тебе будут говорить (да, о нем говорят полушутливо, чтоб не зазнался, но он знает, что талантлив, и нравится, и у него красивая жена, и все удастся, и потому и под шуткой он слышит лестное для себя внимание)... И все по-настоящему тревожное, мучительное, когда только начинают открываться глаза на жизнь, — еще впереди, далеко впереди и ночи, и дни, когда наступает отчаяние, и первая усталость лет, и сознание необходимости становится почти равным сознанию удовольствия. Далеко впереди и то ощущение трезвости, когда о тебе могут говорить что угодно и сколько угодно, а ты сам знаешь цену и себе самому, и тому, кто говорит. И потому не могут так радовать ни слова, ни внимание, ни обольщения...

И в то же время в этой паре не было того, что обычно очень оскорбляет и молодость, и красоту. Не было животного удовольствия жить. Умные и наблюдательные глаза Стевана, его неожиданная для его возраста — ему всего двадцать — злая точность выдают новое поколение. Оно еще сохраняет ту и нам в его годы, и юношам прошлого века свойственную необъяснимую прелесть наивности возраста, но у них, молодых середины XX века, есть

уже своеобразная горькая складка у губ. Пухлых губ юности. Чего у них нет, отмечаю я, слушая редкие фразы Тонтича, так это расплывчатого романтизма. Дрожащего марева необъяснимых желаний. Как они остро и определенно формулируют! Да, то же самое желание крайностей. Но и крайности-то другие. И Сцилла и Харибда видятся им четко, словно в фокусе объектива. И свои чувства они хотят понять, а не покориться им.

Вино немного расковывает Стевана. Но жена его только зарумянилась. Она вполголоса говорит с Недой и не участвует в нашем разговоре о литературе. А Леовац как раз говорит мне:

— О, если бы вы знали, какой это ужасный человек (о Тонтиче),— он написал о своей собственной жене стихи, после которых не всякая бы осталась с ним... Но это и есть новая поэзия. Чем больше мужчина любит, тем жесточе он к героине своей поэзии! Этот парадокс еще ждет объяснения.

Неда со свойственной всем женщинам чуткостью испуганно метнула на меня взгляд: не пойму ли я превратно слова Леоваца, не заключу ли из них, что Стеван оскорбил жену или что-то недостойное вкралось в их отношения?

— Только любя и можно написать такие стихи,— мягко сказала она.— Тот, кто знает Стевана и Снежану...

— Ну, положим, читателю это знать не обязательно,— бросает Леовац иронически.

— Ну, и хватит, ну, и переменим тему! — волнуется Неда, заметив, что Снежана пламенеет и смущенно теребит салфетку.

А я вспоминаю стихи Тонтича, слышанные ранее: «Као пламен, као шума, койя пева, Ларисса тако дивно гориш запалена» («Словно пламя, словно роща, которая поет, горишь ты, Ларисса, подоженная...») И потом она, героиня, тонет, как в море, в себе самой, и падает снег в натопленной комнате, и ливни идут, и электричества ливни поливают ее, и дремлющий зверь готов проснуться. Или, как говорит поэт в другом мини-стихотворении под названием «Элементы»: «Земля, вода, воздух, огонь плюс любовь — всего пять элементов».

В юности кажется, что лишь из этих элементов и творится мир. Потом начинаешь понимать, что элементов побольше... Уже Тонтич задумывается над «дорогими ти-

хими акциями внутреннего неприятеля с братскими жестами и миролюбивыми обещаниями», над тем, что «человек, который победил, остается один, абсолютная тишина — его единственный друг». Правда, в юности и отчаяние бывает бурно, но непродолжительно.

Леовац говорит об аффирмации. Эпоха обезличивает человека... Леовацу кажется, что виной тому нелитературные причины. Что мир озабочен спасением собственного лица. Информация, поток фактов, стандартизация мышления, культуры в целом, как бурный поток, сметают последние пристанища духа. Надо отстоять свое. Тогда искусство останется искусством.

Я тоже думал об этом. И не раз. Но сейчас почему-то мне хочется возражать. Наверное, потому, что Леовац драматизирует положение. Нельзя сводить сложность мира к простоте однонаправленной опасности. А национализм? Он сейчас тоже растет, как на дрожжах. И порой под «стандартизацией» понимается другое: общность усилий, целей, задач человека во всем мире. Трудового человека, которому более вняты общечеловеческие цели. И как можно снивелировать дух? Разве сама личность не есть охрана от стандарта? Ох, от лукавого этот пессимизм! Не столько единомыслие опасно в мире, сколько разномыслие. Люди не понимают людей. Отцы не в силах понять дочерей и сынов. Не поисками ли объединения должны мы заняться всерьез?

Неда включила тихую музыку?.. Нет, она здесь, не выходила. Я прислушиваюсь. За слабым колыханием занавеса колеблется музыка. Где-то у соседей. Поет женщина — контральто.

...Я вспоминаю ночь в Сплите. Это было несколько лет назад. Эта песенка. Немудреная, сердечная, грустная. Тогда была лунная ночь. На ступенях древнего дворца Диоклетиана спали вповалку хиппи. Их было много. Как перелетные птицы, опустившиеся на седые теплые камни, спали дети. Да, они ночью казались детьми. Красочные их лохмотья, спутанные волосы, полураскрытые рты, шепот во сне... Один спал, прижавшись к девушке, как прижимается ребенок к матери. Он искал защиты. Он и во сне чего-то боялся. А сверху тайносмотрел на этих худеньких заблудших детей человеческих сфинкс. Гово-

ряд, его привезли из Египта солдаты маршала Мормона. Широкие мраморные ступени дворца клубились телами, вздохами. Под луной многие лица казались масками. Под самым сфинксом сидел, сгорбившись, паренек и раскачивался. Когда я подошел поближе, стали слышны слова. Два английских слова, повторяемые бессмысленно, как молитва или заклинание: «Cristal cheer... Cristal cheer...» Глаза его были открыты, но он не видел меня. Зрачки блестели. Мне стало не по себе. Худые руки парня охватили локти, как будто он боялся, что его руки могут сделать что-то самостоятельно от него, от его собственной воли. Марихуана — это красивое, женское, экзотическое имя прозвучало во мне... Или некая другая отравка души. Я не сведущ в последствиях разных отрав. Но мне стало ясно, что и этот полубред парня о «хрустальном корабле» в никуда под египетским сфинксом, и шепот в тяжелом сне его товарищей — одно состояние сна и бреда, где явь давно не существует...

И только песенка, которая раздавалась неподалеку под гитарный перезвон, тихая песенка, которую напевала хрипловатым контральто невидимая женщина, возвращала к жизни ночной Сплит, луну над полуразрушенной колонной римского дворца, этого загадочного сфинкса, этих спящих и бредящих во сне детей всего мира...

Я пошел тогда вслед за песней и долго плутал по узким, возвращавшим меня по моим же следам, улочкам, пока не нагнал женщину с гитарой. С ней шел рыбак с перекинутым через плечо мешком из сетки. Мешок висел на палке, в сетке серебряно сверкала рыба. Рыбак курил трубку и опирался одной рукой на полуголое плечо женщины. Время от времени, когда мужчина гладил пальцами ее шею, женщина подымала плечо, не переставая петь... Шаги их гулко отбивали ритм. Они шли к морю. У развесистой пальмы они остановились. Он снял с плеча ношу, опустил ее на камни и поцеловал женщину, взяв ее щеки обеими ладонями. Струна гитары зазвела.

Я повернулся и пошел в отель.

И вот я слышал эту же песню из окна дома Богичевичей. Она, казалось мне, говорила о простой правде жизни, тех пяти элементах — земля, вода, воздух, огонь

плюс любовь... Но она не была элементарной, эта песня. За ней оставались труд, заботы, может быть, горе или нужда. Но это была жизнь, а не сон.

...И это была жизнь. Стеван смотрел на Снежану и показывал ей глазами на дверь.

Мы прощались в дверях. Тонтичи жили, оказывается, рядом, на той же лестничной площадке. Леовац пошел пешком в другую сторону, а мы с хозяином зашагали вдоль Миляцки к центру.

Миодраг хвалил Тонтича, молодых боснийских поэтов, говорил, что они становятся с каждым поколением все более умными и пытливыми, что у них есть своя правда, что эту правду надо понять и нам.

Неужели я уже нуждаюсь в том, чтобы понимать правду юности? Еще вчера казалось, что время бежит не так быстро...

### *5 сентября*

Сегодня утром я зашел в Катедралу (главный собор). Зашел туда случайно — пошел сараевский дождик, а я был рядом. В темноте светились свечи, словно светлячки в ночном саду. Сырость и острота запахов ладана и свежей травы (у открытых ворот собора косили газон) еще больше укрепили меня в этом сравнении.

Слева от входа за квадратным широким столом, покрытым тяжелой тканью, молодая стройная монашка в белом сооружении на голове, похожем на огромного бумажного голубя, которого мы делали в детстве, продавала открытки, четки, крестики и пластинки с записями церковной музыки.

Я глянул на нее и обомлел. Она была очень красива. Огромные темные глаза, встретившись с моим взглядом, вовсе не потупились смиренно, как подобает глазам монахини. Я начал копаться в ее товаре, причем руки мои участвовали в этом деловом процессе, явно не согласуясь с глазами. Я таращился на монашку без зазрения совести. Она казалась киноактрисой, переодетой на время съемок в послушницу. Это впечатление еще больше подтверждало ее взгляды, откровенно насмешливые и лукавые. Ничего святого нельзя было в них обнаружить. Она, чертовка, знала, что нравится туристам-бездельникам, и не

удивлялась. Когда она быстро взглядывала на меня, глаза ее искрились смехом и на щеке появлялась очаровательная ямка. Я спросил, сколько стоит пластинка, одна, другая, третья, она отвечала, все больше смеясь глазами. Темы быстро оказались исчерпанными. На остальном товаре цена была обозначена, и мне ничего не оставалось, как ретироваться. Правда, я щелкнул своим стареньким «Зорким» ее ямочки, но оказалось, что перетянул пленку, никаких следов моего сараевского романа с монашкой-бенедиктинкой история не сохранит!

А дождь тем временем прошел. Светило солнце. По улице Васе Мискина бежали дети, хлопая друг друга новенькими сумками. У городского рынка, как всегда, веселил глаза цветочный базар. На главной магистрали, улице Маршала Тито, былолюдно. У кинстеатра стояли молодые люди, рассматривая фоторекламу фильма «Мазурка в кровати» датского производства. Я прошел длинной улицей до ее впадения в улицу Бранка Радичевича и пошел обратно, любуясь тишиной, влажной зеленью деревьев, омытых дождем, маленькими сквериками с яркими цветными колясками.

Вскоре улица Бранка Радичевича впаала в Обалу Войводы Степе. Обала — значит набережная. По ней, набережной Миляцки дошел до моста Зринского, свернул налево, вышел на людную улицу Югославской Народной Армии и вскоре был в отеле.

...Здесь меня неожиданно встретил Радоня Вешович. Он оживленно рассказывал о Козаре, откуда только что приехал машиной. Партизаны собирались там, чтобы отметить тридцатилетие битвы на Козаре. Они ехали и шли пешком, стекаясь со всех концов Югославии. Встреча была волнующей. Радоня познакомил меня со Стеваном Булаичем, кинодраматургом, братом Велько Булаича, известного у нас кинорежиссера. Потом к нам (мы сидели на веранде ресторана) подсел и Ахмет Хромаджич. Сараево в этот день, да и в последующие дни говорило о Козаре. Попрощавшись с друзьями, я пошел к себе в номер, чтобы позвонить Изету.

В «рецепции», подавая мне огромный ключ, дежурный протянул и записку Из нее следовало, что некий товарищ попросил меня позвонить ему по такому-то телефону.

Поднявшись к себе, я позвонил некоему товарищу. Он оказался знакомым нашего Дипломата, который просил найти меня непременно в Сараеве и повезти на Козару. Знакомый — его звали Мешо — на Козару свезти меня не успел, так как отлучался в эти дни из города, но предлагал просто встретиться в кафане «Стари град» или «Два рибара». Можно еще в «Даире», а если я не хочу в «Даире», можно и в «Далмации». Мешо высыпал на меня уйму ресторанов и кафан для выбора. Я предложил просто выпить пива и погулять. Встретились мы на углу Слобода-на Принципа и Народной Армии.

Мешо был рослый, рыжеватый мужчина с багровым лицом, на котором сильно прочерчивался неровный, неаккуратно зашитый шрам от ранения.

Поздоровавшись, Мешо сразу же объяснил:

— Ну, я знал, что мы не разминемся. Правильно я сказал: по шраму найдешь? Нельзя не найти?

Говорил он по-русски. И сразу на «ты».

— Четник ударил ножом ночью...— пояснил он весело.— Неужели не посэдим? Русский — и не хочет посэдить!

Мешо с удовольствием произносил это слово. Мы сели прямо на солнцепеке за столик, крайний от тротуара. Мешо заказал пива. Достал сигареты, мятую газету и какие-то бумажки из кармана просторной куртки спортивного фасона. Закурил, отогнал клубы дыма широкими взмахами огромной пятерни, заговорил:

— Мне говорили, ты пишешь книгу о нас. Тут есть адреса партизан, кто воевал хорошо, жил хорошо, о ком надо писать.

Мешо разглаживал бумажки и смотрел на проходящих по тротуару.

— Ты мало будешь в Сараеве, так нельзя. Надо приехать долго... Надо узнать человека, потом слушать. Приехал-уехал — так нехорошо. Все бегом, живем бегом, спешим, спешим...

Он подумал, собрал бумажки, сложил аккуратно, спрятал в карман. Вздохнул.

— Пей. Будь здрав.

Вокруг нас сидела в основном молодежь. Они курили, пили кофе, разговаривали, вставали, пересаживались,

кивали вновь прибывшим. Все казались знакомыми со всеми. Я сказал об этом Мешо. Он ответил, что так оно и есть, это все поэты и молодые художники, их подружки. Напротив кафаны — Союз писателей. Это традиционное место встречи журналистов, литераторов.

Мешо поэзии не любит. Песни петь — другое дело. Песни любит. И слова, и музыку. Стихи же дело пустое. Я спросил: современные? Вообще, ответил Мешо, но, подумав немного, добавил, что, пожалуй, любит старые стихи — например, Пушкина, Есенина... Я удивился: а свои, Югославские? Конечно, ответил Мешо, как же не любить сербские песни! Или эпос о королевиче Марко. Я понял, что представление о современном искусстве у Мешо своеобразное, и решил переменить тему. Для Мешо Есенин и королевич Марко были одинаково далеко от современной поэзии. Старое было надежным, понятным. Новое, видимо, не прививалось. Как бы продолжая мои догадки, Мешо сказал:

— Я ничего не понимаю в сегодняшних стихах. Один поэт говорит: «Твои волосы пахнут будущим». Я думал-думал: что это значит? Открыл другую книжку: «Лежим на солнце. Изнываем. Воняем. Смердим. Хорошо мне известно, что растут ногти и волосы. Дышим...» Каков? Он, видишь ты, знает, что у мертвецов растут ногти и волосы. А ради кого мы «воняли» и «смердели»?.. Я бы судил за такие «стихи»! Они, видишь ты, все знают, все поняли, и им скучно на этом свете...

Мешо сказал что-то, чего я не понял, но несколько человек оглянулись на нас. Думаю, Мешо пустил крепкое выражение, которого я, в силу его идиоматичности, просто не понял.

— Где ты работаешь? — спросил я.

— Нигде я не работаю. Я свое отработал.

— Живешь на военную пенсию?

— Живу, на что живется, — уклончиво ответил Мешо. — Я пробовал работать на Яхорине. Это там, наверху, — Мешо показал куда-то в горы. — Теперь туда построили подвесную дорогу. Там есть такая Райская долина, Голая Яхорина, Гора Очарованного дворца и разные другие штуки для альпинистов. Я хорошо бегаю на лыжах, слаломист. Сперва обслуживал домики, топил, убирал, лыжи правил, кому что надо, в общем. Вы-



сота там над уровнем моря примерно полторы тысячи и побольше.

Однажды утром попросил меня один турист показать ему трассу поинтереснее. Он хорошо говорил по-нашему, сказал — немец. Мне что, все равно... Утром было солнце, слепило, а я потерял темные очки. Пошел попросить у кого-нибудь из знакомых в «Партизан» (так называется дом один). И что ты думаешь — выходит из дверей одна с лыжами, на кого-то похожая. Так похожая, понимаешь ты, что у меня по спине мурашки пошли... Жена у меня, понимаешь, была... Вместе со мной в партизанах...

Мешо махнул рукой и смущенно сказал, отводя глаза:

— Ну, это другое... В общем вышла одна история. Я чуть не убил одного человека... Это другое. Меня судили, но я не сидел. Знаешь, все-таки кто был партизан, тот не может забыть своих. Прокурор и судья воевали, знали, кто чего стоит...

Он задумался, мой Мешо, курил. Я сказал, что если ему не хочется вспоминать, то не надо, но я просто хотел спросить его, что за история разыгралась там, на Яхорине, и при чем здесь тот немец, что хорошо говорил по-сербски. Мешо отвечал, что лучше он расскажет про войну — я же за этим приехал? Ну как сказать, отвечал я, раньше мне самому казалось, что за этим, но теперь вижу, что все тут переплелось — и то, что было, и то, что сейчас. Ведь вот и у него, Мешо, так: потерял работу вроде за драку, а без прошлого тут не обошлось...

— Это верно, — сказал Мешо.

Какой-то знакомый Мешо перекинулся с ним парой слов, пожимая руку через низенький декоративный заборчик из зелени. Когда он отошел, Мешо неожиданно сказал:

— Ну ладно. — И пожал плечами, как будто ему холодно. — Дело тогда такое вышло... Я увидел эту женщину в свитере и понял, что это Мубера, моя жена... Она была в красном свитере, таком красном, что глазам стало больно. Такая же, как была тогда, в ущелье, возле реки, когда я ее потерял при отступлении. Только чуть сидины прибавилось... Знаешь, тогда нас гнали и четники, и немцы, мы с боями прорвались к речке Бистрице и там попали в ловушку. Немцы били с горы, много нас полегло. Когда разорвался снаряд, меня оглушило. Она рядом была. Когда я открыл глаза, никого уже не было рядом.

Только три трупа. Я ползал по камням, искал ее. Всю ночь искал. А утром потерял сознание опять. Много крови вышло из меня. Раны были осколочные, глубокие — и в бок, и в плечо, и в руку, сюда вот...

Мешо задумался. Сморщился, словно от боли, и продолжал так:

— Пришел в себя уже в дороге: меня везли куда-то четники. Как меня нашли — не знаю. Везли меня в телеге. На сене. Со мной рядом лежали еще два бедолаги. Но к вечеру одного сняли — умер. Второй все говорил мне на ухо, что надо прыгнуть, когда будем проезжать Козий Верх, — это место и я знал. Там тропинка узкая, а справа крутой обрыв. Был шанс. Там растет кустарник. Но я не мог пошевелиться. Он был легче ранен, голова завязана, лицо все разворочено, а говорил складно, не стонал.

Больше я его не видел. Там, на Козьем Верху, он прыгнул и так закричал, что кони понесли и мы все чуть не разбились. Что там от него осталось, не знаю. Только четник, что сидел с нами на телеге и дремал всю дорогу, стал креститься и сказал: «Царство ему небесное...» Никто не стал даже заглядывать в пропасть, даже лошадь не остановили. Четыре четника, что шли за нами поодаль, вели двух ослов с поклажей, тоже не стали ни стрелять ему вслед, ни обсуждать его прыжок... Только повернули головы ему вслед и пошли дальше.

Все это было как во сне. Был человек, и не стало его. И мне страшно стало тогда не от того, что четники могли теперь и меня пристукнуть (зачем я им был один?), но оттого, что так просто примирились они со смертью моего товарища, незнакомого и мне партизана, который никак не хотел у них оставаться в плену...

Два четника из сопровождения сели теперь на телегу. Один, бородатый и черный, сел мне на ногу, но я молчал. Тот, что был с нами раньше, молча сполз с телеги и шел пешком рядом с моим лицом. Он время от времени вздыхал и крестился, и потому я проникся к нему большим доверием.

Я знал, что четники в наших краях были разные — «сознательные» и «несознательные». «Сознательных» люди наши боялись — раненых они добивали, семьи их уничтожали, палили дома. А «несознательные» были просто запуганные мужики. Когда за ними не было строгого наблюдения, они походили на порядочных людей. Запу-

ганные, уходили они в четники, запуганные, попадая в плен к нам, обещали воевать против чет. И воевали. Но тоже, надо сказать правду, нехотя, вполсилы. Мой крестившийся стражник был из «несознательных». Когда стало совсем темно и мы остановились на ночлег, он дал мне даже покурить. Все делалось молча. Все устали от тех боев, погони, дневной жары, ночного холода.

Надо сказать, я не из этих краев. Я и Мубера. Мы из Крайны, из-под Бихача. У нас там, на западе, немного по-другому все, говор тоже. Когда я попросил напиться, мой стражник дал мне котелок с водой и спросил, откуда я родом. Он оказался из наших мест. Молча дал он мне и поесть. А наутро разбудил меня и сказал, чтобы я уходил, и показал куда. Я хотел взять винтовку, но он ударил меня по руке, и я пошел по тропинке, держась рукой за кусты. Правая распухла и кровоточила, и я подумал, что все равно не смог бы нести винтовку, ремня на ней не было, а не держась за кусты или камни, я не мог пройти и шаг — меня качало, того и гляди сорвешься в пропасть. Когда я отошел метров на двести, прозвучал выстрел. Я оглянулся — «мой» четник стрелял в сторону.

Про Муберу я ничего не слышал с тех пор. Искал ее везде, думал — ушла с нашими. Но не мог понять, как это меня оставили. У нас никогда не бросали раненых... Ну, тогда, на Яхорине, все стало ясно.

Ее взяли в плен с двумя нашими, когда они отстреливались, прикрывая отход на берегу реки. Ночью, когда я говорил с четником-земляком, ее, уставшую, оступевшую от всего, взял один четник... Как там было, никто теперь не скажет, а Мубера сказала мне тогда, что ей все равно было, думала, меня убили, она три ночи не спала, еще оглушило ее, жар был — болела она... Все вместе, значит, ее и добило. А когда случилось это... стала, говорила она мне, как мертвая. «Как будто не я, а кто другой...»

А он, четник этот, был все время с ней, и ушли они с немцами, а потом где только не были. Стали жить как муж с женой в ФРГ, подданство приняли. Прошло восемнадцать лет, и их потянуло на родину. Ну, в Бихач они не поехали, а все-таки хотелось поближе... Вот и очутились они на Яхорине.

Когда Мубера меня увидала, не испугалась, только стала как мертвая. Села на снег и сидит. Как я ни изменился, а шрам-то мой уже тогда был, да и разве человек

может так измениться, чтоб его не узнать и через пятьдесят лет, не то что через тридцать...

Она сидела на снегу и рукой снег разгребала, как будто хотела сквозь гору провалиться.

А я сказал ей: «Ничего, Мубера... Ничего. Ты только соберись с духом. Видишь, как оно вышло...»

Ну, потом, когда мы сидели за столиком в «Партизаны», говорили, она все рассказала — спокойно так, как будто скучно ей со мной говорить. Но я ее знал. И видит аллах, как мне ее жалко было. Я смотрел на ее морщины, а думал — какое счастье! Поверить все не мог, а говорил себе: «Какое счастье!» Мубера сказала, что муж ее тут, пошел искать проводника... И тогда я вдруг подумал, что этот немец, что меня ждет, и есть ее муж.

Так оно и было. Он вошел, осмотрел кафе и идет прямо к нам. Высокий, здоровый, загорелый. На меня не смотрит, а ей говорит что-то по-немецки. Она встала и так виновато ему объясняет что-то: чувствую, врет, на меня показывает... Кое-что по-немецки и я понимаю. Она ему сказала, что этот незнакомец, мол, велел ей тут его дожидаться. А он говорит: «Врет он. Я его за очками отпустил...» И тут Мубера улыбнулась. Знаешь, я все на нее смотрел, не на него. И то, что она ему, — понимаешь, ему, ему, — не мне улыбнулась, что она улыбаться — понимаешь? — улыбаться могла, оказывается, а я думал — мертвая, жалел, понимаешь, ее...

В общем тут и началось. Я его сбил одним ударом. Потом ногами стал бить, а она, понимаешь, повисла на мне и... не давала его бить... И меня схватили потом и судили... Они уехали. Я остался. Вот и все.

Только она мне все снится, как за руки держит, не пускает, а я вроде хочу вырваться. И меня вроде этот четник бьет по голове, и каждый удар я во сне чувствую... Я плачу во сне, как дурак, потому что я никогда, знаешь, не плачу, а тут плачу и кричу: «Мубера! Как ты можешь? Мубера!» Проснусь злой на себя, весь дрожу... А засну — опять ее вижу. Как она ходит, платок подвязывает, как козу доит, как мы идем через перевал, а она несет мою и свою винтовки, — я тогда раненный первый раз был...

Думал, совсем забыл ее. А увидел живую, хоть и предала она меня, совсем потерял голову. Не то чтобы думал про нее специально, — нет, просто не идет из головы, то голос слышу, то шепчет она. Наверно, болезнь это...

А чаще всего думаю: зачем она за руки держала? Зачем кричала так? Неужели за эти тридцать лет он для нее — что я тогда был?.. И как это может быть?

Мешо опустил голову и дрожащими пальцами пытался зажечь сигарету.

— Давно это случилось? — спросил я.

— Этой зимой

— И ты теперь, значит, не работаешь?

— Как сказать... На Яхорине не мог. Как увижу красный свитер, ничего не могу поделать, слабость в руках и ногах, все кажется — она, Мубера, хотя, конечно, ни за какие калачи ее теперь не заманишь сюда... Понимаю, а жить не могу так, как жил... Все думаю: почему такое может быть, чтобы человек человека предал?.. Ведь она мне не кто-нибудь, жена была... Перед самой войной поженились. А война крепче всего вяжет. Два года на войне — это же не просто два года, как ты думаешь?..

Я кивнул. Мешо крикнул официанту, чтоб тот принес ракии.

— Пошел я служить в баню. У нас тут, в городе, три бани. На вокзале одна и две тут, в городе. Вот я и пошел в одну нашу, городскую, на Светозара Марковича, дом десять. Банщиком, значит. Чего только не увидишь, — усмехается Мешо, — чего только не услышишь... Человек в бане — интересный человек. Когда кругом пар и тебя не видно, можно говорить с соседом, как будто он с другой планеты. А ты, может, даже с одной улицы. Насмотрелся я на тела: толстые и тонкие, синие и почти черные от загара, — сколько, знаешь, побитых войной, покалеченных, помеченных...

Официант принес ракию в графинчике и орешки. Рядом в высоких стаканах поставил воду. Мешо налил себе и мне и выпил, не дожидаясь меня. Я приподнял и поставил рюмку. Мешо снова налил себе и выпил.

— ...Заметил я, война сделала людей одинаковыми. Думают они одинаково, держатся вместе, просто все на войне и понятно. И в бане так. Нравилось мне — все там одинаковые. Голый — он не будет грудь выпячивать. Голый — он и есть голый, как все. Конечно, я не дурак, знаю, кто — кто. Один зовет меня спину потереть одним голосом, другой — другим. Но это уже не война. Это уже после войны так стали говорить по-разному. И все-таки в бане люди теплеют, забывают свои дурацкие амбиции.

Как дети люди в бане. Часто замечал — дурачатся, говорят пустяки, и никто не оборвет тебя, не сделает замечания, что, мол, не на тему говоришь или глупости,— это в бане не принято, так там не бывает...

Но вот однажды вызывает меня один товарищ по партийной линии. Я не коммунист, правда, но все-таки понял: что-то тут не так, товарищ Мешо, что-то ты опять натворил. Да, похоже... Вызвал он меня, значит, и говорит: «Ты, товарищ, много болтаешь лишнего. На тебя, товарищ, уже две жалобы было». Я говорю: может, ошибка? «Нет,— говорит он,— ошибки. Ты там у вас, в бане, критику развел,— говорит и улыбается товарищ партийный начальник.— Критикуй, пожалуйста, на собраниях, в печати, открыто, а то всякие там голые тебя слушают, а потом заявления пишут, разбирайся тут, время теряя твое и свое. Понимаю, говорит, что он дурак, кто пишет, но служба такая: он пишет, а я меры принимать должен.— Он хороший, умный, этот начальник.— Иди, говорит, и не дуйся на меня. Я при чем? И ты на моем месте должен был бы меня вызвать, к примеру, если бы на меня донос написали. Есть же такие гниды».

Мешо вылил остатки водки себе в рюмку и долил до полной из моей. Выпил.

— Так мне обидно что-то стало. Пошел к заведующему баней и говорю: «Давай, брат, расчет». — «Что так?» — «А так — намыленные, они, говорю, скользкие. Их руками не возьмешь. Не хочу я в тумане работать». Огорчился он, поругал меня и просил подумать. Ему банщиков этих найти — раз плюнуть. Не в этом дело. Привык он ко мне. Мы вместе с ним после работы пиво пили или ракию. Ходили на улицу Мехмед Паши Соколовича пешком. Там жили по соседству. Я снимал подвал, а он в том же доме жил, на втором этаже. Хороший мужик. Иногда в праздники посылает своего сынишку ко мне, говорит тот: «Отец велел сказать, что надо высоту брать. Такой приказ». Это значит, что я должен к нему наверх подняться, выпить с ним.

Как ни просил он подумать, обиделся я и ушел. Не могу я работать и не доверять человеку, с которым говорю, не зная, кто он, правда? Как я буду спину ему тереть, если надо молчать и не отвечать на его слова? А говорить — не то уже доверие. Мне нечего бояться. Мало ли кто что напишет. Просто противно стало, что я верил в

дружбу голых людей. А голые — как одетые. Никакой разницы...

— Итак, ты остался без работы?

— Да. Некоторое время. Потом друзья устроили меня в Гази-Хусрев-бегову библиотеку. Да, не удивляйся. Там все по-арабскому, между прочим. Рукописи, документы из истории. Пахнет от них интересно. Тихо там. Мышь скребется — слышно. Я этих книг, как ты понял, не читал. Знаю, что старинные. Сама библиотека — и та старушка: в 1537 году основана. Я был там сторожем. Ночами много стал думать. А это, знаешь, вреднее всего — много думать. Днем можно. Ночью никак, скажу тебе, нельзя. Ночью человек должен спать. А то начнешь такое надумывать, что хоть вешайся. И я ушел с этой работы...

— Ну, брат ты мой, — сказал я, смеясь, — на тебя, видно, и угодить-то трудно.

— Нет, почему же? Хорошо было работать на римских раскопках...

— Где-где?

— На римских раскопках. Ну, знаешь, Рим?

— Я не слышал, что тут были раскопки.

— Еще какие, — как мне показалось, с гордостью отвечал Мешо. — Совсем рядом — двенадцать километров, Илиджа. Еще второй век нашей эры. Там были целебные источники. Горячий источник. Сейчас тоже. Там я был разнорабочим. На берегу реки Железница. Копал осторожноенько. А командовала маленькая такая, девочка почти. Цыпленок. Научный руководитель раскопок. Смешливенькая. Мы копаем, а она загорает, бывало. Голубые очки-блюдца, бикини синенькое с беленьким, пушочек над губой. Лежит, губки облизывает. Вдруг встрепенется и кричит: «Осторожно! Ради бога! Я слышу что-то...» И верно, мы начинаем чувствовать вскоре, как под лопатой что-то каменное или черепичное чуть-чуть поскрипывает и останавливаемся. Тут она вспархивает, бежит и начинается колдовство с помощью малых лопаток, скребочков разных...

Вот так работаем себе, а однажды рабочие мне говорят: «Смотри, Мешо, наша птичка с тебя глаз не сводит...» Я так разозлился, — она мне в дочки годится, понимаешь, а тут такие разговоры... Отбрил я их раз-другой, а потом стал присматриваться к ней, нашему цыпленку

Случайно, нет ли — встретился с ней глазами. Она их не опускает, а смотрит на меня внимательно. Не по себе мне стало. Не люблю я этого.

А вечером, после работы, смотрю, ждет меня, пока я искупаюсь в речке, чтоб переодеться. Долго я в тот раз копался, — думал, уйдет. Нет, не ушла. Ну, я пошел с ней. Мы пешком шли, ветерок дул, тучи нагоняло. Говорю: «Как бы дождя не было». А она: «А если и дождик, хорошо». Ей, видишь, все хорошо. А мне противно так, пасмурно на душе. Все сразу испортилось. А так я эту работу любил. И она мне, девчушка эта, нравилась. Привыкли мы к ней. Даже вроде нежности было. Только, знаешь ты, хорошее это было отношение к ней, безо всего этого. И мне легко было.

Короче, пошел дождик. Летом, ясное дело, просто — под деревья забежали, кусты раздвинул. Спрятались. Тесно там только было, и она — парная, теплая такая — ко мне прижалась, сердечко даже стучит, слышно. Хочу отодвинуться — некуда. Прижался я к дереву, глаза закрыл и не дышу. А дождь припустил и уже сквозь листву поливает. «Надо бежать», — говорю. Побежали, только она шустрее меня, вижу — не туда бежит, кричу — не туда, мол, — а она смеется, волосенки прилипли, туфельки в руке, и одни зубы блестят... Ну, я за ней, конечно, бегу, а сам думаю: куда ее несет, ведь троллейбус наш совсем в другой стороне. Вижу, подбегаем мы к шалашу, с ходу влетели и упали на пол. Я стал чихать, а она хохочет. Вдруг, чувствую, берет меня за уши руками — и прямо в губы... Ну, молодежь, думаю, пошла. Освободился от нее осторожненько, так, чтоб не обиделась, и говорю: «Вы меня, конечно, простите, а это нам ни к чему...» Вижу — плачет. Ну, я совсем ничего не понимаю. «Что с вами?..» — и так далее. А она как даст мне по лицу. И сама испугалась. Стала на колени, говорит: «Простите меня».

Видишь, какая история... А ты говоришь — работа... Ушел я, само собой, и с этой работы. Зачем мне это? Ребенок ведь. Хоть и ученая она. Работа, брат, сама по себе ничего не значит. Работать везде можно. Были бы руки. А вот вокруг все так запуталось, что и не знаю...

Официант по еле заметному знаку Мешо не раз уже сменил графинчик, и я решил, что беседу с Мешо надо отложить до другого раза. Притворно спохватившись, я сказал ему, что совсем забыл, мне пора бежать в отель,



но назавтра мы договоримся. Мешо ответил, что еще посидит, а завтра утром будет у меня в отеле. Мы обнялись, и я ушел, оглядываясь. Нехорошо вышло — будто я просто бежал с поля боя, бросив Мешо одного. Как тогда, в 1942 году, бросила его она, его Мубера...

Я купил в киоске газету и сел на скамеечке в сквере, который двумя диагональными аллеями связывал магазин автосервиса, киоск с газетами, церковь красного кирпича и продавца жареных початков. Пока я просматривал газету, до меня доносился запах ладана, кукурузы, бензина и сладковатый запах краски — в Югославии журналы и газеты пахнут сладко и загадочно.

Я читал новости о мюнхенской трагедии, рассматривал фотографии «аттентата» (покушения) в спортивном городке и комментарии мировой печати. На другой полосе я нашел и фотографию нашего поезда, размытую и неясную. Вокруг него суетились спасатели. Я пытался представить на фотографии и себя самого, но мое честолюбие не было удовлетворено. Себя я как-то и не мог представить. И поезд казался другим, и место, на котором он был изображен. Я не стал ломать голову над этим и снова перечитал сообщения, набранные помельче, о той же трагедии в Мюнхене. Это было посерьезнее крушения поезда. Ходили слухи, что олимпиада сорвана.

Из церкви вышли женщины. От магазина автосервиса отошел «опель» с новыми подфарниками. Мальчик, долго плакавший в колени матери, наконец получил желтый початок, дымящийся и посыпанный чем-то красным (неужели перцем?). Толстый мужчина отошел от киоска с пачкой ярких журналов, неся под мышкой «доброе и вечное», невзирая на дополнительную к нему наценку в три динара на экземпляр. Все шло своим путем. Пора было двигаться и мне.

Но куда? До Изета оставалось еще часа три. Я решил навестить Лазаря.

Ближе к Баш-Чаршии (рынку) людей было побольше. Хотя день был не базарный (а базарный день в Сараеве — среда), торговля на подступах шла активно. У Лазаря тоже не было свободных мест. Он возвышался над котлом с тестом и, увидев меня, подмигнул мне. Я подождал, пока он кончит колдовать над тестом, разглядывал

публику. Лазарь провел меня в комнатку, где мы сидели в прошлый раз, и отодвинул занавеску,—оказалось, что пространство может расширяться, как и личное время Лазаря. Мы сели за столик, и Лазарь вытер его тряпкой. Потом протянул руку куда-то за ширму и достал стакан с водой. Через мгновение невидимая рука подала ему и две чашечки кофе. Кофе у Лазаря был такой, какой мне уж не придется пить нигде.

— Ну как дела? — спросил я.

— Дела плохо.

— Что так?

— Надо ложиться на операцию. Осколок застрял около кровеносного сосуда. В ноге. Могут отрезать ногу.

— Осколок? — удивился я.

— Там, на Козаре...

Вот те и на! Лазаря и войну я как-то не представлял рядом. Оказывается, и он воевал.

— Потом плохо с женой. Она должна родить, у нее тоже не все хорошо.

— Пятого?

— Шестого,—вздыхнул Лазарь.

— А как гороскоп? — пытался пошутить я.

Лазарь махнул пухлой рукой и заколыхался. Внутри его что-то печально екнуло. Дверь теперь не распахивалась. Вентилятор не заработал. Что-то скучное, дневное появилось в Лазаре, чудес не намечалось. Мне стало жаль этого огромного славного человека.

— Вот и зажать бы сейчас время, остановить его, как на рассвете,—все не унимался я.

Лазарь грустно посмотрел на меня.

Я допил кофе и похлопал Лазаря по пухлому плечу.

— Все будет хорошо, вот увидите!

— Вы думаете? — с надеждой спросил гигант. Он проводил меня до дверей и все время вопросительно смотрел мне в глаза.

Нет, дневной Лазарь был совсем иным. Мне показалось, что он даже стал меньше.

Изет живет далековато. Когда я подъехал к нему на такси, он стоял на балконе и кричал:

— Привет, Огнёв! Иди сюда, там лестница, а то заблудишься.

Я поднялся к нему. Типичная квартира в новостройке. Все маленькое. Скромная обстановка. На стенах фотографии русских поэтов. В шкафу много книг на русском языке. Вошла дочка лет восьми. Поздоровалась и нехотя прочла пару строф русских стихов.

Изет говорил о «Младой Боснии», рассказывал о начале сараевского литературного центра, об анархистах, философах и поэтах, начавших движение самопознания и самосознания боснийцев. Собственно, это поколение накануне первой мировой войны и открыло «окно» в мир.

Милош Виданович первым открывает Аполлинера, из Парижа приходит весть о футуризме. Маяковский становится известным тоже в это время. Андрич открывает сараевцам скандинавов. Начинается увлечение Ибсеном. Изет называет мне Мраза Драгутина, Хамзу Хумо.

Межвоенный Белград становится культурным центром, туда уезжают многие интеллигенты. Сараеву не удастся удержаться на уровне начавшегося культурного ренессанса.

Исаак Самоковлия — один из крупнейших еврейских писателей на Балканах, пишет удивительные рассказы. Андрич говорил Изету, что Самоковлия, пожалуй, больше других дал боснийской новой литературе.

Изет вспоминает Йована Кржича, критика, главного редактора журнала «Преглед». Он составил первую в Югославии антологию чешской поэзии в своих переводах от Волькера до Библа. Он был по происхождению чех. В 1941 году его убили. Близ Сараева. Потом главным редактором «Прегледа» стал Марко Маркович.

Это была интересная судьба. Маленький банковский служащий, он попал на фронт первой мировой войны. В двадцать четыре года напечатал роман. Это была книга о войне. Последняя фраза была такая: «На Западном фронте все спокойно...» В двадцать девять лет букинист дал ему прочитать роман Ремарка. Маркович был потрясен совпадением и мысли, и выводов двух романов. Он сказал печально: «Маленький мой народ... Он никогда не будет известен. Его не узнает мир». Он хорошо знал только войну и думал, что ничего кроме неё не сможет написать. Но потом появился его «Кривой Дрин», боснийские рассказы. Андрич написал ему в письме: «Мы никог-

да не выпрямим «Кривой Дрин»...» Но Маркович остался в Сараеве «выпрямлять» его...

Андрич, Чопич, Скендер Куленович, Боривое Евтич, рассказчик тонкий, напоминающий Изету Тургенева и Чехова, уехали в Белград.

Поколение Изета пришло в 1948—1949 годах.

Маяковский постепенно сменяется западными кумирами — Эллиотом, Сен-Джон Персом. Следующее поколение отходит от демократического понимания поэзии, от гражданской темы.

Но теперь, уверяет меня Изет, во всем мире, в том числе и в Югославии, начинается новое возвращение к поэзии смысла, общественного звучания... Конечно, она другая, не такая наивная, как прежде, средства стиха тоже изменились. Но и герметизм, эстетство ей не угрожает.

Беседу прерывает звонок. В квартиру вламываются «хорошие немцы», которых ждет Изет. Микки и Лотта. Живые молодые люди, своими шутками опровергающие банальное мнение о топорности немецкого остроумия. Они из Мюнхена. Каждый год на собственной машине с прицепом-фургоном, «собакой и тещей, а также детьми» они едут на Ядран. С Изетом подружились в ФРГ.

Перебивая друг друга, хохоча, рассказывают они по-немецки, как добирались на этот раз. Приключения следовали одно за другим.

Но мне понравилось, как просто и скромно рассказали они о случае, который задержал их на несколько дней. По дороге они стали свидетелями дорожной катастрофы. Один посяк сломал руку, помял машину, налетев, сонный, на столб. Микки персвязал поляка, сел за руль в его машину, отогнал ее в нужный город, а сам вернулся поездом к семье. По профессии он техник. Работают на заводе вместе с женой. Живут дружно, много читают, горячо спорят о литературе, любят и знают театр, хорошо осведомлены о политической жизни — говорить с ними было легко и приятно.

Честно говоря, я сидел как зачарованный. Меня приятно поразили какая-то раскованность, легкость и простота жизни этой пары, демократизм, свобода высказывания, чувство собственного достоинства, открытость.

Микки и Лотта были для меня первыми ласточками того нового, незнакомого еще мне поколения западных немцев, которое вселяет надежду, что процессы разрядки в Европе могут стать реальным делом...

За полночь возвращался я пешком в отель. Я шел в прохладной ночи, руководствуясь чутьем более, нежели знанием пути. Справа внизу мерцал туманными огнями проспект Маршала Тито. Я постепенно спускался, беря налево. Я шел мимо длинных кладбищ.

Мусульманские белели — плиты торчком, наклонно, похожие и на надолбы и на фигуры людей в чалмах.

Потом тянулись православные — темные на еще более темном фоне неба — кресты.

Город кладбищ...

Прошел кварталы новостроек — сараевские Черемушки с белыми небоскребами, в которых кое-где краснели и зеленели абажуры.

Правее, резко правее, вышел на главную магистраль.

В холле второго этажа, возле лифта, в глубоком кресле плакала пожилая женщина в халате. На подлокотнике кресла сидел мужчина лет шестидесяти в ночной пижаме и гладил женщину по плечу.

Они говорили... по-украински.

— Ну что же ты, голуба, плачешь? Ведь мы не навечно расстаемся... В Мельбурне увидимся...

Я быстро прошел к своей двери, нашаривая огромным ключом отверстие, услышал конец фразы:

— ...странного этого мира.

Засыпая, видел перед собой Микки, Лотту, Изета, за ними — Мешо, который ходил по глубокому снегу и что-то искал... Потом все потонуло в расплывающихся голубых кругах, в которых парил толстый Лазарь. Он двигал руками и смешно надувал щеки. Он подмигнул мне, и я поплыл за ним...

*6 сентября*

Мешо пришел прощаться. Он потирал шрам и смотрел через мою голову на горы. Мы стояли у подъезда отеля, ждали машину, которую обещал Громаджич.

— Значит, все же решил вернуться в горы? — спросил я.

— Да, знаешь, все-таки высота. Снег, лыжи — это я хорошо знаю. Надо делать то, что хорошо знаешь.

— Конечно.

— Тебе надо бы поехать автобусом. Эту дорогу надо видеть. Самолет совсем не то.

— Жалко времени, Мешо.

— Да, вот тебе, чуть не забыл. — Он смущенно порылся в карманах и достал плоскую бутылочку с позолоченной навинчивающейся крышкой. — Посэдишь сам...

— Спасибо, друг. У нас еще есть время посидеть вместе.

Я повел Мешо в заросли сирени, мы сели на влажные от росы цветные пластиковые стулья кафе. Отсюда был виден подъезд. Я отвинтил пробку зубами и протянул Мешо. Он отвел мою руку.

— Сначала гость.

Сказано это было церемонно, с сознанием ритуала.

Коньяк обжег глотку.

— Ты мало увидел, — покачал головой Мешо, утирая губы после затяжного глотка. — Вообще мы мало видим. Иногда я думаю, что глаза мешают видеть. Ты едешь в Черногорию. Там родился великий поэт Негош. Он сказал: «Истинно ль все таково, как видим, или нас обманывает зренье?» Думаю — обманывает. Человек видит многое, и все западает в него. А под этим грузом лежит самое главное, что нельзя забывать...

— Что, например?

— Сам знаешь. Мать, например, родину свою... Запах хлеба... И другое... А человек так устроен — все забывает. Все...

— Мрачно ты с утра настроен, Мешо.

Он не отвечал, вертел в руках бутылочку, удивленно разглядывая ее, — только что она казалась полной. Потом сказал:

— А ведь она может приехать опять, как ты думаешь?..

Я понял, о чем он.

— А почему бы ей не приехать? Вполне может. В жизни, Мешо, все бывает не так, как ожидаешь. Может, и немца этого уже нет...

— Он не немец,— тихо сказал Мешо, как будто это было важно.

К подъезду подъехала машина. Осман вышел из нее и потянулся. Я окликнул его.

Мы обнялись с Мешо, и он быстро ушел.

Чемодан мой был уже внизу. Прощание с друзьями не заняло много времени. Богичевич, Тонтич, Радоня, которому снова пришлось меня провожать, какая-то журналистка из газеты «Освобождение», сумевшая в пять минут взять интервью, из которого, видимо, никто ничего не сможет понять, так как девушка с блокнотом знала русский так же, как я оттенки сербско-хорватского...

Осман довез меня на аэродром быстро. Самолет опаздывал, и я уговорил вежливого парня возвращаться в Сараево. На прощанье Осман купил мне пачку журналов по своему вкусу и сердечно обнял меня.

Аэровокзал Сараева маленький, но современный, чистый, светлый, легкий — точная копия белградского, только в уменьшении.

Пока самолет опаздывал на сорок минут.

Быстро просмотрев красочные журналы, я достал рукопись Радони Вешовича и стал читать. Это были воспоминания партизана о марше из Боснии в Сербию зимой 1942 года. Я так увлекся, что не заметил, как объявили посадку на Титоград. В самолете продолжал читать.

Может быть, книга Радони выйдет когда-нибудь на русском языке. Пока же я читал ее, почти все понимая, не отрываясь. Прежде всего она подкупала правдой. Это была исповедь человека, преданного идее, может быть даже фанатичного в чем-то, но предельно точного в своих чувствах и наблюдениях. Как мне кажется, качество это не частое. Тенденция нигде не застилала глаза, не лишала объективности.

И еще одно. Невероятные трудности — предельное напряжение воли и сил, борьба с голодом, холодом, бессонницей, тифозным мором,— доводившие людей до животного состояния, нигде не приукрашены, о страшном рассказано просто, естественно, сдержанно, как о чем-то по-неволе обычном, свойственном самому времени, когда нельзя было жить иначе. Героическое вставало за каж-

дой строкой повествования, но нигде не кричало о себе, не говорю уже — не любовалось собой.

Книга была названа многозначительно — «Колошша и горизонты». Да, путь колонны, пробивающейся из вражеского кольца окружения через горные цепи, постепенно выводит героев этой книги к новым горизонтам сознания. Они ни в чем не разуверились, напротив, смертельная гроза, крестившая их молниями, укрепила героев в сознании правоты исторической, не только частной их дела. Финал, гордый и светлый по общей тональности, временами сменяется отступлениями чуточку грустными и растерянными... Много жизней осталось позади, много надежд было разбито... «Пролетарская бригада», с которой прошел этот путь Вешович, потеряла от местечка Рудо, где она начала свой мученический и героический марш, каждого второго бойца, оставив за собой восемь тысяч могил!

Радоня рассказывал мне многое, но теперь написанное и слышанное как-то наложилось одно на другое и я вспоминаю отсеянное памятью — детали яростные, неповторимые, пронзительно зримые...

Холодная ночь, когда в горах застывает кровь в жилах, а надо идти, опираясь на плечи двух пленных итальянцев... Да, он болен, в жару тифа, а эти два пленных, никем не охраняемых, бредут вместе, поддерживая югослава, падающего от бреда и слабости...

...И самая прекрасная звезда — это крестьянское окошко в ночи...

...Умирает партизан и твердит свой адрес, как будто боится забыть его или как будто надеется вернуться оттуда...

...Дождь идет на трупы. Они лежат лицами в небо, их не в силах убирать. Дырявый деревянный навес. Из окна лазарета видит это партизан, тифозный выздоравливающий. Дождь наполняет открытые рты...

...«Зоза» — вареная пшеница и кукуруза, которую со времен первых славянских поселений, со времен язычества, жадно едят солдаты. Здесь, среди четников, получающих «союзнический паек», нацепив четническую кокарду, стоит партизан-разведчик, глотая слюну...

...Врач, хорват по национальности, мрачнеет день ото



дня — колонна все дальше углубляется на сербскую территорию. «Твоя профессия дефицитная», — успокаивает его Радоня...

...Жители села, запуганные распространением тифа, просят четников «пугнуть» партизан и крестятся, когда те уходят ночью в горы...

...Партизан, измученный голодом, жарит на привале шкуру, из которой делают опанки, держит ее над костром, сухая, она трещит, но иногда пузырьком выделяется жир...

...Партизаны набросились на поле семенного картофеля, а жители грозили перебить их кольями, но так и ограничились руганью. Партизаны, верные выработанной привычке, делятся картошкой с крестьянами...

...Смертельно раненный, малодушно спрятавший перед боем краюху хлеба, хрипит другу: «Возьми у меня за пазухой кусок хлеба, чтобы мне не позориться...»

...Мальчик делает зарубку на дереве, где убит отец. Вернется, разыщет.

...Знаменитая до войны актриса Рутич с новорожденным на руках идет в колонне...

...Партизаны несут носилки с обессиленным поэтом Владимиром Назором. Ему семьдесят лет...

...Радоня прячет в дупло «Дон-Кихота». Три наступления — прочитать некогда, все откладывал... А теперь приказ все бросить, чтобы обессиленным людям нести больше патронов...

...Вороны, оказывается, слетаются перед каждой бомбежкой «юнкерсов»...

...Южанин переселяется с каменистого бедного юга к Воеводину после освобождения — ведет кошку, собаку, козу...

...Ветки зелени и цветы вставлены в стволы винтовок советских солдат под Белградом...

Дочитываю последние страницы. Стюардесса говорит, что идем на посадку. Смотрю в иллюминатор. Низкие тучи. Ровная площадка, недостроенный аэропорт — какие-то замысловатой архитектуры мрачные каменные глыбы... С трапа вижу длинного «князя» (так моя жена назвала Сретена Перовича в его приезд в Москву) — на две

головы выше других, стоит покручивая черный ус, машет мне рукой, худущий, чуть сутулящийся...

Сретен Перович интересная личность. Колоритен. В нем, кажется, воплотились все основные черты черногорского характера. Причем с надбавкой. Гордый, вспыльчивый, готовый взорваться каждую минуту, широкий, красиво, с жестами, говорящий, человек этот возглавляет Союз писателей Черногории, пишет стихи, несколько меланхолические, мягкие, в полном противоречии с его взрывным темпераментом.

Он сажает меня в старенький, изрядно потрепанный автомобиль, заранее поджав губы,—предчувствует ненужные возгласы или вопросы, на какой свалке откопал он такое ископаемое. Но у меня нет и такого экземпляра, и я совсем не хочу куражиться! Однако Сретен не может поверить, что этот этап уже пройден, и нервничает. Он то и дело сворачивает на свою колею:

— Эта машина имеет свои достоинства. У нее хороший мотор.

Я молчу. Я не догадываюсь, к чему он клонит.

— Конечно, некоторые думают, что машина — это всякие там украшения. Но настоящий мужчина не гонится за этим...

Где-то на полпути к Титограду:

— Конечно, у Бранко машина получше. У Милорада тоже. Я пока не хочу менять.

В голосе некоторое примирение с неизбежностью. И страдание.

— А чего? Хорошая машина,—говорю я, все еще не оценив по достоинству мазохизма ее хозяина.

— Я делаю на ней свободно сто — сто двадцать километров! А зачем мне больше? Или, ты считаешь, мало?

И чего он задирается?

Самолюбие «князя» уязвлено. Наверняка Бранко и Милорад, мои друзья, а прежде — друзья самого Сретена, наступили неволью на мозоль его самолюбия.

Настроение Сретена несколько поднимается, когда мы проезжаем мимо строящегося алюминиевого комбината. Сретен патриот своей Черногории. Все, что строится, проектируется, издается, намечается к изданию в Черногории, он знает, говорит об этом с гордостью, готов защищать от врагов, настоящих и возможных, предполагаемых.

— У нас наконец будет своя Академия наук.

В Титограде Сретен еще больше набычивается. Есть опасность, что после барочной Любляны и рыцарского Загреба, после многоэтажного Белграда столица черногорцев может разочаровать своими скромными масштабами. Да, впечатление не ахти какое. Но дело ведь не в масштабах и древности строений! Начинаю блистать эрудицией насчет народа и наших связей. Сретен настораживается. Потом снисходительно улыбается. Потом теплеет. Потом обнимает меня длинной своей, свободной от баранки рукой... Большой ребенок.

Я очень люблю этого чудака за наивность, горячность, искренность, верность. Его дружба с Бранко Баньевичем и Милорадом Стоевичем напоминает редкие теперь примеры братства по духу. Эти три мушкетера во славу Черногории напоминают мне отчасти такую же святую троицу в Литве. Марцинкявичюс, Балтакис, Малдонис...

Впрочем, у этих трех мушкетеров из Титограда есть и свой д'Артаньян. Зовут его Сретен Асанович. Он-то и познакомил меня в прошлый приезд в Белграде с черногорской троицей. Вообще-то Асанович большая фигура в югославской столице. Только не называется министр, а как — я запомнил, да и не столь уж это важно. Важно, что Асанович очень милый, веселый, заводной человек. Красавец с блестящими зубами, глазами и волосами. Вообще блестящая фигура. Как я заметил, у черногорцев в принципе много детей. Видно, помнят время, когда каждый мужчина был на счету, и рожают в основном мальчиков. И очень гордятся этим. В тот день, когда меня позвал Асанович, праздновалось рождение очередного сына. В потолок, правда, не стреляли, но пробок летало туда предостаточно. Жена Асановича накрыла этот стол, который я долго не забуду. Все было черногорское на столе, одно блюдо вкуснее другого, и казалось, конца пирю не предвидится.

Там я и оценил остроумие Бранка, благородную учтивость Милорада, взрывчатость Сретена Перовича, ласковую веселость хозяина...

После пира Перович потребовал, чтобы ему дали вести машину Асановича, мы куда-то стремились, как стремятся всегда и везде люди, долго просидевшие за столом,

хорошим столом. Перович наконец сел за руль, включил зажигание. Мы стояли в сторонке и смеялись. Смеялись потому, что мотор ревел, но машина не трогалась с места.

— Я говорил тебе, упрямец, что ты не знаешь эту марку,— спокойно улыбался Асанович.

Бранко хохотал, Милорад вежливо смеялся, прикрывая рот. Вzbешенный Перович суетливо переключал скорости, дергал, тянул, теребил рычажки и кнопки, сучил длинными худыми ногами в поисках искомой педали. Он побагровел и кусал усы. Оказалось (Асанович сжалился над гордецом), в машине есть секретный ручной тормоз.

— Секретка не входит в особенности новой марки! — распалялся Сретен Перович.— Я с любой машиной могу управиться!

Он размахивал руками, словно мельница, та, против которой воевал Дон-Кихот...

Сейчас он молча подруливал к гостинице «Черного-рия».

— Большой отель,— сказал я.

Сретен благодарно посмотрел на меня.

— Здесь ты хорошо отдохнешь, а программа завтра. Возможно, я еще найду и сегодня, или пришлю молодых поэтов.

Вечером под окном настраивали скрипку. Потом чистое прекрасное контральто в сопровождении мужчин исполнило «Амурские волны». Я вышел на балкон. Он висел на третьем этаже, над морем огней летнего ресторана. Разноцветные столики прятались в зеленых куртинках. С гор тянуло свежестью. Ресторан тихо гудел. Белые куртки официантов порхали в зелени. Певица пела цыганские романсы.

В дверь постучали. Вошли молодые поэты. Они были скромны и не знали, куда девать руки. Молодые поэты повели меня вниз и долго угощали стихами,— напитки я отверг решительно, и, оказалось, предусмотрительно.

Вскоре подошло подкрепление — резерв главного командования — в лице почтенных лиц из Комитета по культурным связям с заграницей.

Звезды уже сверкали на черногорских небесах, когда машина понесла нас в загородный ресторан.

...За столом сидел со мной Мирослав Джурович, крупный парень со скучающим лицом и полузакрытыми глазами.

Скучающий вид придавала его лицу всего-навсего особая конституция век — они казались закрытыми, хотя, как я потом убедился, видел Мирко все, что ему даже не полагалось видеть, прекрасно.

Я порядком устал после дороги и осмотра столицы Черногории, так как по приезде в отель не лег отдохнуть, как обещал Сретену, а пошел бродить по улицам Титограда.

На столе все осталось нетронутым, к огорчению моих хозяев. Но разговор получился интересным. В тот вечер я узнал много поучительного...

...Что султан Магомет II, взяв Константинополь, например, въехал в храм Софии верхом...

...что Мирко Джурович поедет со мной завтра в горы и в принципе дал согласие сопровождать меня в Черногории...

...что турчанки вслед врагам разматывали клубок черной шерсти, чтоб те не воротились обратно...

...что Комитет добровольно берет на себя расходы по моим поездкам, так как Союз писателей не может осилить один пребывание гостя из-за границы в том объеме, как это задумал Сретен Перович и другие хозяева (а что он задумал?)...

...что Карагеоргий назван Черным потому, что убил отца за то, что тот отказался вступить в заговор против турок...

...что в общем и Союз справился бы с другим гостем, но не с таким как я — из самой России...

...Что Гертук, византийский адмирал, предал императора Константина XI в руки султану Магомету II, а тот возьми да и повесь Гертука как... изменника...

...что Мирко Джурович пишет не только докладные в Комитете, но и стихи...

...что накануне Косовской битвы Бранкович оклеветал Милоша Обилича, и тот, убив султана Мурата, опроверг клевету...

...что завтра же мы и поедем по Черногории — в горы, в горы, конечно, но потом и на Средиземноморье, в Боку Которску, в Задар, Будву, Герцегнови, а успеем — так и в Дубровник...

...Сонный Мирко хлопает меня по спине и улыбается.  
Звезды, мириады звезд усеяли черное небо.

Мы возвращаемся в город.

Засыпаю, счастливый от впечатлений и предвкушения  
гор и голубых вод Медитерана...

*7 сентября*

Утром Перович водил по городу. Прогулки деловые. Сначала мы познакомились с Союзом писателей. Тут обстановка была домашняя. Секретарша и еще разные гости писатели сидели прямо на канцелярских столах, листали новые книжки, тут же наваленные, и непринужденно перескакивали с темы на тему. Кто-то сбегал на базар и принес свежей простокваши с лепешками. За окном шумела речка Рибница, которую с улицы я не видел. Она текла тоже по-домашнему — во дворе. С валуна на валун прыгали мальчишки. С берега на них лаяла пегая собака.

Сретен заметил, что я морщусь. Я не то простудил поясницу, не то потянул мышцу. Он схватил меня за плечи, повернул и стал с невероятной силой массажировать спину. При этом он продолжал спор с каким-то ироничным человеком о молодых поэтах (этот сборник он составлял, и его-то сегодня и обсуждали тут, горячо и азартно, как все, что обсуждают черногорцы)... Когда у Сретена не хватало аргументов, он освобождал на время мою спину и жестикулировал обеими руками.

Рядом кто-то дозванивался Баньевичу. Закрыв трубку рукой, он сообщил Перовичу, что сам Бранко спит, а сын его говорит, что отец с вечера здорово дернул. Все смеются над простодушием малыша.

Появляется сонный Мирко Джурович, здоровается со всеми и спрашивает Перовича, что он делает со мной.

— Не видишь? Звони лучше в Будву, не теряй времени.

— Может, хватит? Уже прошло,— говорю я.

— Молчи.

Перович трет, как банщик, меня уже шатает. Кроме того, мне неудобно в таком положении участвовать в дискуссии о молодой русской поэзии. А тема уже свернула на эту дорогу. Джурович кричит в трубку, делая нам знак, чтобы мы не кричали так громко:

— Алло! Будва?.. Дуже Чакич?.. Джурович! Добер дан! Како сте?.. Одлично! Молим вас... У квалитетной

кучи... Спаванье у еднокреветной соби... Русский! Русский, да, да!

Мирко поворачивается к нам, отставляя трубку:

— Не верит!

Наконец Сретен отпускает мою спину, а Мирко вконец договаривается о том, что куча будет «квалитетная» и «еднокреветная», что означает — качественная, одноместная.

Мы выходим на улицу и большой толпой идем в редакцию журнала «Стваранье». Расстояние небольшое. В «Стваранье» такая же обстановка, сердечная, непринужденная. Чедо Вукович, главный редактор, бывший партизан, писатель, радостно показывает мне номер, где напечатана моя статья о советской поэзии. Простоквашей тут не обходится.

Веселые, идем дальше по коридору.

Мило Краль, поэт, главный редактор черногорской газеты, вспоминает московских знакомых, спрашивает о новостях.

Нас уже больше, когда мы вываливаемся на улицу и идем дальше. Солнце палит невыносимо. После короткого спора, куда идти сначала, сворачиваем налево и вскоре попадаем на выставку черногорской живописи и графики. «Модерна галерея. Титоград» — это низенький домик продолговатой формы. Прохладно. На беленых стенах множество картин. Прежде всего попадаешь в рай красок. Суровый пейзаж черногорских нагорий, скал, каменная пустыня, только в снежных высях приобретающая яркость, здесь, в стенах галереи, приобретает неожиданные красочные сочетания.

И вдруг начинаешь вспоминать, что и горы этого края действительно же многоцветны. Желтый дурмящий дрок порой покрывает сотни метров, делая скалы плюшевыми и гладкими на вид. Красные и лиловые скалы пушисты на ощупь — они покрываются весной цветным мхом. На альпийских полянах растет эдельвейс. Даже оливы светятся на солнце, отливая серебристыми оттенками на фоне мрачных теней от нависающих скал...

Останавливаюсь перед полотном Нико Джуровича «Перед Враниной»: цепи гор, как вздымающиеся волны

моря,— конца им нет... «Каменица» Гойко Беркуляна — сказочная игра полутонов и оттенков фантастически освещенной пещеры... В «Катунской нахии» Мило Павловича солнце и горы играют в какую-то первобытную чехарду. Горы, горы, горы...

Нет, не одни только горы рисуют черногорские художники. Тематика картин многообразна. Но именно горы поразили меня на их полотнах. Они увидены так, как только черногорец может увидеть это живое, грандиозное, одушевленное скопление каменного величия...

С выставки Перович повел меня в театр. Тут мы распрощались с остальными и вдвоем поднялись по лестнице в прохладный, полутемный вестибюль. Нас встретил известный режиссер Вакич. Он любезно познакомил меня с планами театра, посетовал на местные трудности, рассказал о совместной постановке украинских и черногорских кинематографистов, только что законченной. Вакич занимается и кино, принимал участие в создании сценария для молодого нашего украинского режиссера Ильенко. О постановке говорит уважительно, но сдержанно.

Вакич приглашает нас на балкон, мы проходим через буфет, где сейчас много актеров,— пауза сделана в репетициях специально для нас. Я чувствую себя неловко. Но Вакич говорит, что ему самому интересна эта беседа, он интересуется нашими проблемами искусства. Живо включается в разговор о связи кино и поэзии и обнаруживает большие теоретические познания. Свободно оперирует примерами из Эйзенштейна, Станиславского, что не очень меня удивляет, но и цитирует поэтов русских.

Нас незаметно наблюдают сидящие за соседним столиком артисты. Я смотрю в зеркало и поражаюсь: никогда прежде не приходилось видеть такого количества красивых актрис, молодых и поразительно красивых. Богатый у Вакича выбор для репертуара. Тут наверняка Джульетту может играть и не бабушка. Если они еще и талантливы так, как красивы, Титограду повезло... Играют ли они сейчас? Нет. Сезон не открыт, к сожалению.

— Программа.— Перович показывает на часы.

Встаем, прощаемся.

— Обязательно приезжайте еще! — говорит Вакич.



Мы не договорили. У нас намечалась уже взаимная симпатия, а симпатия, вырастающая из взаимопонимания, угадывания ответов собеседника, остроты этого угадывания с полуслова и полунамека — редки и всегда оставляют счастливое чувство сотворчества...

Добрый и щедрый Сретен! Он обнимает меня перед свежевывытым «пежо» и говорит, чтобы я ездил с Мирко Джуровичем сколько угодно и куда захочу, не думая о расходах, — Черногорию надо видеть!

«Пежо» этот — такси. Его хозяин Иванович (он так и представляется), полный мужчина с усами, здоровается за руку и заверяет, что везти русского в Цетинье для него большая честь. Мирко укладывает чемодан в багажник и говорит мне:

— Жалко, не хочет везти в Будву. Говорит, надо вернуться. Ему невыгодно — в Цетинье задержимся часа на три. Невыгодно!

Тронулись. Первые же реплики моих попутчиков, и, оказывается, они почти знают друг друга. На следующих десяти километрах устанавливаются общие знакомые. Дорога забирает вверх. Машина идет играючи. Выясняется еще одна подробность: наш Иванович — не более, не менее — чемпион Черногории в авторалли. Машина личная, так сказать, частный сектор. Любит работу, много ездит, много встречается с людьми. Заработок? Неплохой.

Запевает. Мирко подтягивает ему красивым тенором. Потом оба ругают черногорские песни.

— Мы немзыкальный народ. Это все чужие песни. Первая — македонская, вторая — сербская.

Но и это говорится с гордостью.

Я дышу полной грудью. Какой воздух! Пахнет каким-то особым настоем трав. Дорога круто петляет, медленно набирая высоту между громадных скал, наваленных посреди довольно покато расположенной долины. Потом дорога сужается, входит в подобие скалистого коридора, за ним резко тормозим — впереди идущая машина сигнализирует и притормаживает. Едем в один ряд, медленно, — что впереди случилось. Справа проезжаем корчму. Обращаю внимание на название — «Царев лаз». И фамилия владельца.

Метров через триста видим аварию. Иванович бежит вперед, с ходу вмешивается в разбирательство инцидента. Жертв нет. Государственный «пикап» стукнул сзади частного. Иванович говорит:

— Тому что! А этот потрясет карманом.

«Тот» действительно спокоен. Сидит на траве, жует бутерброд, ждет дорожную милицию. Частник кричит и насккивает на сидящего, чуть не плачет. Вокруг них стоят водители других машин. Их с десятков. Дорога узкая, пока не приедет милиция, приходится загорать.

Мы возвращаемся к корчме, Иванович уверяет, что раньше, чем через час, мы не получим дорогу.

Корчма полна народу. Садимся за единственный свободный столик. Рядом большая компания черногорцев. Они кончили пить и сейчас хватают друг друга за руки и кричат.

— Ничего,— улыбается Мирко,— это так надо. Черногорец не даст заплатить другому. Так они могут кричать часами.

Официантка, хозяйская дочь, дважды подходила к столу, но борьба за право заплатить только нарастала с новой силой. Девушка уходит за перегородку.

Другие участники вынужденного привала подтягиваются к корчме. Кто-то включает большой телевизор. Замолкают даже претенденты на оплату общего счета. Включается Мюнхен. Олимпиада.

Мы потягиваем пиво, Иванович — кофе. Прежде, чем налить, он делает турочкой круговые движения, как колдует. Как вертит баранку. Оказывается, так и надо пить по-черногорски. Остается гуща.

На экране женский бег. Мелькают ноги. Нарастает волнение в корчме. Подходит девушка со счетом. Снова вспышка короткой борьбы за престиж. Дрожат сильные, закатанные до локтя, волосатые, напряженные, с сжатыми бумажками... А глаза — в телевизорный экран. Девушка пытается проявить инициативу и просто пытается отнять у ближнего к ней парня деньги,— он и сам рад бы разжать руку, да братья по трапезе не дают. Девушка уходит ни с чем.

Ближе всех к телевизору сидит старик с седыми уса-

ми. Он так комментирует появление на экране нашей метательницы ядра:

— Какой же муж у нее?

Старик явно растерян. Качает головой. Ему, черногорцу, никак нельзя представить, что муж может оказаться поменьше, чем эта сильная баба с тяжеленным ядром. Мир рушится, и нельзя угадать, откуда придет беда...

К спортсменам из ФРГ отношение такое же благожелательное.

Спрашиваю Мирко, осталось ли в народе чувство мести,— этого можно было бы ожидать после такой войны. Нет, считает он. Мир меняется, и новые поколения знают обо всем понаслышке: ведь сейчас в мире большинство — люди от двадцати до тридцати лет!

Я подумал: если земной шар населен в основном молодостью, то надо во всех вопросах смотреть прежде всего вперед! И то, что мы, прошлое поколение, хотим напомнить,— наш опыт, наши знания о жизни,— должно быть нацелено в завтрашний день наших детей. Тогда оно имеет какой-то смысл. Кроме самоуспокоения.

— А потом,— продолжает Миро,— тут у нас хозяйничали итальянцы. Мы с латинянами почти родственники. И счета старые, и знаем друг друга хорошо. В общем-то народ это невредный, добрый. Воевать они не хотели. Особо по своей инициативе не зверствовали. Но их заставляли...

Я говорю, что читал мемуары Уго Кавальеро, начальника штаба итальянской армии в прошлую войну. Он там приводит слова Муссолини, касающиеся, правда, словенцев, но тем не менее относящиеся вообще к славянам на Балканах: «Мы считали этот район спокойным... После того, как начались военные действия с Россией, жители... считающие себя славянами, стали проявлять солидарность с русскими... Я думаю, что пора перейти к решительным действиям. Надо покончить с представлением о мягкости и сентиментальности итальянцев. Югославы никогда не будут относиться к нам хорошо».

— К нему никто хорошо и не относится,— философски изрек Миро.— А итальянцев мы любим.

Борьба за соседним столом вступила, кажется, в решающую фазу. Крик стоял страшный, стол качался. Девушка держала над головой пачку денег, подымаясь на

цыпочках и выпятив грудь. Отнимать деньги у нее не стали. Но тот, кто, видимо, проиграл эту схватку за честь, потребовал еще три бутылки вина. Он решил отомстить победителю, как мог...

Пора было ехать. Дорогу очистили. Иванович ювелирно объехал битое стекло, и мы понеслись с ветерком по горной дороге.

— Войну я помню,— сказал Иванович.— Мы выступили сразу, поднялись все, старые и молодые. Сначала одно село, потом другое, жгли костры на горах — далеко было видно...

Уго Кавальеро вспоминает: «14 июля 1941 г.... Разговор по телефону с Бироли об инцидентах в Черногории. Спросил у Бироли: «Кто такие эти повстанцы и сколько их?»... 15 июля. Приказал Бироли отправить в Черногорию одну дивизию...»

— Ну, одной дивизией дело не обошлось,— добавляет Иванович.

Я рассказываю о своей поездке в Словению, о том, что, случайно напав на историю дивизии «Турино», я позже узнал о бесславном конце ее командира — Гаудини. Он, начав с террора по отношению к партизанам, к концу кампании, когда немцы решили наказать бывших союзников по коалиции за «измену», сам пал жертвой террора немцев. Он был расстрелян вместе со своим штабом и восемнадцатью офицерами как заложник... Эти сведения я получил из книги чешского историка Вацлава Краля «Преступления против Европы».

— Жертвы были большие,— говорит Иванович,— очень большие. У нас во многих деревнях не осталось мужчин вообще. Сражались и женщины... Во всей Югославии мы потеряли около двух миллионов.

Я вспоминаю, что из них только около трехсот тысяч человек пали в боях, остальные — жертвы репрессий!

Ни Иванович, ни Миро не знали этого соотношения, качают головами: может ли быть такое? Точные цифры, отвечаю я. Статистика эта заставляет задуматься.

Первым прерывает молчание Миро:

— У нас, черногорцев, смерть в бою священна. Об этом род не забывает, из поколения в поколение передается память о герое.

А смерть от репрессий? Люди гибнут в застенках, от пыток, от тифа, от голода, в газовых камерах,— говорю я.— Наконец, сотни тысяч погибли безвестной смертью. Может, они вели себя и как герои, может, просто стали жертвами силы. Тупой силы. Никто никогда не узнает, как они встретили свой последний час, последнюю свою минуту. Героизм должен начинаться раньше — до смертной минуты. Человечество должно научиться зоркости распознавания зла задолго до того, как оно распухнет от человеческой крови и станет заметно издали!

Разговор переходит на Мюнхен, недавнее кровавое побоище на олимпиаде. Все газеты здесь писали об этом много и с горечью. Я вспомнил, как реагировал на мою тревогу Перович:

— Э! В Китае в девятнадцатом веке погибло пятьдесят два миллиона человек, а узнали об этом в Европе только в двадцатом! Здесь из десятка жертв делаются символические выводы! Ерунда это! Человечество молча теряет людей, молча отправляет на тот свет миллионы... Пресса, сенсация способны изменять пропорции событий, малое делать великим и наоборот!

Но мысли мои уже далеко. Я думаю о воле к сопротивлению смерти. Человека. Народа.

...Известно, например, что гитлеровцы установили в Югославии постоянный процент: за убитого оккупанта — сто заложников. Потом, когда близился час возмездия, эта цифра сокращалась. Но она оставалась на уровне десяти за одного до конца войны... Подсчитано, что если бы сохранилось первоначально установленное количество заложников, то при большом количестве потерь в немецких частях, расположенных в Югославии, население Сербии, например, было бы очень быстро истреблено полностью!

Жена бывшего югославского посла в Москве рассказывала мне, что в их роду (она родом из Черногории) были убиты в боях за свободу прадед, дед, отец, братья отца, ее братья, сама она сражалась в Далмации, была ранена... Похожее положение в семье ее мужа. Как тут не понять кажущуюся хвастливой привычку черногорца перечислять свои колена родословной! Тот же Бранко или Перович скороговоркой сыплют имена предков до пятнадцатого колена: «Перо, Мичо, Миро, Бранко, Сретен, Радован...» и т. д. и т. д.

...Чем выше в горы подымается дорога, тем более суровее все вокруг. Сосны, изломанные, перекрученные, почти горизонтальные, нависают над дорогой. Кое-где видны обнаженные бурые корни. «Корни за камень...» Эта строчка Радована Зоговича приходит на память. (Так назвал я антологию черногорской поэзии, которую составляю для «Прогресса»!..)

Дорога опять спускается вниз. До Скадарского озера она — как ни кружится — пробивается на юго-запад, но вот слева позади блеснули голубые воды, закрылись горами, опять показались на миг. Солнце последний раз бросает на них прощальный луч. Выше и выше пошла дорога. Теперь она забирает западнее и чуть-чуть, самую малость — на запад-северо-запад.

— Вон Риека Черноевича, — показывает Миро. — Плохо видно? Это знаменитое село. Здесь создана была первая типография. Шрифты привезли из Италии. Пятнадцатый век! Гуттенберг имел типографию приватную. Эта была первая в Европе государственная типография.

Едем дальше. Слева внизу открывается вид на село.

— Добрское... Николай Первый Петрович строил дорогу на Цетинье. Она шла там, ниже, — видишь остатки трассы? Но жители заупрямились. Земли здесь плодородные. Это редкость. Сказали: «Не дадим отнимать землю. Мы ее на горбу таскали. По корзине. По пригоршне». Рассердился Николай: ну, ладно, мол, пожалеете. И велел рубить гору выше. Так дорога прошла мимо Добрского села навеки.

— А теперь?

— И теперь, как видишь, в стороне село. Но люди предпочли быть в стороне от большой дороги. К ним и турки после других добрались...

— Все же добрались?

— А как же!

Долго смотрю на красные черепичные крыши, мечеть, зеленые сады Добрского села. Вечерний туман заволакивает село. Последней видна головка мечети.

— У этого села свой характер, — говорит Миро. — Тут вообще упрямые люди.

Иванович спрашивает меня, знаю ли я что-нибудь о легендарном Пеко. Пеко Дапчевич. Герой Испанской вой-

ны. В оккупацию о нем ходили рассказы, похожие на сказку...

— Он разоружил сто солдат. В Бельведере! — кричит Мирю.

— Пеко — наша гордость. Он тут недалеко родился, — добавляет Иванович. — О нем у нас песни поют. Сравнивают его знаешь с кем? С Тимошенко!

И они затягивают маршеобразную песню, где действительно есть сравнение с Тимошенко. Наивные, гордые, лихие строки, в которых подвиги Пеко и русского героя сравнены с юнацкими подвигами прошлого!

В Цетинье я уже был и раньше, но теперь городок черногорской славы показался мне больше и современнее. Мы проехали главной улицей. Был тихий вечер. Много молодежи на зеленом, типа узкого сквера, проспекте. Мне показывают старые домики посольств. В маленькой Черногории были аккредитованы послы Англии, Франции, России, Италии, даже, кажется, Америки... Дома имеют свое лицо. Европейские игрушечные сооружения в один этаж, в стиле рококо, барокко, романской готики, вообще без стиля, но с претензией на роскошь.

Вот огромное дерево, под которым прямо на траве в кружок садились государственные мужи Черногории. Владыка, сердары, воеводы, князья. Поодаль козы щипали траву. К старейшинам могли подходить и простые смертные, особенно старики. Их советы порой поворачивали работу государственного совета в новое русло.

В Цетинье сохранились и турецкие мечети, и православные церкви, и католические костелы, и синагоги. Несмотря на кровавую борьбу с турками, черногорцы не мстительны, с пониманием и широтой относятся к иноверцам, к иностранцам вообще. Но так было, конечно, не всегда.

В Цетинье удивительный музей. Поражает количество русских экспонатов всех времен — давняя трогательная дружба имеет свою историю. О ней существует огромная литература, и мне незачем трясти тут эрудицией. Кто захочет прочитать об этом — найдет немало книг и описаний.

Вечером в городском театре присутствуем на торжест-

венном объявлении победителя Всеюгославского конкурса литературы имени Негоша. Для этого меня и привезли сюда по программе. Сюда съехались представители всех республик страны. Жюри представительно. Я встречаю много своих друзей — писателей Словении, Хорватии, Сербии, Македонии. Вот Петр Джаджич, похожий на Фюнеса, острый и лукавый критик, главный редактор белградского издательства «Просвета». Вот огромный красавец Тоне Момировский, деятель македонского Пэн-клуба. Вот седой Душан Костич, черногорский поэт старшего поколения. Вот и Бранко Баньевич, который смеется над моим рассказом об информации, которую мы получили из уст его маленького сынишки в Титограде. Нет, не пил он то, что мы думаем, если бы пил, был бы здоров. В том-то и дело, что не пил. Простудился, ангина, а пил молоко горячее. У Бранко смешливые глаза, прекрасная русская речь, готовность быть полезным в любом вопросе, интересующем меня в Черногории. Определяюсь при Бранко и все остальное время в Цетинье нахожусь с ним рядом.

Сначала мы идем в театр. В нем холодновато. Он маленький, игрушечный, но в три яруса. Настоящая копия европейского оперного театра, только во многократном уменьшении. Партер состоит от силы из десяти рядов. Садимся в последний. В ложах и на ярусах местная публика. Тихая, вежливая, воспитанная. Одета скромно, но держится с достоинством. Знаменитостей рассматривают украдкой, без ажиотажа. На сцене — председатель жюри, говорит, что соискателей премии Негоша в этом году было четверо. Это Милош Црнянский, Оскар Давичо, Радован Зогович и Бранко Чопич. Под аплодисменты всего зала чествуют победителя, Бранко Чопича. Именинников нет. Такова традиция. Потом Чопичу вручат премию. Пока — итог.

Негошева премия Чопичу досталась за сборник рассказов «Сад цвета мальв». Выступающие члены жюри читают отрывки из книги Чопича или свои эссе о писателе или вообще о литературе. Поэты, конечно, — свои стихи. Аплодисменты распределяются вежливо — поровну.

Потом все пошли гулять по ночному Цетинье. Городок освещен хорошо. Главный проспект похож на миниатюрный бродвейчик. Откуда-то и тут появились молодые люди с транзисторами. Длинные волосы, клеши, англий-



ская речь. Девушки тоненькие, модные, в мини и макси. Но черногорское начало дает о себе знать: ходят не в обнимку с парнями, как в других местах, а группками — отдельно.

Трогательная южная непосредственность, — как в Одессе или Анапе, — на скамеечках возле домов сидят женщины, в открытых окнах перевешенные через подоконники фигуры. Главная-то главная улица, а — своя...

Идем к гостинице.

В банкетном зале прием. Местные власти дают ужин. Я сижу между Бранко и Яро Доларом, словенским моим знакомым. Он вежлив, чопорен, добродушен. Говорим о Якопин, других знакомых по Любляне, вдруг Бранко начинает читать стихи, завораживающие ритмом, красочные, язычески страстные. Что это? Народный черногорский мотив. Песня! Бранко не удерживается:

— Я знаю наизусть тысяч сто строк!

И впрямь сыплет кусками... из одной, из другой... Напротив сидит старик живой и остроумный. Зовут его, кажется, Джамил. Блестя черными глазами, поминутно отпускает шутки. Чем-то напомнил Светлова. Такой же высохший, неустанно остроумный. Но он бросает дурачиться и восторженно слушает Бранко. Начинается соревнование. Джамил читает отрывок. Его подхватывает Бранко. Джамил продолжает. Весь стол теперь следит за этой дуэлью. Бранко задумался. Джамил кричит:

— Айда дале, дале, Бранко!

Косу реже, оставила майка...

— Джамиле, дале!

...О, озеро, све зелене...

...Нийе ти се начудити, мой путниче!..

...Зорна брача полечеше...

— Айда дале!

Час читают стихи! Потом включается тихий Долар. Словенская песня отличается особым колоритом. Она кажется пессимистичнее черногорской. И в ней почти нет природы. Только отношения между людьми. Черногорская песня может быть роскошной, образно густой. В сло-

венской «море сиво» — и все... Яро говорит что-то о судьбе народа. О роли письменности, давно оттеснившей песню. Завязывается спор. Скоро все мы запутываемся в трех соснах теории. Ясно одно: у нас хорошо и тепло на душе. Ощущение громадности народной жизни, духовной красоты и вечности народного начала — это остается за спором, как остаток вечера...

Огромные звезды, холодный воздух, парные волны душистого сена, милый Иванович, который, оказывается, никуда не уехал, так как подружился с «русом» и добровольно («Э, сколько дашь, столько дашь, Джурович!») везет нас в Будву... Как, ночью? Конечно, отвечает Миро, нас там ждут, а здесь тратить время нечего! Доедем как-нибудь! Завтра поспишь подольше у моря...

Машина трогается в сплошной черноте черногорской ночи, сквозь звезды, сквозь ветер, сквозь снопы света ярких фар, сквозь песню, с ходу, на два голоса взятую Ивановичем и Миро... И мимо шарахающихся теней, мимо шума родника, мимо облака, задевающего вдруг крышу машины, оставляя капли дождя, мимо погасших звезд, от которых остался звон в ушах и ощущение высоты, переместившейся вниз, под шуршащие гравием на поворотах шины, под испуганный крик осла, в свете фар поднятого с дороги, полуослепшего, но не уступающего дорогу... Остановились, выругали его в три голоса и, кажется, в три языка, потому что, — кроме русского, при котором даже осел вздрогнул, сербского был и турецкий, на котором почему-то решил на этот раз изъясняться Иванович, — осел потряс головой с длинными ушами и уступил дорогу, весьма удивленный...

Ночная гонка закончилась где-то глубокой ночью. Ощущение Будвы было фантастическим. Мы как будто падали на нее с неба. Внизу было душно, парко. Огненные потоки фонарей, скорость чемпиона Ивановича, полупогасшие гиганты отелей на берегу моря, напоминавшие новые созвездия, асфальтовая река, в свежей (виднo, прошел дождь) глади которой метались отражения огней — все это слилось в ощущение радости, смелого полета в неизвестное, ожидание чуда...

Потом мы стучали в двери коттеджа, и было непривычно тихо. Только шумело где-то позади море. Хозяин открыл дверь и шепотом объяснялся с Миро. Комната, которая предназначалась мне, была отдана другому, так как мы задержались на пять часов против условленного времени. Наконец все устроилось, Миро и Иванович куда-то ушли, пожелав мне доброй ночи, хотя уже начинало светать. Я свалился на кровать и под дальний шум моря заснул.

*8 сентября*

Проснулся тем не менее рано — кричали петухи, кто-то включил транзистор, долго не заводился мотор у одного из постояльцев. Коттедж был частный. В нем жили человек десять приезжих. На дверях комнат были аккуратные номерки. Я нашел умывальную комнату и даже душ. Все работало исправно, как и полагается в частном секторе. Повертевшись во дворе и никого не обнаружив, пошел наугад к морю. Да, оно оказалось в той стороне, что я и предполагал. Сквозь заросли дрока и маслин выбрался на берег.

Бухта плавно закруглялась вправо. Там был порт и виднелась башня ратуши. В чистом воздухе прозрачного утра с ратуши донесся гармоничный, с обертонами перезвон колокольников. Пробило шесть часов. Галька была еще холодной. Далеко влево тянулся пляж, цветные навесы, несколько купающихся. Удивительным покоем веяло от моря, еле-еле накатывавшего на берег. Вода звенела в камнях.

Я разделся и, преодолевая озноб, вошел в воду. Поплыл. Вода здесь плотная, я уже плавал в Средиземном море в Сплите, в Дубровнике, возле Котора, знал, что плыть легко. Но морские ежи запомнились мне надолго. Помню, в Сплите пришлось прибегнуть даже к иголке, вынимая жгучие длинные шипы из тела. Еще с непривычки ело глаза — вода очень соленая, и нырять с открытыми глазами, как я попробовал впервые, в Дубровнике, желая разглядеть чудесный подводный мир, не рекомендуется.

В прошлый раз я видел Будву мало. Мы проехали ее, наскоро пробежав Старый город. Сейчас, заплыв подальше, я увидел ее с моря и понял, что ночевали мы до-

вольно далеко от него, собственно город оставался правее. Его каменная крепость, крыши башен и старых домов ярко освещались восходящим солнцем. Окна ратуши блестели. Вдоль всей полосы пляжей в гуще олив стояли каменные коттеджи, похожие друг на друга, как братья. Я даже забеспокоился, найду ли теперь свой. Горы мягко облегали Будву, зеленые, пологие. В голубом мареве тонули далекие вершины. Одну, самую большую, я знал — Ловчен. Он виден далеко...

Слышал: через несколько дней туда на вертолетах начнут нелегкий подъем памятника Негошу. Еще до второй мировой войны скульптор Иван Мештрович создал монумент черногорскому поэту, великому сербскому деятелю культуры, но технические трудности надолго задержали осуществление проекта. Мавзолей (Негош похоронен на вершине Ловчена, как завещал) и памятник сольются в единый величественный комплекс. Мощные прожекторы будут подсвечивать фигуру почками.

Вода, голубая, могучая, бережно держала тело. Я лег на спину и долго лежал так, едва шевеля кончиками пальцев рук и ног. Сквозь слипшиеся ресницы солнце играло в веселую чехарду. Казалось, так можно лежать часами. Повернул к берегу, удивился — так далеко, кажется, я давно не плавал... Долго плыл на боку, вспоминая юность. Тогда плавалось дальше, смелее. После войны, после контузии в сердце вкралась стыдная робость. Я преодолевал ее, старался не поддаваться. Но она жила где-то во мне, помимо меня, а споря с ней, я по-прежнему заплывал далеко. Однако полного счастья теперь не было — ловил себя на чувстве внутреннего насилия. Так бывало в войну.

Я не думаю, что к храбрости можно привыкнуть. Ее можно выработать и почти привыкнуть не бояться своего страха. Но естественности тут не жди. Самосохранение естественно. Бесстрашие — освобождение от страха под влиянием аффекта, воли или сознания — всегда временно: на час, на месяц, на годы... Все равно не до конца жизни, увы!

Я знаю людей, хорошо и гордо воевавших, но им не хватало достоинства уже в мирные дни. Они меня грустно удивляли. Я задавал себе вопросы: не хватило муже-

ства надолго? Устали от мужества? А можно ли устать от мужества? Или — от долгой игры в мужество? Быть может, тот, кто слишком сильно подавляет в себе чувство страха, тот и устает быстрее?..

Сердце сильно колотилось. Я менял положение, часто отдыхал, но до берега все было далеко. «Как глупо,— подумалось мне. Я даже усмехнулся.— Столько проехать... так далеко от дома...» Почему-то важным казалось, что могу утонуть далеко от дома. Как будто не все равно! Последняя мысль неожиданно придала мне силы. Вообще чувство покорности обстоятельствам иногда придает сил. Я говорю парадоксами? Нет. Наоборот, мы часто называем парадоксами самое простое, самое очевидное. Холодное бесстрашие — кто анализировал его подоснову? Разве оно не сродни вот этому чувству полной подчиненности человека обстоятельствам? Когда знаешь, что другого выхода нет, и знаешь это не умом, а как бы всей натурой, каждой клеточкой сознания и подсознания, поступки твои становятся спокойно-твердыми. Тебя уже ничто не собьет, не смутит, не расслабит. Ты словно железная пружина — с ее логикой прямого действия, бесповоротностью решений, последовательностью выверенного механизма.

Подчиненность обстоятельствам не рабское чувство. Это — сознание реальности. Когда началась война с фашизмом, мы знали, что другого выхода нет. И воевали до победы. И победили.

Когда тебя оставляют силы вдали от берега, главное — ты не должен суетиться, думать о возможности утонуть, надо работать, просто работать руками, ногами, а еще — спокойно дышать, выключив другие сигналы торможения, заставляя себя сосредоточиться на одном: расслабляться, экономить силы, ровно дышать, ровно дышать, ровно дышать... ровно ды-шать, ды-шать, ды-шать...

А вот и берег. Близко! Теперь можно и полностью расслабить мышцы, лечь на спину и почувствовать, какое счастье жить, чувствовать свое тело, солнце, эту, ласковую снова, неопасную воду... Последние, уже уверенные, взмахи рук, еще метров двести.. сто пятьдесят... сто... В прозрачной воде уже видны камни на дне, оплетенные шевелящимися водорослями. Скоро ноги достанут дно, Но торопиться с этим не надо.

Вот и берег. Даже мои близорукие глаза различают куст, с белой рубахой, чуть относимой ветром. Это моя рубаха. Ветка упруго покачивается, и в этой упругости — жизнь... Далеко меня отнесло течением. Но я плыву прямо к берегу, чувствуя каменистое дно, выхожу, чуть пошатываясь, на горячую гальку. Когда она успела нагреться? Иду к кусту с белым флагом моей рубахи. Кто-то незнаемый, невидимый, угрожавший мне только что — сдался. Внутри все поет...

Ресторан «Фонтана», где, как я вспомнил, нам был приготовлен «и стол и дом» по телефону из Титограда, нашелся не сразу. Ресторанчик был маленький беленый домик, к которому примыкали с двух сторон завитые виноградом террасы со столиками. На террасу кушанья подавались из маленького окошечка кухни. В закрытый зал можно было пройти с улицы и с хозяйственного двора, через подсобное помещение. Этим непарадным путем я и проник в «Фонтану».

В узком коридорчике, заставленном ящиками с кока-колой и пивом, стояла официантка и подмазывала глаза перед зеркальцем, висевшим меж вырезанным из «Плейбоя» экспонатом предельной женственности и меню, засиженным мухами. Она покосилась на меня темным глазом, уже подведенным зеленью, но и под краской различим был огромный фиолетовый подтек. Удар был мужской, и девушка решила, по всей вероятности, не скрывая носить его, как медаль. Она прижалась к зеркалу, и я прошел в зал. За стойкой бара никого не было. В зале стояло шесть столиков, несервированных, покрытых не первой свежести скатертями. За одним столом сидели три рыбака и пили вино из большой, литровой бутылки. Левее бара открылось окошечко, и повар закричал:

— Зорица!

Из коридорчика справа, откуда я только что вошел в зал, появилась девушка с синяком. Она очень не спеша, с достоинством подошла к окошечку и приняла от повара дымящееся блюдо. Рыбаки восторженно приветствовали блюдо и Зорицу. Зорице было на вид лет восемнадцать. Тонкая, гибкая, явно не промах девка, улыбаясь, показывала, что у нее есть не только синяк, но и не хватает по крайней мере трех зубов. Этакая милая обезьян-

ка. В ней странно соседствовали явная испорченность с каким-то крестьянским простодушием. Тонкая кофточка отчетливо обрисовывала то, что, по мнению Зорицы, не было никакого смысла прятать от людей, ее мини было максимальным, ножки крепенькие, смуглые, несмотря на жару, обтянуты чулками в черную сеточку. Полные губы она складывала в постоянно презрительную улыбку, точнее — полуулыбку.

Спросила, что мне принести, и когда я ответил, что кофе, Зорица ослабилась своим беззубым ртом и радостно закричала:

— Эй, Мирослав!

С террасы вошел сонный Миро и приветствовал меня.

— Куда ты делся? Мы обыскались.

— Гулял, купался. А как она узнала, что я — это я?

— По твоему произношению, наверно.

Я обиделся:

— То есть как это по произношению? Разве я плохо говорю по-сербски?

— А что ты сказал?

— Една кава.

— Ну конечно...

— Что конечно? А как надо сказать?

— Една кава.

— Так и я сказал: една кава.

— А надо: една кава.

— Послушай, что ты мне голову морочишь?

— Ну, пойми: надо говорить так: ед-на ка-ва.

— Я и говорю: ед-на ка-ва...

Так я и не понял ничего. Но «кава» уже стояла предо мной, и надо было кончать бессмысленный спор. Но Миро решительно отставил чашку далеко на край стола.

— Зорица!

Он развел руками и покачал головой скорбно и обиженно. Зорица хмыкнула, закрыв рот рукой. Иностранца она стеснялась.

Через три секунды передо мной и Миро стояли стопки сильно пахнущей жидкости. Я сказал, что ни за что. Миро объяснил, что это не водка, а лекарство. Его пьют здесь для того, чтобы не заболеть желудочными заболеваниями. Говорил серьезно. Я покачал головой и выпил. Долго-долго запах винограда оставался во рту.

— Виноградная водка,— сказал я.— Обыкновенная виноградная водка.

— Обыкновенная? Где ты мог ее пить?

— Так все-таки водка?

— А что же еще?

Вот и пойми ты этого парня! Здесь мы только выпили аперитив. Завтрак был накрыт на террасе. Там уже сидел веселый Иванович и выстукивал затейливый ритм пальцами по краю пластикового стола. Скатертей тут не было, зато мясо зажаривалось по особому заказу (для «руса»!), была зелень для «руса», сыр особый, с каплями жира, для «руса», холодная, из погреба, простокваша для «руса», сливки для «руса» и что-то еще. Иванович объяснил, какой должен быть кофе для «руса».

Не для «руса» пока было только кофе и какая-то мясная похлебка, напоминающая запахом чеснока и кашеобразностью грузинское блюдо хаши, которую тоже, кстати, едят здесь рано утром хорошие работники и гуляки. Иванович уже опорожнил тарелку этой смеси и дул на ладонь: «Перец»! Глаза у него были красные. Вчера они с Миро никак, оказывается, не могли уснуть и случайно забрели в «Фонтану». Случайности такого рода кажутся мистическими... Было уже три часа ночи, рассказывал Иванович, стулья были перевернуты, столы ошетинились перевернутыми ножками, но Зорица, слава богу, оказалась душой отзывчивой. Синяк? Нет, вчера его не было. Но ведь после трех было еще четыре, пять, шесть и семь часов, философски заметил Миро. На террасе нас обслуживал официант мужского пола, не Зорица. Он что-то шепотом сказал Миро, и тот нахмурился.

— Пусть придет вечером, рус утром не станет пить,— сказал он решительно. И для меня отдельно: — Тут один старый партизан, добрый человек, хочет познакомиться с тобой. Он очень любит русских. Но я сказал, чтобы пришел вечером. А то с ним обязательно надо пить.

Официант, молодой парень, пока Миро говорил мне, стоял отвернувшись, что, вероятно, означало целомудренное невмешательство, но как только Миро закончил, он резко повернулся и снова что-то зашептал тому на ухо.

— Хорошо. Скажи, что рус подумает.— Миро сделал жест, означавший, что разговор закончен, и снова обра-



тился ко мне: — Он хочет, чтобы ты обязательно переехал к нему, это почти рядом с тем домом, где ты ночевал. Но он говорит, что до смерти обидится на меня, если ты будешь жить не у него.

Официант стоял отвернувшись, но не уходил.

— Айда! Иди! — строго сказал Миро.

Парень подошел к Миро и горячо зашептал что-то на ухо.

— Он говорит, что стоит все же со стариком выпить хоть немного.

Я отрицательно замотал головой. Иванович одобрительно кивнул и показал на часы.

Мы встали. Официант протянул Миро счет, но тот широким жестом отстранил его и строго сказал:

— В целом.

Пока мы садились в машину, Зорица, бармен, повар и официант (посетителей, кроме нас, не было) смотрели нам вслед и, когда Иванович приветственно поднял руку вверх, хором сказали: «Счастливо!»

Мы ехали в Котор. Дорога бежала вдоль воды, но это было не море, а так называемая Которская Бока. Что такое Бока? Это что-то вроде залива, губы, фиорда, сложного фасона водной протоки, которая замысловато, наподобие лабиринта, врзается с моря в глубь побережья, петляя меж гор. В Боке всегда тихая вода, но глубина тут немалая. Особенность дороги вдоль Боки Которской в том, что сначала ты видишь городок перед собой, потом он удаляется, казалось бы, навсегда, но совершенно внезапно вырастает перед тобой с другой стороны и опять начинает играть с тобою в прятки. Нигде я не видел такого стереоскопического изображения городов! Дорога выделяет здесь петли, хитроумнее и головоломнее которых и представить трудно. Какой-нибудь Тиват или какое-нибудь там Лепетано (кстати, словечко по-итальянски весьма двусмысленное, означающее, мягко выражаясь, женщину свободных нравов!) возникает сначала на том берегу, а потом ты просто подъезжаешь к ним, не заметив сам, что объехал залив... На тихой глади Боки долго маячит перед тобой прекрасная церквушка, словно плывущая на клочке земли, чуть больше ее фун-

дамента. Потом островок поворачивается другой стороной, и ты видишь, что он продолговатой формы, что церковь еще красивее на фоне купы деревьев, но вот островок исчезает за поворотом горы, и долго его нет вообще. Уже с противоположного берега Боки церквушка показывается вновь, но уже совсем близко, и ты видишь, что островок скалистый, и отсюда, с юга, церковь неповторимо освещена на фоне ярко голубеющего залива!..

Над Котором близко нависают горы, отесняя городок к самой воде. Котор — самый тупик Боки. От Котора залив пойдет на север, потом у Рисана — высшей точки — начнет, расширяясь, опускаться к югу. Через множество мелких курортных городков — Каменари, Беела, Баошич, Зеленика — до самого изящного и экзотического места, Герцегнови с Игало — Бока тянется, снова сужаясь, на запад, чтобы опять потом вильнуть на юг, выйдя в море раструбом граммофона...

Мы приехали в Котор. Поставили машину на набережной и пошли в крепость, над которой возвышалась, бросая огромную тень, зеленая гора. На ее склоне, повернутом к заливу, виднелись развалины еще более древней крепости. В Старом Городе было прохладно. Узкие улочки привели нас к музею. Это специальный, уникальный, я думаю, музей. В средневековом домике, стиснутом по фасаду другими домами, помутневшими от времени и морских ветров, на трех этажах разместились экспонаты. С темных портретов смотрят бородатые мореплаватели, капитаны которских судов.

Чего тут не увидишь! Макеты, гравюры, экспонаты былой экзотики! Шхуны, турецкие фелюги, барки пиратов, стройные быстроходные клиперы, каменные и железные ядра, таинственные жерла медных пушек, цепи, якоря в ракушках, фигуры Афин, украшавших носовые части кораблей, кортики, ятаганы, стилеты, кандалы, грамоты вольных городов Дубровника и Котора, рукописи прошлых веков, византийские, венецианские, турецкие, австро-венгерские и русские документы, черногорские письма — от Негоша, Петра, Николая к наместникам, русскому послу, английскому консулу, турецкому адмиралу...

Остановился перед старой картиной. С трудом разобрал надпись: «Русские бояре в 16 веке учатся по повеле-

нию царя Петра Великого мореходному делу у Мартиновича». Конечно, не XVI, а XVIII век. И не все бояре, а и дворянские дети. Тем паче, что на картине художник запечатлел и «анкетные данные»...<sup>1</sup>

Да, в конце XVII века тут, в Которе, была известная мореходная школа Марко Мартиновича. На картине изображен по одну сторону стола сам Мартинович в черном одеянии, с черными волосами до плеч. По другую — пятеро русских в высоких островерхих шапках, отороченных белым мехом. Они переговариваются между собой, очевидно обсуждая трудный вопрос учителя. А один так просто схватился за голову. На столе — компас, секстан, раскрытая книга...

Я стал расспрашивать музейных работников о следах, которые ведут от этой картины к русско-черногорским связям. Русские были в Которе долго — в 1806-м, почти целый год. Тут стояла русская эскадра. Об этом я знал. А раньше? Меня интересовало петровское время...

Один человек сказал мне, что недавно обнаружено интересное письмо о Петре Первом, ранее неизвестное. Я начал наводить справки. Вообще-то в Ленинграде, сказали мне, около двух тысяч неразобранных документов, относящихся к этому периоду. Я удивился: почему неразобранных? Как-то так случилось, что этим никто не заинтересовался, отвечал мне сотрудник архива. Я усомнился. Надо проверить дома.

Но неизвестное письмо к Петру Первому не давало покоя. Я нашел человека, который знал вчерне, как он выразился, содержание письма. Речь идет о письме некоего Змаевича к брату своему, а не к Петру. Значит, это другое письмо? Нет, это то самое. Мне неверно сказали, что его адресат русский царь. Но о Петре там рассказано много интересного. Что именно? Это лучше знает Н. Фамилию его называть не стоит, — кто знает, не будет ли он в претензии на того, кто без разрешения разглашает материал неопубликованный. И непроверенный, добавляет еще один участник беседы — старик архивариус. Здесь сейчас ничего нового узнать нельзя. Оставляю свои во-

---

<sup>1</sup> Борис Иванович Куракин. Пасынок царев. Яков Иванович Лабан. Петр Голицын. Федор Голицын... и т. д. (десять имен князей, затем — бояре: Шереметев, Бутурлин, Матушкин и др.).

просы до Титограда. Джурович говорит, что это может знать Бранко Баньевич или Стоевич.

Из Котора едем на запад. Рисан. Местечко маленькое, прокаленное солнцем. В 1960 году здесь открыт павильон для обозрения редчайших мозаик, обнаруженных еще в 1930 году. Город Рисан — древнее поселение. Греческое название его Ризон, римское — Ризиниум. По свидетельству античных писателей он основан в середине III века до нашей эры. Один из центров иллирийской державы при вожде Ардее, потом важная база поморского пиратства. Иллирийская царица Теута в 229 году до нашей эры начала войну против римлян, которая продолжалась при ее наследнике и завершилась крушением иллирийского царства при царе Центие в 167 году до нашей эры. В период римского владычества Рисан получил статус самоуправляющегося города римских граждан. В конце второго века нашей эры на частной вилле одного из граждан Рисана были созданы превосходные мозаики неизвестного мастера, которыми вымощены четыре до сегодняшнего времени открытых зала. Три из них выполнены в стиле геометрических мотивов, один же представляет собою редчайший в мире и единственный на территории Югославии мозаичный портрет бога сна Гипноза.

Я вошел в павильон с чувством какого-то странного смущения. Мозаичный пол — голубое с белым — простирался передо мной на небольшом возвышении, окаймленном камнем. По широкому бордюру можно было ходить, осматривая рисунок. Он навел меня на размышления о содержании геометрического сюжета. В большом квадрате (он потом повторялся) была вписана окружность, в которую в свою очередь концентрическими кругами вписаны другие, меньшего диаметра. В наружной сфере от центра расходятся тройные волны, в меньших повторялся рисунок, который при желании можно было трактовать как радиально расходящиеся солнечные лучи. Между сторонами наружного квадрата и жирной чертой первой, большой окружности помещается схематическое изображение не то змеящихся водорослей, не то рыб... Когда я сказал об этом своем впечатлении Миро, он недоуменно пожал плечами — фантазия, мол. Но я остался при своем мнении. Неужели нельзя предположить, что геометриче-

ский орнамент тоже когда-то вырос из обобщенного изображения реалистических примет мира, окружавшего человека? Море, солнце, растительный мир или фауна Средиземноморья по-своему могли влиять и на фантазию мозаичных дел мастеров прошлого... Что касается Гипноза, он не производил того гипнотического впечатления, которое можно было предположить, зная уникальный характер этой мозаики. В центре концентрически вымощенного мелкой мозаикой фона возлежал пухлый детина, который облакачивался на руку, — наверное, чтобы не помять два крыла, выглядывавших из-за его полноватой спины.

Возвращаясь из павильона, остановился поговорить с чистеньким седым стариком, продающим входные билеты. Здесь, в Рисане, особенно любят русских, говорит он. Старик очень хочет побывать в России:

— Там колокол есть, Царь-колокол Петра Великого!

Вспоминает Ивана Грозного, качает головой. Какие, мол, цари у русских... Один страшнее другого. Отсюда и порядок у русских. Ба-а-льшая страна! А Царь-колокол стоит еще в Кремле? — беспокоится старик. Ну, и слава богу. А то говорили, что у вас там начали было трогать все со своих мест. Царей выносят из погребений, правда это?

Я успокоил старика, что все останется на своих местах. Чтобы он не волновался.

— Очень мне хочется Царь-колокол посмотреть. Это не то, что на картинке, ведь правда?

Я обещал старику, что колокол мы не тронем, а когда он приедет в Россию, познакомлю его с Вадимом Кожиновым и другими интересными людьми. Пусть поговорят по душам.

А милый старик, трогательный...

Говорим с Миро о старине, национальной гордости, свободе. Разве может такое быть, чтобы любовь к свободе и любовь к родине своей не совпадали, шли на разных курсах? Он смотрит, прищурившись, на вершину Ловчена и говорит:

— Негош умирал... Понесли его на руках черногорцы вот по тем тропам, через перевал на Цетинье. Знаешь, ка-

кие последние слова он сказал? «Любите Черногорию и свободу...» И закрыли ему глаза.

— Негош здесь умирал?

— Да, на обратном пути стало ему плохо совсем. Он все торопил друзей, хотел в Цетинье поспеть к смерти. На родину.

Я задумался. Утреннее мое ощущение страха снова нахлынуло воспоминанием о том холодке смерти, которым повеяло на меня на тихом солнечном берегу, среди этой несказанной красоты такого голубого, такого доброго, казалось, моря...

Я думал не о том, почему так страшно умирать вдали от родины, а о том нелепом, все еще не поддающемся разуму противоречии между стихией природы, дарящей нам чувства счастья и красоты, и ее, этой стихии, коварством, надчеловеческим равнодушием и холодным безразличием к слабому, единичному существованию живого.

...А море так же блестело под солнцем — даже здесь, в заводи Боки Которской, таинственное, опасное, прекрасное... Да, прекрасное.

До Херцегови мы не останавливались ни разу. Тут решили сделать продолжительный привал. Город этот славится субтропическими растениями, пестрой историей, знаменитым монастырем Савина, в котором есть библиотека редких книг, в том числе манускриптов XVI века, тем, что тут есть архитектурные памятники — античные постройки, венецианская морская крепость, австрийские, французские, турецкие сооружения. Интересен Херцегови и тем, что тут в течение года были русские войска и русский военный губернатор.

Построенный в XIII веке монастырь Савина — не самое древнее сооружение. Основан город был боснийским королем Тврдко, и назывался он сначала Святой Стефан. В последующем, в честь герцога Степана Вукчевича из Хумы, он был переименован в Херцегови. Испанцы и венецианцы строили здесь свои крепости, которые разрушали вражеские ядра и время. С XV века надолго городом завладели турки. Потом началась обычная чехарда — город переходил из рук в руки долго и многотерпеливо.

...Мы оставили машину на каменной площадке и начали спускаться к морю по оказавшейся бесконечной каменной лестнице с многочисленными площадками, поворотами маршей между домами.

Море то тут, то там врывалось в промежутки между балконами с трепещущими под легким ветерком полотенцами и бельем, развешанным над нашими головами.

Черные, как галки, женщины в красных и ярко-желтых платьях появлялись неожиданно, взмахивали тонкими руками на голубом фоне и исчезали так же неожиданно где-то в небе, ныряя с балконов в открытые настежь двери, отдувающиеся белыми занавесями... Казалось, город парит в воздухе, продуваемый свежим бризом, расцвеченный разноцветными флагами купальных принадлежностей и детских распашонок...

Миро привел меня к молу, где мы, рискуя жизнью, спустились с него на скользкие, острые скалы, чтобы... переодеться для купания, спрятавшись в их расщелинах, так как вся маленькая уютная бухточка между молом и возвышающейся стеной венецианской крепостью просматривалась, а мы вовремя не позаботились о купальных принадлежностях.

Потом, помогая друг другу, мы выбрались на мол, прошли по нему до маленького пляжика между стеной крепости и основанием мола. Здесь было мало публики и ветра. Стена с редкими окошками и зелеными вкраплениями ползучих растений давала большую тень. Крупная галька казалась раскаленной на солнечной части пляжа и холодила пятки в тени. Вода тоже словно расслоилась — на ярко-зеленую, в белых бурунах на солнце у скал, торчащих метрах в двухстах от берега, и темно-синюю, спокойную в тени у берега.

Когда я выплыл на светлую часть, меня стало сильно подымать — ветер здесь был сильный — и опускать: волна гнулась круто и имела большую силу.

Миро вдалеке дремал, закрыв лицо рубашкой. Вдоль отвесной стены крепости по узкой тропинке, переходящей в лестницу, шли молодые люди, загорелые, рослые, в синих джинсах и белоснежных трикотажных майках. Они двигались друг за другом, наклонив головы и смотря под ноги. Впереди шла девушка в ярко-красном бикини на бронзовом теле. Шла грациозно, высоко поднимая головку с огненным «конским хвостом», и свистела.

Когда я вышел на берег, Миро сидел, обхватив ноги руками, и разговаривал с худым парнем.

— Велемир Милошевич,— представился тот радушно.— Мы виделись с вами в Сараеве...

— Он тоже поэт,— сказал Миро.

— Неожиданная встреча,— весело говорил Велемир,— вот хорошо! Сейчас мы пойдем в ресторан, я хочу вас угостить! Какая у вас программа? Художники? О, Станич?.. Нет, я не могу с вами, я тут не один. Вон мой.— В том направлении, куда он показал, мне поклонилась женщина. Рядом с ней возился малыш.— Приехали покупать...

Мы пошли по широкой лестнице, поднялись на один марш и оказались на улице, мощенной белыми плитами, в трещинах пробивалась трава. На улице под навесом стояли столики.

Мы отказались от щедрых предложений Велемира и для приличия распили с ним по кружке пива. Милошевич неплохо говорил по-русски и, как оказалось, не худо знал нашу современную поэзию. Суждения его показались мне весьма здравыми.

Симпатией его пользовалась раскованность, смелость мысли, но при этом он не забывал и о характере мысли. Стала пропадать поэтическая мысль, говорил он. Она начала торопиться выразить себя кратчайшим путем. И что странно— даже у ярких дарований, не повторяющих, казалось, приемы риторической поэзии, сказывается та же привычка эффектно завершать лирический сюжет. Эта закругленность всегда подозрительна, здесь пахнет силлогизмами, а не поэзией.

Милошевич говорит, что самые молодые только критикуют предыдущее поколение, а оно застряло где-то, не взяв свою высоту...

Здесь прибавляются новые трудности — некритическое следование экстремной моде, как проявление новаторства. Отрыв от национальных традиций. Здесь, в Черногории, этого поменьше, но тоже есть. В западных республиках это — большая беда.

Мы прощаемся с Милошевичем. Он возвращается к семье, мы идем к художнику Станичу. Каково же мое удивление — он живет прямо над тем местом, где мы



только что купались, в доме, вырастающем из скалы, прижавшемся узкой спиной к широкой груди венецианской крепости.

Подымаю голову — в голубом слепящем небе теряется вершина стены.

Стучим в деревянную, грубую, просоленную дверь с массивной железной задвижкой. Долго никто не открывает. Потом догадываемся позвонить в не замеченный нами ранее звонок. Безрезультатно. Я поднял голову и посмотрел в подобие бойницы, закрытой от солнца зеленым, облупившимся от солнца ставнем. И в это время ставень открылся и кто-то выглянул из окна.

— Момент! — крикнули нам.

Когда дверь распахнулась, я увидел в темных сенях только босые ноги мужчины в закатанных штанах, — со света ничего не было видно еще долго, и когда нас повели по крутой темной лестнице, вдоль каменной прохладной и шершавой стены, за которую я держался, слышно было только сосредоточенное сопение Миро за моей спиной и скрип ступеней.

Лестница привела в узкую прохладную комнатку, из которой через открытые двери проникал свет из двух других таких же узких, расположенных перпендикулярно друг другу.

В конце проходной комнаты виднелось окошко на море, но не то, что я видел с тротуара, а в форме иллюминатора. Под ним стоял включенный телевизор, и на его мерцающе голубом фоне боксеры нещадно лупили друг друга под одобрительный гул зрителей.

Почти все пространство занято было столом, вокруг которого сидели домочадцы и знакомые. Нам помахали, не отрываясь от телевизора, и бесшумно освободили места получше. Шепотом хозяин потребовал вина и сыру. Он тоже не отрываясь смотрел на экран. Только улыбка на лице его говорила, что он помнит о госте и, будет время, займется им.

Меня он сразу очаровал. Такое простодушие было написано на его милом загорелом лице с выцветшими волосами, такая естественность была во всех его жестах и поведении, что он не мог не расположить к себе. Я почувствовал себя так, будто мы давно знакомы, и, поставив на колени тарелку с сыром, а на пол кружку с вином, кото-

рое улыбающаяся хозяйка нацедила мне из кувшина, уставился на экран.

Украдкой я все рассматривал хозяина, обстановку его квартиры. Все стены в трех, видимых одновременно комнатах, были завешаны картинами. Пока скажу, что это был чудесный мир взрослой сказки — такой же естественный и простодушный, как сам хозяин...

В это время раздался одновременный выкрик, и я увидел, что на время оставленный мною без присмотра немецкий боксер лежал в нокауте. Потом югославу, который тяжело дышал, подымали руку в перчатке. Хозяин обнял меня и похлопал по спине. Теперь будем знакомиться!

Сказочный мир картин Войислава Станича трудно поддается пересказу. Его нельзя целиком отнести к искусству примитива, хотя основа — простодушие и «детскость» выразительных средств — в нем присутствует, несомненно. В его корабliках с цветными флажками, купальщицах, странных кораблях, озаренных одновременно светом месяца и солнечным светом, в его «шагаловских» летающих, вернее — парящих, напряженно расставив руки, людях — всюду ощущаешь некую трагическую невесомость жизни, ее призрачность, какой-то горький жизненный театр. Плоские фигурки, кажется, кричат неслышно, хотят, чтобы их расколдовали...

В Титограде в «модерной галерее» я видел картину Станича «Оккупация». Стена людей — и словно подняты кулаки, которые оказываются винтовками за спинами. Даже здесь, в публицистике, не обошлось без «загадочности»...

В комнате, из которой выходит окно на набережную (ставень теперь открыли), висят самые любимые картины Станича. Они таинственны и загадочны, как морское дно. И таким же мерцающим светом переливали эти полотна. Какие-то страсти обуревали душу изображенных на них существ. Своя символика угадывалась за частым повторением лунного серпика рядом с солнцем, мотива игровой карты, напряженных поз... И всегда — море. Море разное, но изображенное сдержанно, в тысячах оттенков, — как фон, среда, действующее лицо, камертон молчаливой, но слышимой сердцем музыки...

Станич очень радовался, когда я что-то угадывал. Он весь светился и удивленно смотрел на Мiro. Тот снисхо-

дительно улыбался и разводил руками: знаем, кого приводить к тебе, простака не привел бы.

А между тем я простака, неспециалист, боюсь обнаружить свое непонимание живописи, предпочитаю помалкивать на разных вернисажах. Я люблю живопись странной любовью. Вижу в ней не то, что наверное объективно в ней заложено, а нечто свое, отвечающее (или не отвечающее — тогда я равнодушен) настроению, зреющему во мне сознанию связи образов. Поэтому, вероятно, я люблю картины, дающие простор фантазии, домыслу, и совершенно равнодушен перед целым рядом известных полотен. Много раз я старался убедить себя, что дело в терпении, — простаивал возле классических картин, всматривался в них до рези в глазах, стараясь проникнуться той высокой духовностью, о которой писали в книгах и проспектах, но ничего, кроме усталости, не выносил. Мне и сейчас стыдно писать об этом. Я и не хочу называть эти шедевры. Но честным перед собой быть надо. Тут ничего не попишешь...

Мы пили прощальную чашу деревенского вина, закусывая маслянистым сыром. Это был особенный сыр — из оливкового масла, который делают только в горах. Я сказал, что с детства люблю это дерево, странное, со стволами, похожими на Лаокоона, оплетенного змеями. Оно сверкает на солнце неповторимо серебристыми узкими листьями, а в тени они кажутся матовыми.

— Ее, оливу, любили в древности. А царь Николай Первый у нас, в Черногории, издал закон — юноша не мог жениться, если не посадит две оливы. — Станич говорит это и подкладывает толстые, лоснящиеся желтые куски сыра.

...Потом мы стоим у окна и вдыхаем морской ветер. Как же здесь хорошо! Море прямо у ног, набережная так узка в этом месте, что ее вообще не видно. Только бескрайнее море.

— Видишь лодку? — спрашивает меня Станич. — Вон белая с зелеными бортами. Моя. Я люблю рыбачить. Слушай, Миро, оставь Володю нам, а? Мы поплаваем при луне, возьмем сети! Я вижу, он любит море!

Я молчу. Очень хочу, чтобы Миро согласился. Но Миро категорически отвергает это предложение — програм-

ма. Меня он привык не спрашивать. Обычно только потом обернется с переднего сиденья машины, как бы невзначай осведомится:

— Понравилось? Может, ты хотел еще что-нибудь посмотреть?

И тут же, не ожидая ответа, либо запоем, либо задремлет. И говори не говори — ответа уже не получишь. Я сначала обижался, но потом привык.

Еще раз обхожу стены, стараюсь запомнить картины, цвета, сюжеты — прощаюсь с загадочным миром красок.

Миро говорит:

— Так и живете здесь? Не тянет в город? К большому зрителю?

Войислав отвечает тихо и уверенно:

— Не поймут в маленьком городке — не поймут и в мире.

Очень хорошо сказано!

Спускаемся по темной лестнице, весело переговариваясь. Внизу, под лестницей, — совсем маленькая комнатуха с окном под самым потолком. Мастерская жены. Ах, она скульптор! Да, да, скромная эта женщина, не проронившая ни слова, сама большой мастер. Это ее «Девушку с маленькой ланью» я видел в Титограде. Прелестная скульптура. Тонконогая девушка с такой же тонконогой ланью, обнявшей ей талию гибкой шеей. Незаконченные работы не показывает. Они стоят у стен, накрытые мокрой холстиной, таинственные, как восточные женщины на базаре...

Сердечно прощаемся на набережной. Долго машут вслед. Какие прекрасные люди Станич и Нада, жена его! Войислав стоит, широко расставив ноги, — босые, в закатанных выцветших брюках с мешками на коленях. Нада — на солнце рассмотрел ее лучше — маленькая, худенькая, в сереньком платье, как Золушка, но уже нашедшая свой хрустальный башмачок.

Пока обедали в рыбном ресторанчике (холодная рыба с перцем, рыбный суп с перцем, жареная рыба с перцем, кофе... нет, без перца, с мороженым), стало темнеть. Главная улочка в Херцеговини тянется вдоль моря. На нейлюдно. Благоухают магнолии. Апельсиновые деревья свешивают

вают огромные плоды прямо на голову. Смущенно отвожу ветки от лица.

Мы идем покупать рубашку Ивановичу. Да, наш шофер не рассчитывал, что поедет с нами. У него несвежая рубашка. В несвежей он не привык ходить два дня кряду. Мы заходим в маленькие магазинчики. В каждом повторяется одна и та же процедура. Миро и Иванович начинают веселую катавасию с девушками-продавщицами. В Херцегови они все молоденькие, симпатичные и зубастые. На Ивановича нелегко найти нужный размер, он довольно внушительный мужчина, а если и подходит по размеру, капризный наш спутник недоволен фасоном. Иванович понимает толк в последней моде. С Джуровичем они перемерили все рубахи на правой стороне улицы и теперь переходят на левую. Мне нравится смотреть на них со стороны улицы, через освещенную витрину. Кажется, что они выбирают жен, а не рубашки. В результате выходит с покупкой Миро.

— Так, в коллекцию,— небрежно роняет он.

Но у меня подозрение, что эта блондиночка со вздернутым носиком навязала ему рубашку насильно. Миро какой-то растерянный.

Дальше мы смотрим с улицы уже вдвоем. Нам видно, как Иванович показывает размеры своих плеч,— так рыбаки хвалятся величиной осетра,— видим, как продавщица хохочет, приседая, и зовет подружку. Тут все делается с подружками. Теперь они уже смеются втроем. Весельчак этот Иванович!

Начинаю подозревать, что покупка рубахи для Ивановича только повод для трёпа, отдых. Но тут Иванович все-таки покупает рубаху и там же, в магазине, натягивает ее. Тогда и Миро желает обновить покупку. Вдвоем натягиваем на него узкую и короткую трикотажную, коричневого цвета майку.

— Ползупок,— говорю я.

— Давай оставим ее в урне,— грустно говорит Миро и вдруг начинает хохотать, глядя на себя в зеркало.

— Постираешь, сядет — как раз будет, — изощряюсь я.

И такое у нас хорошее настроение, что все кажется забавным, смешным, легким, хочется смеяться беспричинно. Замечаю, что такое настроение и у моих друзей.

Идем, рассказывая друг другу веселые истории. Вдруг Миро говорит:

— Ой, Иванович, а тебя же бабушка ждет!

— Какая бабушка? — интересуюсь я.

— Да он хотел подвести тут одну до Игало. Договорились на шесть тридцать. Пока мы тут гуляем.

Мы ускорили шаги. «Бабка» оказалась женщиной лет сорока. Она стояла у нашего «пежо» и нервно теребила край своей нарядной накидки. Рядом с ней стояли два прелестных карапуза.

— Простите, — на ходу сказал Иванович, — ради бога, я вас быстро отвезу.

— Мы, кажется, уже опоздали, — растерянно говорила женщина, — я могла уехать с другим такси, но я же сговорила с вами...

Иванович смущен, сопит, устанавливая сумки, рассаживая детей.

Когда они уехали, Миро сказал:

— Понимаешь, я уже сам уговорил его. Надо же ему заработать. Он с нами больше теряет. Но он так привязался к нам, говорит, привык.

Мы медленно шли к скамейке, что стояла под раскидистым апельсиновым деревом.

— Интересный он человек. Никак не хотел ехать, торговался. А потом плюнул на все. Заметил, мы загораем тут, а такси стоит? И хоть бы что. Мы же его не привязываем! Он мог бы тут такой бизнес сделать. Курорт! — Миро показал по сторонам и сел на скамью.

В Дубровник мы, конечно, не попадем. Поздно. Жаль. Этот уникальный город нельзя забыть. В него хочется возвращаться опять и опять. Белый город. Город мраморных тротуаров, блестящих, истертых многими поколениями, продуваемых морем улочек, крутых и узких, с лестницами, затененными почти смыкающимися домами, город прекрасных площадей с фонтанами, костелов с органами и мерцанием свеч, рыбного рынка, где чайки пикируют на корзины и стараются перекричать рыбаков, город ослепительной синевы моря, вторгающегося в гавань, закрытую длинной крепостной стеной и узким моллом, облепленным нарядными прогулочными лодками,

многие из которых украшены коврами, по венецианскому образцу.

Вспоминаю туристскую группу писателей, с которой я впервые увидел Дубровник. Жили мы далеко, в новом Дубровнике, на другой стороне залива, в отеле «Адриатик», где нас с Наумом Гребневым полюбил метрдотель Иван Степанович, югослав, оказавшийся в России в годы первой мировой войны, женившийся на «Марусе» в Сибири, а потом оставивший Сибирь, «Марусю», сытую жизнь в богатом кержацком хозяйстве.

Иван Степанович («зовите меня так, по-русски»), кругленький, лысый, с бабочкой, очень сентиментальный, каждый вечер подсаживается к нашему столу на двоих, угощает какими-нибудь специалитетами, демонстрирует знание русских пословиц и поговорок. Получается у него уже смешновато, забыл старик русский, но достаточно понятно. Гребнев, человек ироничный и ехидный, на этот раз какой-то размягченный, добрый — старик вызывает у него симпатию. Иван Степанович это чувствует и тянется к Науму больше, чем ко мне. Однажды он пообещал нам сюрприз («Кот в мешке!»). Дело было после поездки в Цетинье. Вернулись мы с опозданием. Уже почти никого в ресторане не было. Но старик нас ждал. Он побежал на кухню, потирая руки и произнося то и дело: «Кот в мешке!» Через некоторое время он появился с чем-то завернутым в пергаментную бумагу, слегка промаслившимся. Торжественно развернул «мешок» и показал нам запеченную в бумаге рыбу. Как он радостно смеялся, когда мы преувеличенно восторженно восхищались его выдумкой! Кстати, рыба оказалась действительно редкостного вкуса.

Почему Гребнев знакомился с разными людьми так легко и умел вытягивать из них интересное? Я откровенно завидовал ему. Меня же всегда надо было сводить, представлять, знакомить, и порой только-только начинала возникать, завязываться духовная близость, как пора было уезжать.

Гребнев же по утрам выходил на балкон, и тут же завязывался разговор то с какой-нибудь старой девой из Померании, то с продавцом мороженого, то с греческим коммунистом с мюнхенской пропиской. Общительный и редкостно наделенный остроумием Гребнев получает удовлетворение от самого процесса общения.

Я же с годами все меньше выношу разговоры. Мне всегда не хватает времени для дела; то, что когда-то называлось дружеской беседой, мне кажется отвлекающим трёпом, пережитком неорганизованности или злоупотреблением свободным временем.

В компаниях я стал замечать, что скучаю от умных рассуждений. Мне всегда хочется спросить говорящего: а что ты сделал в этом направлении? И так как почти всегда говорящий не делает и сотой доли того, чего требует от других, его идеи набивают мне оскомину. Я на зубах ее чувствую. Может, я ошибаюсь, но преизбыток общения представляется мне болезнью моего круга. Способом уйти от ответственности. «Жаркие споры» — удел в лучшем случае молодости. Зрелые люди дело делать должны.

Прекрасно понимаю, что это тоже крайность. Но, право же, меньшая, нежели болтовня, в которой тонут благие порывы, где каждый продолжает себе нравиться и кажется героем, низвергающим авторитеты, имеющим «собственное мнение» и т. п. Будто собственное мнение может избежать проверки жизнью, опытом! А по мне оно имеет право и называться-то собственным, если подтверждено поступком, поведением, общественным актом. Вне общест-венности нет идей и мнений. Есть гипотезы в лучшем случае. Часто в вакууме кулуарной болтовни они кажутся значительными, но войди они в соприкосновение с жизнью, потришь о людей в толпе — и бледнеют, теряют свою стройность и красоту...

Увы, моя концепция тоже не составляет исключения из правила. Гипотеза о преизбытке общения, как всякая гипотеза, требует доказательств более солидных. Взять того же Гребнева. Уж он-то дело знает! Работоспособность его и талант исключительны. Видимо, он просто умеет расслабляться, а я не умею. Во время отдыха надо уметь переключаться.

...Как бы угадывая мои мысли, сказал Миро:

— Хороший у нас получился вечер. Бестолковый. Стихийный.

И, в полном противоречии с только что продуманным, я ответил:

— Так надоедает жизнь по программе. Если бы ты знал, как надоедает! Мне всегда хочется, чтобы надомной не было никакого давления цели. Чтобы я сам на-



шел цель из наблюдения жизни. Писать надо жизнь. А я все сбиваюсь на цель. Это старая мука. Разве я знал, что найду здесь Станича? Что он очарует меня, заставит отказаться от Дубровника, опрокинет программу? Я его еще не знаю. Но чувствую... Останься я в Херцегови на ночь, на день, еще на день, я бы узнал что-то необыкновенное, я уверен...

Миро порникновенно зевнул. Он чувствовал подвох, хотя я конечно же примирился со своей судьбой и знал, что скоро мы поедем обратно в нашу Будву, к Зорице в «Фонтану», где нас ждут виноградная водка, старый партизан, любящий русских, цикады в зарослях гранатовых деревьев.

Вечер наступил сразу, еще во время покупки этих дурацких рубашек, но сейчас он красиво нарастал. С моря подул морячок, мягкий ветер, высыпали звезды, зашептались скамейки, звуки стали приглушенными, обернутыми во влажные листья апельсинового дерева, странно светящегося и дымящегося под фонарем.

Вернулся Иванович. Почесал черные усики и сказал, что надо ехать. Миро неохотно расклеил ресницы. Иванович был каким-то тихим. Я спросил, не устал ли он. Может, отдохнет? Нет, он не устал. Тут всего два-три километра. Столько же обратно. Дорога хорошая.

Мы сели в машину. Тронулись. Миро запел, как всегда, громко, неожиданно. Иванович начал подпевать и повеселел.

— Хорошо заплатила? — спросил Миро иронически. Я заметил, что Миро ревниво относится ко всем, кто хочет войти в деловые отношения с «нашим» Ивановичем. Он и советовал ему поработать в свободное время, и ревновал.

— Не взял я с нее денег, — неожиданно сказал Иванович.

— Как так? Это почему же? — В голосе Миро я почувствовал не столько удивление, сколько досаду.

— А так... Не захотелось.

Иванович громко запел. Миро начал было подтягивать высоким своим тенорком, но перестал, и некоторое время слышалось только басовитое тремоло Ивановича. Потом замолчал и он.

— Я, пока ехал, из разговора понял, что денег у них

мало, что одна она работает. Что мужа нет. Грустная она какая-то была и, главное, застенчивая, голос дрожит от волнения. А стала рыться в сумочке — как будто сгорит сейчас от смущения. Даже слезы блеснули. Мы стояли в освещенной зале, я помог им внести вещи... Увидел, что накидка эта ее — единственное, что имеет вид. Дети бедно одеты, сама бледная. И не наша она, знаешь? Акцент у нее. Какое-то горе, убей меня бог!

— Ну, ты, Иванович...— Миро удивленно посмотрел на него и ничего не добавил.

Доехали мы до Каменари быстро. Машин было мало. Здесь мы повернули к поблескивающей черной воде и въехали на паром. Так до Лепетане было намного ближе — мы пересекали залив в узком месте.

Машины одна за другой вкатывались на широкий настил парома. Мы стояли у каната, который заменял борт. Я наблюдал, как на соседнем пароме моряк закинул удочку в черную воду и, словно шутя, поднял ее на вытянутую руку. Освещенный фонарями на берегу, он был сносно виден. Не прошло и мгновенья, как моряк выдернул рыбу, она сверкнула в лучах света и упала на темную, обитую жестью палубу. Теперь она серебряно билась под ногами человека, а тот пытался накрыть ее ладонью.

На нашем пароме закинули цепь за крюк противоположного борта, как бы замкнули нас от берега, паром загудел и тронулся. Блики света побежали по крышам автомашин, вода раздалась, темная, маслянистая, вскидываясь белыми гребнями по месту разреза...

Белая рыба все еще билась на соседней палубе, теперь оставалась видна только она...

Огни на берегу стали передвигаться. Плеск за бортом усилился. Ветер стал резче. Шли мы ходко, даже удивительно для неуклюжей баржи парома.

Две горы замыкают губу. Черные, на чуть светлее, чем они, небе. Появилась, вся в огнях, Будва, где-то далеко и словно внизу.

Теперь вода лепечет, позванивая.

Я спрашиваю, что же точно означает слово «лепетане». Миро говорит, что с окончанием «е» оно изменило свое значение, но с «о» означает «курва». История такова.

Когда-то которские и рисанские пираты, надолго уходя в море, привозили живой товар. Женщин делали наложницами, а потом возили за собой. Но когда приходило время возвращаться домой, к женам, их высаживали здесь, в Лепетане, а сами переправлялись в Каменари, на тот берег, уже налегке, отряхнув греховный прах со своих запыленных в грехе ног...

— Морской музей в Которе об этом умалчивает.

— Память людей держит все крепче, нежели музей, — философически заметил Миро.

Лепет воды наводит меня на другое этимологическое толкование названия местечка, куда мы сейчас пришваргуемся. Здесь сильное течение, и вода, рассекаемая килем парома, именно звенит, лепечет... Миро смеется, как всегда, покровительственно: «Фантазер!»

— Детский лепет! — наконец находит он остроту, подходящую к случаю, и очень доволен.

Мне не жалко приоритета в толковании этимологии слова «лепетано», латинское оно или славянское. Мне жалко свои ассоциации терять. Еще раньше, в первый приезд с туристами, я переправлялся на пароме и подумал о том, что вода звенит здесь как нигде. И надолго врезалось название, которое объявили на переправе: «Лепетане!» Его произносят здесь с мягким «е» на конце. Слово такое нежное, трепещущее, детское, как легкий ветерок. И вдруг...

Желтые огни местечка казались теперь сигналами притонов. Они мигали зазывно-разлагающе. Казалось, и в воздухе здесь давяще душно. И запахи странные...

Великая вещь — сила внушения.

Мягкий толчок. Легкое покачивание парома. Взревели моторы. Иванович выскочил задним ходом первый, круто развернулся, застыл. Мы понеслись в Будву.

В «Фонтане» играла музыка. Светящийся ящик странно подрагивал, словно икал. Хриплый женский голос обещал блаженство, которого не бывает. Зорица носилась между столиками. Народу было много. Бледные иностранцы — мужчины в длинных баках и рыжеватых шкиперских бородах, которые казались приклеенными, женщины, почему-то все очень худые, оголенные, с гремящими, как кастаньеты, браслетами.

Глаза у Зорицы были явно красными от слез. Неровно смазанная краска делала ее детское личико еще больше детским, вульгарность сбивалась на трогательную незащищенность, взывала к прощению. Она быстро принесла нам поесть и, не отвечая на шуточки Ивановича, убежала на террасу. Там сегодня, сказали мне, будет играть оркестр. Вскоре иностранцы шумной гурьбой вывалились из «Фонтаны», и стало совсем пусто. Мы перешли пить кофе на террасу.

Вечер был паркий, начал накрапывать и перестал мелкий дождик. Я рассматривал подсвеченные фонарями растения, окружавшие нас. Запах их, пряный, острый, чувствовался и под дождем. Здесь росли олеандр, мимоза, канны, кедр, плакучая ива. Чуть поодаль на маленькой крытой эстрадке сиротливо поблескивали тарелки на барабане.

Кроме нас на террасе сидела за рюмочкой коньяка певица в длинном платье, переждала дождь. В ее усталой и чуточку наигранной позе было что-то и от женщины, пьющей абсент, и от пикассовской трапезы батраков. Не хватало лишь костлявой руки на ее левом плече. Но плечо было готово.

Дождик тускло зарядил надолго. Зорица, всхлипывая, что-то рассказывала в сторонке Миро. Он похлопал ее в утешение и вытер нос Зорицы своим носовым платком. Потом Зорица опрокинула стопку виноградной водки и пошла своей винтообразной походочкой в зал.

— Что с ней? — спросил я.

— Хозяин дал ей пощечину за то, что она не сказала, с кем была после работы. Она говорит: «Мое дело. Его дело — работа». Хозяин предупредил, что выгонит ее, если она не перестанет гулять ночами.

— Что он — за ней волочится?

— Да нет, он старый добрый человек. Говорит только мало. Ему жалко Зорицу. Ей тут голову задуряет каждый. Он ее по-отечески учит.

— Это тот синяк, — понимающе сказал я.

— Верно, — подтвердил Миро, — учит, как может. На разговоры он не мастак. Он знал ее отца. Партизанили вместе. Отец умер лет десять назад... А вот и друг Перо!

К столику подходил, смущенно насупившись, корена-

стый старик. Подошел, погладил усы и протянул, не глядя на меня, узловатую, крепкую руку. Я понял, что это мой будущий хозяин.

— Устали,— сказал он,— отдыхать надо. Такой молодой, а писатель,— почему-то удивился старый Перо, хотя Миро был тоже писатель, а выглядел явно моложе меня. Очевидно, смекнул я, русский писатель должен был, по мнению старика Перо, выглядеть намного презентабельнее — ведь он любил русских беззаветно, и всякая подделка тут не котиновалась. Но все же я был «оттуда», деваться было некуда.

Вопреки прогнозам Миро, старик вовсе не собирався затевать попойки. Он ласково потрепал меня по рукаву и сказал твердо:

— У меня жена весь день ждет гостя. Ему приготовлена лучшая комната, на втором этаже. Там чисто и тихо. Он может писать свои книги у меня, сколько ему понравится.

Миро достал ручку и какой-то бланк и велел Перо подписать его. Старик презрительно отодвинул бумагу и сказал:

— Или ты думаешь, что Перо будет брать деньги с русского?

Он даже поднялся и показался мне много выше, чем раньше.

Он стоял гордо и хмуро смотрел на Миро.

— Ты совсем рехнулся, видно?

Его усадили, успокоили, что денег платить не будут, если он так обижается, и старик сразу же повеселел.

— Разве я каждый день вижу руса? Когда мы воевали, мы видели вас чаще. Так не должно быть. Мы — братья. Для меня большой день сегодня, большой праздник.

Дом Перо был как две капли воды похож на тот, в котором я провел прошлую ночь. Только теперь я подымался на второй этаж. Меня сопровождала хозяйка, добрая, славная, предупредительная женщина.

Комната была чистая, с выходом на балкон. Хозяйка показала мне душевую и пожелала спокойной ночи. Ря-

дом с моей комнатой открылась дверь, и из нее выглянул молодой мужчина в пижаме. Он улыбнулся мне, я — ему. Дверь закрылась. Когда я шел из душевой, открылась еще одна дверь и тут же захлопнулась. Певица из «Фонтаны» была в неглиже и изобразила наигранный испуг. За ее спиной я заметил девочку лет трех. Других дверей не было. Я лег спать.

Кровать была удобной, подушки взбиты, как сливки для торта, но луна в окне и разные мысли не давали мне уснуть. Я вышел на балкон. Тучи давно ушли в горы. Под луной красиво блестели листья на дереве, блестела трава, блестела чья-то роскошная машина, напоминающая ракету, блестели крыши, блеск шел откуда-то из-под земли, ночь светилась и благоухала терпкими запахами цветов, смутно белеющих в тени дома. Мне чудились шепотом произнесенные слова, я прислушивался, но шепот этот то повторялся, то смолкал. Нервы были одновременно и напряжены, и окутаны этим лунным туманом. Состояние такое, как будто слушаешь музыку, — освободиться невозможно, и ты уже другой, не такой, какой был до этого, и кажется — должно что-то произойти непредвиденное, оставив прошлое в таком же смутном, недосказанном тумане лет...

— Не спишь, рус?

Я вздрогнул. Во дворе сидел мой хозяин и курил трубку. Как я его не заметил!

— Спускайся, айда. Такая ночь...

Я спустился к старику Перо. Он показал на стул рядом с собой. Стулья стояли под навесом из вьюнка, который едва начал заплетаться вокруг тонкой проволоки. Сквозь него видны были легкие облачка, просвеченные луной. Лицо Перо было в тени. Выколотив трубку, он сказал:

— Иногда становится не по себе. Вот идет себе жизнь, катится под горку. Ты воевал, потом детей растил, потом камень по камню, — он кивнул на дом, — шею гнул, деньги есть, это правда, а все как в дыму, когда листья жжешь осенью... Горько в горле, и глаза что-то ест... Зачем все это, — он развел руками, — если интереса прежнего нет? Говорят: старый ты, Перо, блажишь, мол... Нет, я знаю, что не то. Я еще могу, я еще не старый. Только скучно мне так жить. Днем, знаешь, рус, можно все делать, нужно делать. Хозяйство, конечно, люблю, не буду врать... Только

не по мне, видно, копить эти динары, когда все уже, кажется, и есть. Я вот книги стал читать, много читаю. Библиотека у меня, рус, можешь посмотреть днем, большая—два осла не увезут! Русские книжки люблю. Там про совесть пишут. Наши тоже читаю. Думаю. И чем больше читаю, тем больше думаю. Почему я раньше, когда молодой был, торопился все, да и время, прямо сказать, не до книжек было? То батрачил, потел, то воевал, кровь лил... А ныне думаю все о сути жизни. Для чего все это,—Перо показал на небо, на край крыши своего дома, на фонарь, к которому слетались большие бабочки, на нас с ним поочередно, потом куда-то в темноту, видно, на сарай с добром, которое он нажил на эти нелегкие динары свои,—все это вокруг?..

Я заинтересовался минорным настроением Перо и готов был услышать еще немало неожиданных признаний, полагая, что это только начало исповеди, но жена Перо строго позвала его в дом, и он поспешно откликнулся на ее зов.

— Да, рус, завтра рано вставать надо, привезут новые двери, надо снять петли старые, потом договориться с шофером о брикетах угля на зиму, потом...

Перо махнул в сердцах и, пожелав мне спокойной ночи, ушел.

### *9 сентября*

В десять часов утра выехали на юг. Маршрут: Святой Стефан, Петровац, Бар, Ульцин.

Святой Стефан — место, расписанное во всех уважающих себя бедекерах. Дорогой связанная с материком часть суши, вокруг которой, куда ни глядь, голубые воды Медитерана... Городок-отель. Все, что над землей, из простого камня и рыжей черепицы — игра в простонародность рыбацкого поселка. Под землей, говорили мне, фантастика сервиса и современной архитектуры. Самый дорогой отель на Адриатике. О Стефане рассказы ведутся вполголоса; рядом обязательно имена известных миллионеров, кинозвезд — падающих, восходящих, закатившихся, но имеющих кошелек. Одна такая милочка с чужим карманом купила на сезон весь отель (читай: весь городок), чтобы насолить более смазливой конкуренткам. Тут царит закон валюты. Просто осмотреть городок даже

с его неказовой надземной стороны стоит десять новых динаров.

Что и было нами сделано. Мы идем по узюсеньким улочкам (после Дубровника эти улицы уже не назовешь узкими, они требуют уменьшительных определений). Иванович обращает мое внимание на приближающуюся к нам пару. Мама и дочь. Мама перезревает на ходу, но эффектность своих готовых сорваться, как яблоки с ветки, плодов не собирается скрывать... Я даже открываю рот. Но плоды проносятся мимо. Дочь в скромном «бикини», мать же в одном золотом шнуручке вокруг бедер, на котором держится позолоченная, средних размеров ракушка. Выше ракушки, как уже отмечено, все натуральное, свое. Обе улыбаются, в руках полотенца. Волосы рассыпаны по плечам.

Иванович говорит, что увидеть можно разное. Он философ.

Улочка приводит к игрушечной часовенке. А где-то далеко внизу — буруны вокруг рифов. Улочка привела к морю. Поворачиваем налево, выходим к тенистому гроту. Водопад натуральный, удачно вмонтированный в искусственный, голубого цвета, бассейн. В шезлонге полулежит еще одна красавица. Рядом с ней на мраморном полу ярких расцветок дайджесты. Ветерок перелистывает страницы. В скале врезан бар. Мужчина в белом смокинге взбивает коктейль. Прямо цветная голливудская лента!

Поскольку я предупрежден, что тут все не по нашим возможностям, сердито предлагаю не глазеть на «изячную жизнь» и двигаться к выходу. Как назло, хочется пить. Мирó говорит, что у выхода есть «божеское» кафе.

Идем по улочкам с прелестным, высокого вкуса оформлением «под старину». Видим, как изредка постояльцы открывают средневековыми ключами дубовые двери рыбацких хижин. Что там, внутри, остается догадываться.

Да, Святой Стефан был рыбацким поселком, старой рыбацкой общиной. Что из него сумела сделать цивилизация, мы примерно видели. Я бы не уделял здесь внимания этой теме, к которой никогда не чувствовал особого интереса, если бы не повальное увлечение молодежи (той, что попроще) незнакомой им стороной жизни — таин-



ственно-знойной и экзотической приманкой приватной жизни сверхбогатых! Она представляется им другой стороной Луны. Боже мой, сколько я понаслышался рассказов о том, что «дозволено» богатому человеку, который не считает жалкие динары и рубли, а только строчит золотым пером по хрустящим страничкам чековых книжек! Сколько журналов кричит со своих лакированных страниц о том же! А какими глазами смотрят с дороги на высокие каменные ворота Святого Стефана десятки и сотни мимо едущих туристов! Женщины — с туманной поволокой мечтательных глаз и напускной презрительностью, мужчины — с виноватыми улыбками и раздражением... На пляже у Святого Стефана, рассказывали мне, рослые и здоровые телом ныряльщики за легким счастьем толкуются в поисках приключений, порой возносящих их на немыслимые еще вчера высоты. Высоты эти, правда, за чужой счет и скоро сменяются монотонными буднями и волчьим ожиданием нового везения... Но такова вообще эта эфемерная жизнь так называемой «легкой» жизни... Стыдная, жалкая доля кусочников!

Едем, утолив жажду телесную в «божеском» кафе, где наценки на воду не безбожны. Дорога идет вдоль моря, погода прекрасная, обгоняем многочисленные машины, туристов, навьюченных, спешащих туда и обратно.

Петровац проезжаем часов в двенадцать.

Белая церковь, как лебедь, на скалистом острове. Море начинает штормить. Иванович хочет кофе, сворачиваем на набережную. Сидим на полупустой площадке кафе. Рядом маленький горец, лет пяти, удивленно показывает дедушке песок в пригоршне, ракушки, веточку водорослей. Впервые на море...

Красные островерхие бакены покачиваются, как поплавки, — издали это похоже на тонущих арлекинов...

Мирослав рассказывает мне, что Петровац знаменит тем, что тут в 1919 году была первая коммунистическая группа, а в 1921-м, впервые на Ядране, взяли силой власть коммунисты...

— Ты этого не знал? Удивительно!

Удивительно было бы, если бы я знал такие подробности.

На конце мола обелиск — трезубец Нептуна.

Гребни перекатываются через мол, звук пушечного выстрела.

На берегу растут пинии — итальянские сосны.

Едем в Бар. Дорога теперь петляет все больше. Возле самого Бара гора Хай-Нехай. Интересуюсь этимологией: турецкая, означает — «Люби—не люби»... Самая высокая вершина здесь Румия. Сейчас гора в черных тучах. Погода портится на глазах.

Бар делится на Старый город и — вдалеке от него — Новый Бар.

Кругом стройки. В Новом — строится огромный порт, будет крупнейшим на Адриатике. Углубляется дно бухты. На рейде стоят большие пароходы. Дороги утыканы разными стрелками: повороты, развороты, запреты, разрешения, ежедневная смена ориентиров — типично современная картина жизни. Перекопанные тонны земли, бурые, черные холмы, экскаваторы, тяжелые грузовозы, рокот машин, где-то гром взрыва.

От природы милостей не ждут. Наоборот, она уже сама просит милостыню.

Как бы испугавшись, дорога выпрямляется и стремительно бежит на восток. Востока уже, впрочем, осталась самая тютелька — вот-вот с разгона упремся в границу. Албания нависла сверху, прижав нас Скадарским озером. Мы — в мешочке, дно которого Ульцин. Туда мы и несемся...

Сглазил... Не несемся уже, а ползем. Дорога мертвая. Тут ее, собственно, почти нет. Тут никто, кроме таких энтузиастов, как мы, не ездит. Проселок, на котором не встретишь даже арбу. Живописный проселок между жидкими албанскими поселками.

За Баром пейзаж странный. Горы похожи на терриконы в нашем Донбассе. Сухие, словно искусственные, осыпи вздымаются по обе стороны дороги. Иногда они похожи на неаккуратные барханы. Много мелких камней. Пейзаж Луны. Редкие, хилые, сухие деревца. Опять палит солнце.

Выходят за плетни албанки в белом до пят. Закрывают рты. Глаза непонятно поблескивают под черными бровями.

Но вот начинается чудесный сон — оливковые рощи. Здесь, кажется, реликтовые оливы, крупнейшая и старейшая в Европе заповедная зона олив, иные достигают 2000 лет! А вот и самая старая в мире олива. Подхожу. На ней висит табличка. Она плохо держится. Временно прикрепляю ее к спине Ивановича, который затих возле куста дрока...

Стволы оливы перекручены до скрипа, все в пробоинах. Эти вечные деревья полны особого очарования в летние дни. В неподвижном воздухе они кажутся замершими минометными разрывами. Рощи олив тянутся на многие десятки километров. Мирослав что-то рассказывает о римлянах, которых иллирийцы побили в этой роще. Не из минометов, конечно.

Я что-то говорю по-сербски. Миро поправляет. А-а, вот почему меня «разгадала» беззубая Зорица! Босняки, черногорцы, хорваты произносят слово «сено», например, как «сиено», долматинцы — «сино» (почти по-украински), а сербы — «сэно»... Да, о сене я и говорил... Мы селились в машину возле стога травы, которую недавно скосили...

Медленно едем дальше. Иванович затянул песню. За албанским поселением на дороге стоят три босоногих мальчика. Один держит корзинку, смешно подняв локоть и упирая край корзины в бедро. Он что-то кричит. Мы останавливаемся. Смоквы! Сладкие, мягкие плоды. Над ними вьются осы, они залетают в машину, и Иванович шлепает газетой по стеклу, бортам, машинально продолжая петь... Миро торгуется с самым горластым. Тот требует прибавки, кричит хрипло и дерзко, словно его обокрали. Миро смеется и медлит. Я хочу сфотографировать их. И вдруг мальчик подбегает ко мне и вопит: «Плати пара!» Я показываю на Миро, но мальчик цепляется за меня и кричит резко-пронзительно: «Плати пара! Плати пара!» Миро, смеясь, объясняет, что мальчик требует вознаграждения за то, что позировал мне... Насилу уезжаем. Ребята бегут за нами, угрожая маленькими черными кулачками, хотя им заплатили с лихвой...

Иванович грустно качает головой:

— Что делается, а? Маленькие торгаши... За все платить... Снял его — плати...

Что говорить, я тоже несколько обескуражен и удивлен. Такое вижу впервые.

— Э, просто цыгане,— говорит Миро и зевает.

Навстречу едут на велосипедах албанки. К торбам на багажнике привязаны яркие зонтики. Поравнявшись, опускают головы и, отняв одну руку от руля, занавешивают краем покрывала губы.

Приехали в Ульцин. Красивый горный городок со старинной крепостью, развалины которой высятся над краем скалы, огибающей бухту. С другого края залива, на высокой же скале, отель «Ядран».

Проехали Старый город, восточный базар. Жители ходят в турецких костюмах, в сербских безрукавках, валамских папах, в расшитых албанских куртках, в турецких шальварах... Издавна многонациональный город, Ульцин привык не сливаться в единое целое, сохранил привычку к самобытности привычек, обычаев, одежды.

Издrevле пиратское гнездо, наводившее страх на венецианских купцов, Ульцин торговал всеми товарами, включая — живой. Говорит история об Ульцине со сдержанным уважением, в котором явственны нотки страха. Пираты здесь начались с алжирцев. Как я столкнулся с историей вплотную, расскажу позже...

Пока наши отдыхали, я решил искупаться в бурном море. Детская романтика. Безобидное честолюбие. Я разделся на ветру, сложил барахлишко в лодке, вытащенной на берег, и вошел в воду. Валы накатывали на галечник с ревом устрашающим. Но на берегу было много народу. Люди сидели на парапете набережной, гуляли в тихой части ее, с подветренной стороны. Бухта маленькая, и один ее край виден с другого. Я поднырнул под гребень и поплыл. Вода была теплее воздуха.

Красота берегов могла сравниться разве что с декорацией в опере Вагнера или Мейербера! Нечто зловещее и в то же время вполне домашнее по размерам. Я несколько шаржирую?

Нет, просто опера всегда производила на меня такое впечатление: я в «масштабы» не верил. Музыка — да. А откроешь глаза — и видны клей и швы. Картонные гроты, фанерные замки никогда не производили на меня должного впечатления. Святого трепета в опере я не испытывал. Тут мне мешают в равной мере и котурны, и ва-

ренье, которое варят Ларины в бессмертном «Онегине». Все это для литавр и скрипок — или слишком напыщенно, или излишне бытово...

Но я отклонился. Тут была не опера. Волны швыряли меня солидно и безо всякой условности. Пора было кончать самоиспытание. У берега я увидел любопытных, которые махали мне руками. Выбираясь и стараясь казаться не очень смешным, так как волны все время упрямо оттаскивали меня назад, помахал им рукой...

Миро сказал потом, что люди сбежались посмотреть, «как купается рус, который не боится холода». Это меня развеселило: было градусов 17, не меньше. Здесь, на юге, оказывается, купаться при такой температуре — почти то же самое, что быть «моржом»! Избаловались потомки пиратов!

Мы немного поболтали ногами, сидя на парапете, слушая разноязыкую музыку речи гуляющей публики, и пошли по тропинке, выющейся вдоль бухты к крепости. По дороге я хотел сделать несколько снимков и порвал пленку. Миро сказал:

— Ничего, поправимо. Я вижу вон там слово «фото».

Своим горским взором из-под полуопущенных век он рассмотрел павильончик, прижавшийся к скале у самого конца набережной. Мы подошли к палатке из крашеного дерева, дверь была открыта, но внутри никого не оказалось. Иванович вызвался заглянуть в ближайшую забегаловку, надеясь, что маэстро коротает там время. Так и оказалось. Через две минуты Иванович уже шел с высоким... негром. Тот вежливо поздоровался с нами и спросил, чем может быть полезен. Негр, говорящий по-сербски, произвел на меня ошеломляющее впечатление. Если бы по-русски, я бы не удивился, но по-сербски!.. Мне казалось, что это странно и удивительно (странность не меньшая!). Негр рассказал, что он родился здесь и уже не помнит, дед или прадед высадились на этом берегу. Как? Наверное, были проданы, спокойно резюмировал он, продолжая орудовать тонкими своими и чуткими пальцами в чреве моего «Зоркого».

— Хорошая техника,— уважительно сказал он о нашей продукции, а деньги взять за услугу отказался. Сдержанно улыбаясь, вежливо проводил нас.

— Насчет его прадеда или там деда,— сказал Ивано-

вич.— Он здесь — род его — три века. Я точно знаю. Их тут несколько человек. Они никогда не были в своей Африке, не ездили туда и не хотят — вот что поразительно! Я согласился, что поразительно.

Из Ульцина меня повезли по направлению к длинным песчаным пляжам. Тут я удивился еще больше, чем тогда, когда познакомился с потомком мавра, похищенного и проданного в рабство и спокойно проявлявшего цветные пленки в курортном городке.

Два миллиона квадратных метров песчаных пляжей здесь отдано... нудистам. Международные «голыши» обоих полов гуляют тут по природе, как в библейском раю.

Мы оставили машину и приблизились к зоне, в которую можно войти любому, но при одном обязательном условии: он должен расстаться с последним фиговым листиком, который еще оставила ему цивилизация.

Мы единогласно решили не экспериментировать, завели мотор и ретировались. По дороге домой я вспомнил прочитанное на эту тему в югославской печати.

В стране уже 23 кемпинга для нудистов. Во многих странах нудисты провели свои акции и добились успеха. Полемика в печати касается не самой идеи нудизма как явления социального и морального, а частных, так сказать, техники организации дела. Например, как быть с отелями, ресторанами, кафе? Пока еще официанты, обслуживающий персонал, — одеты, и это вступает в противоречие с великим уставом племени голых людей. Подчеркивая неравенство, возбуждаешь любопытство. Хотя бы к одетому...

Пока шли эти принципиальные дискуссии, смелые революционеры нудизма обратились к самому папе: как все это расценивает он, глава церкви, как, мол, тут обстоят дела с точки зрения бога? Папа не стал вдаваться в теорию, он послал карабинеров к реке По, где развились первые итальянские эльфы и сильфиды. Сто пятьдесят карабинеров арестовали энтузиастов новой веры и посадили их в «черные вороны» ватиканской полиции.

Иначе подошел к указанной теме голландский епи-

скоп Енсен. «Бог сотворил человека нагим,— не без основания отметил этот служитель культа,— но человек постепенно изменил намерения своего творца, и эволюция разума, конечно, приведет к тому, что он опять вернется к природе и разденется». Это напечатано 16 сентября 1972 года в журнале «Ева и Адам» черным по белому. Очевидно, наступает время великого раскола церкви еще по одному пункту...

Пока что журнал дает гордые цифры наступления своих адептов: статистику, кто на каком месте по количеству раздетых в США, ФРГ, Франции, Австралии и т. д. Одним словом, отстающие да подтянутся! Если бы спросили мое непросвещенное мнение, я сказал бы просто: слушайте епископа Енсена, он прав как никто — железная логика на его стороне,— бог действительно оставил нас голыми, мы сами одевались, для чего нам приходилось и спускаться на грешную землю с веток, и есть уже не только яблоки из рук змея, и разжигать костер, и изобретать палку о двух концах, и колесо, и ракету на Луну... И бюстгальтер, между прочим, «изменял намерения своего творца»... Так много он уже наизменял, человек, что пора и честь знать! Пора,— епископ тут железно прав,— скидывать с себя исподнее; пока не поздно, пора, поплевав на натруженные свои ладони, залезать на ветки обратно — туда, к змиям, яблокам и неведению. А то много об себе представлять начали...

Я лично так думаю, жуя сладкий плод смоквы и похрустывая мягкими крупицами его косточек.

— Черт те чего напридумали,— так примерно, но только по-сербски, подытоживает наши мысли Иванович и, опустив стекло со своей стороны, плюет смачно и выразительно в сторону пляжа.

Миро в молчаливой нашей дискуссии не участвует, улыбается своим мыслям. А может, спит. Веки у него припущены, словно флаги на похоронах...

Пьем кофе в «Калимере», оригинальном ресторанчике на воде. По узкой доске приходишь на свайную постройку, под потолком сходятся сети в виде шатра, на столбах развешаны спасательные круги. Под одним из них сидит женщина с остановившимся взглядом. Маши-

нально отмечаю, что плохой кинорежиссер многое бы дал за эту метафору. А может, продать кому-нибудь?

У меня что-то кружится голова. От кофе горчит в горле. Но закат на воде такой тихий, спокойный, завораживающий. Кулик кричит в камышах. Взлетела утка, и рябь долго успокаивалась на розовом...

Пока принесут новый кофе (его приносили уже раза три), Миро пишет мне на салфетке вопросы. «Когда будет настроение», я должен ответить для какой-то газеты на следующие вопросы: «Что для Вас означает поэзия? Соотношения модерна и традиции в советской поэзии? О журнале «Юность», будущем нашем сотрудничестве. Ваши любимые художники слова?» И еще что-то...

Потом долго думает, морщит лоб и пишет: «А в общем пиши что хочешь!!» — показывает мне написанное, зевает и на мелкие клочки рвет салфетку. Иванович читает газету, вытянув ноги и отвалившись на спинку цветного пластикового кресла. Женщина под спасательным кругом, тряхнув головой, решает жить дальше и начинает красить губы. Официант несет поднос с очередными чашечками и турочками.

...Какая же здесь тишина!

Заправляемся и гоним дальше. У Бара на горизонте начинает плавиться кромка неба. Горы в дымке. Теперь все раскручивается в обратном порядке. Хай-нехай... Село Мишичи, высокий мост, широкая долина слева... Туннель, где наш клаксон ухает и звук множится... Слева внизу остается знакомый уже Петровац. Километров двадцать отмахали — не заметили... Позади вскидываются серо-желтыми разрывами оливковые рощи (перелет!), в фиолетовом мареве тонут вершины гор.

Горы кажутся — впервые! — по-настоящему черными, только скалы, еще освещенные солнцем, почти белые...

Так вот она, Черногория! Црна Гора.

...Плавный поворот. На горе над морем стоит одинокий дом.

— Там живет Светозар Вукманович-Темпо, слышал? — Миро показывает рукой на дом. — Это он поднял



восстание в Македонии против фашистов. Активно поддерживал курс на самоуправление.

...Еще семнадцать километров. Поворот на Святой Стефан. Теперь до Будвы — восемь. Режевичи, Пржно с красивыми отелями внизу. Красные скалы на крутом повороте. Последние огненные лучи заката на камне светятся с дрожью... «Каленово», — читаю на дорожном указателе. Может, оттого и Каленово, что горят на солнце скалы?..

Медленно спускается дорога и сразу одновременно теплеет и темнеет. Проезжаем кемпинги Международного студенческого центра. Еще несколько витков — и показались белые кубы отелей Будвы: «Медитеран», «Беляви», «Белград»...

Будва встречает смесью огней и нерассеявшегося солнечного отсвета за морской далью. Уже темнеет, но как-то не очень решительно. Восемнадцать часов пять минут...

Дома!

...В «Фонтане» своя жизнь. Зорица бегают веселая, шутит, поглядывает украдкой на большие настенные, засиженные мухами, часы. Буфетчик воткнулся в телевизор. Шеф и второй официант сидят с посетителями, обсуждая последние новости. Им не нравится положение на Ближнем Востоке.

А кому нравится?

Не сразу рассмотрел Перо. Старик пьян в дымину. Смотрит и не видит. Он заказывает у Зорицы стопку за стопкой виноградную водку. Больше пить не хочется. Он смотрит на Зорицу, на стопку (девушка стоит у стола, с сочувствием смотрит на Перо), потом медленно и торжественно подымает стопку и выливает себе за расстегнутый ворот рубахи. Зорица хихикает. Потом Перо растирает седую волосатую грудь и шумно вздыхает:

— Пусть хоть пахну как мужчина!

Это философское изречение Перо становится достоянием всего зала. Все смеются и добродушно поглядывают на старика.

В другом углу сидит певица, очень оживленная и нарядная. Рядом — муж с легкой сединой в шикарном гребне и пушистых баках. Он кормит дочку мороженым. Вся семья сияет и лучится. Певица говорит мужу:

— Молим те! — и ласково касается его руки.

Он отвечает ей:

— Молим, драга?

А дочка только повторяет: «Тате, тате, тате...» — и ничего больше, словно смакует это слово, как мороженое, которое течет по ее подбородку.

Замечаю, что стул под Миро скрипит нетерпеливо. Говорю, что пошел спать, оставляю его с Ивановичем. Им явно спать не хочется. Они в новых рубашках...

*10 сентября*

Посещение известного художника Йована Ивановича.

В Будве живет несколько художников. Может быть, по-своему самый любопытный — Иванович. Мы сидим в саду. Алый балдахин с кистями, красное солнце через него пробивается на газон, и трава похожа на палитру — разноцветная. На траве лежит огромная овчарка и ловит лапой осу. Я наблюдаю за ней и слушаю художника. Он молодой, но с полнотой, энергичный и, кажется, немножко заласканный славой. Знаю уже, что о нем много писали. Критик Жорж Будай в «Леттр франсез» причислял стиль его живописи к важнейшим течениям международного искусства; итальянский художественный критик назвал его «Леопарди в живописи», а полотно «Белый горизонт» — шедевром; его хвалили на вернисажах в Италии, Франции, Бельгии, на родине. Идея Леопарди: *enfelicitá* мирового зла, изначально нависшего роком над человеком, — судя по всему, сорокалетнему здоровяку Йовану не очень свойственна. Он, смакуя, пьет виски со льдом, торгуется с рабочими, которые завезли ему шифер, уютно живет на большой двухэтажной вилле, любит спорт, море, — ничто человеческое ему не чуждо... При чем здесь Леопарди, я, честно говоря, не совсем понял.

Но живопись его оставила глубокое впечатление. На втором этаже две большие комнаты — галерея его работ. Я определял бы основной мотив его творчества не как роковую трагедию, а как рождение... моря. Да, именно, моря. Море — главный и единственный герой живописи Ивановича. «Жизнь и море», «После бури», «Женщина и море», «Концерт и море», «Краски моря», «Музыка и море» — это только названия.

Основная черта формы — вихри красок, роение туманных очертаний — намеков на фигуративность. Иногда — больше, иногда — меньше, но почти всегда фигуративный элемент присутствует. Яркие — фиолетовые, сочно-красные, голубые, палевые тона, зелень, переходящая в оттенки серо-коричневого... Из этих клубящихся концентрических мазков вырастают сказки моря, рождается жизнь в темных глубинах, нарождаются тени предметов, намеки на эмбрионы наших чувств, волнующие символы Любви, Женщины, Смерти, Рождения. Чудо искусства Ивановича в том, что нельзя, невозможно оторваться от всматривания в полотно, кроме декоративно-абстрактного эффекта имеющего и глубокий «сюжетный» узел.

Кажется, видишь дно, пронизанное солнцем через громадную толщу тяжелой воды, мерцание звезд, роение жизней... и тут же угадываешь страстные очертания тел, столкновение тугих струй, лабиринт течений, драму жизни, борьбу света и тьмы!

...Иванович размахивает руками, жестикулирует и говорит, пародируя какого-то итальянского критика, добродушно и артистично:

— Пайоно фоске е купе, ле суетеле, ма чэ неллынти-мо иль чиело дель Монтенегро, иль маре дель Монтенегро, киари, лимпиди, инарджентати, вибранти ди люче!..

Жена смеется, Миро смеется, Иванович смеется.

Я улыбаюсь, так как ничего не понял. Но показано как в кино.

Возвращаемся в Титоград, захватили попутно милую женщину, жену начальника титоградской милиции Реджепагича. Зовут ее Наджа. Они мусульмане, говорит мне Миро. Но Наджа курит американские сигареты, и не похоже, чтоб стыдливо опускала чадру. Впрочем, мусульманское чувствуется в другом — сдержанность, какое-то достоинство, с которым она несет то, что именуется «женским началом»... Это объяснить нелегко, но почувствовать можно.

Мы проговорили всю дорогу. Заехали к Реджепагичам на несколько минут, выпить по рюмке коньяку. Ночь уже высыпала звезды над черногорской столицей. За окнами большого особняка Реджепагичей пес гремел цепью, укладываясь спать. В большой прохладной зале, где мы си-

дели, детишки Наджи в длинных рубашечках жались к маме, прощаясь на ночь.

Мне было грустно и хорошо.

Иванович прикрутил звук телевизора, и я видел немую сцену из какой-то пьесы: женщина стояла на коленях перед кем-то, кто был закрыт от меня головой сонного Мирослава, и протягивала к нему руки. То, что сцена была беззвучной, делало ее еще более горькой...

### *11 сентября*

Бранко Баньевич везет меня в горы. Он сидит за рулем и рассказывает о Марко Милянове. Горский воевода, писатель-самоучка, герой войны с турками, он поссорился с владыкой Черногории Николаем I и поселился на горе Медун. Гора эта знаменита тем, что на ней остались последние камни старинной крепости последнего иллирийского царя. Турки разметали, что могли, но циклопические камни крепости, неизвестно как возведенные в древнюю эпоху иллиров, им были не по силам. Они могли только надстроить крепость, перекроить ее внешний облик по своему. Потом время разрушило и турецкие сооружения. А иллирийская основа — фундамент дома Марко Милянова — осталась. Простоят века, если ничего не случится с землей нашей в целом...

Милянов оставил книгу, о которой пишут диссертации философы и этики. Называется она «О чойстве и юнацтве». Чойство — слово, трудно поддающееся переводу. В нем и гуманизм, и человечность, как душевное состояние и духовное начало вообще. Юнацтво — героизм, мужество, но тоже на народной основе. Милянову принадлежит такое, например, определение «чойства»: «Герой тот, кто защищает человека от другого человека. Человек тот, кто защищает другого от себя». Мысль, достойная раздумий и в XX веке. Может быть, особенно в XX!

Подъезжаем к дому Милянова. Останавливаемся прямо над краем пропасти. Задние колеса машины упираются в валун. Бранко спокойно выходит из машины и показывает мне на оком — горы, долина у ног, покатые склоны лесистой горы с другой стороны. Внизу поодаль школа, в долине несколько домиков крестьян. Далеко разносится звон колокольников — стадо пасется у кромки леса. Пахнет дымком.

Дом Милянова одиноко стоит на вершине. Дом — крепость. Обходим его вокруг. С тыла он вообще «безглаз». Осталось несколько узких бойниц. Потом их заложили кирпичом (чтоб не затекал дождь в музей, комментирует Бранко).

Двор обнесен каменным, самодельной кладки, забором. Строил сам Марко Милянов. У входа какие-то углубления в камне.

— Для стока воды? — спрашиваю.

— А, это? Нет... Это интересно тебе будет. Так делали порох. Брали сухой помет, селитру, сердцевину из дерева «лески». В этом углублении толкли смесь. Называется эта ложбинка: «каменица за барут», или «каменица за прах», прах — значит порох, верно?

Дерево. Узнаю его красные плоды.

— Кизил?

— Дриен — так по-нашему. «Тверд, как дриен», — говорят о человеке...

Входим в музей. Беленые стены. Вещи Милянова, портреты, фотографии, оружие, рукописи... К ним сначала. Обращаю внимание на крупный каллиграфический почерк. И на то, что слова почти не разделяются между собой. Но грамотная речь. Образно говорит: «Одиночество безобразно, как слепота или мост, по которому все идут мимо».

— Он выучился грамоте только в пятьдесят два года, — улыбается Бранко. — До этого воевал, некогда было. Эти строки из его стихов.

— Он и поэт был?

— Да. И какой! Мой дядя — Мирко Баньевич, Зогович, Джонович, Ристо Раткович подняли нашу поэзию после Негоша. Народное начало пережило одно время деградацию. Но вот два, пожалуй, человека — Марко Милянов и Любиша из Будвы — не знали фальши, были естественными, подлинными детьми природы в своих высказываниях о жизни. В них патриархальное начало и природный интеллект слились в сплав замечательной, самобытнейшей поэзии...

Читаю еще один стих, вернее двестише, — о власти и человечности:

Власть — что булава на шее,  
Человечность — остается и после пепла власти...

Это говорит человек, облеченный по масштабам Черногории большой властью. Он был, как уже говорилось, воевода целого племени, «кучей». Милянов разгромил турецкое войско под Фундином в 1876 году. Турок было больше в десять раз! (Одновременно Николай дал бой туркам под Волчьим Долом, а Милянов — под Фундином.) Турок пало тысяч двенадцать, черногорцев — всего триста сорок. А в общей сложности участвовало в бою сорокапятитысячное турецкое войско (под командой Махмуд-паши под Фундином на южном фронте и Осман-паши и Мухтар-паши — на северном, против, Николая I). Мухтар-паша пал на Волчьем Доле. Судьба же Осман-паши была по-своему удивительной. О ней стоит рассказать подробнее.

Он учился военному искусству не где-нибудь — в Сен-Сире, известной французской военной школе, основанной в 1808 году, в доме, который был построен еще при Людовике XIV. Кстати, и Николай закончил Сен-Сир примерно в те же самые годы. Может быть, этим и объясняется почти детективный и по-своему романтический поворот сюжета в их отношениях... Осман-паша попал в плен после разгрома турок. Он играл в покер в Цетинье, жил абсолютно свободно. Но однажды пришло сообщение из Турции, что его любимый сын умирает. Николай отпустил Осман-пашу под честное слово. И паша вернулся, похоронив сына. Николай освободил его из плена. Осман-паша больше никогда не воевал с Черногорией. Романтическая эта, рыцарская легенда подтверждается историческими документами.

Рассматриваю пробитое пулями знамя черногорцев. На белом красный квадрат, и в нем крест и инициалы: «Н. I» — Николай Первый. Как же оно изрешечено! Так вот что, оказывается, означали строки поэта Душана Костица, которые я знал давно: «Сердце мое пронзено болєю, как флаг под Фундином...»

...Котел на веригах, в котором великий старец варил пищу, гусли, на которых он играл, подпевая себе в долгие зимние ночи, знаменитый «белокорац» — пистолет с белой, слоновой кости, рукояткой...

— Подарок музею от генерала Динича. До этого было два ложных «белокораца», — смеется Бранко, — фальшивых... Ах, как хотелось выдать свои пистолеты за милянские!..

Вот кремневые пули в ящичке, персидская сабля, которую я долго рассматриваю. На ней надпись: «Султан-царь Аббас, сделал мастер Еседуллак из Персии». Саблю эту Марко Милянов отбил в бою у турка. Столько лет прошло, хранится эта реликвия, не только бранной славы, но и высокого искусства, гордо написал мастер имя свое, не побоялся поставить его рядом с небожителем...

Бранко рассматривает схему сражения, говорит вслух: — Как на Сутеске!

Восторженно находит общий принцип партизанской войны, сам удивляется неожиданному открытию.

Вот до л о м а — торжественный костюм воеводы. Темно-синяя, шита серебром, в разрезах для рук видна красная подкладка.

Вот кубок от английского посла, вот колокол, в который он звонил, когда был совсем стар, вот его книги. Вот первое издание «Горного венца» Негоша издания 1847 года, в Вене, с пометками хозяина; вот книга 1887 года с маркой «град Медун»; календарь «Орао», изданный в Нови-Саде; «Голубка» — черногорский календарь 1903 года (это уже после смерти вышла книга, Марко скончался в 1901 году). Смотрю «Законник Данилы», первого мирского владыки. Ведь при турках скрывали мирскую власть под видом религиозной власти, потому и звались вожди народные владыками церкви... С 1696 года у власти в Черногории находился род Петровичей из племени «негушей». Все Петровичи знали иностранные языки. У государя Василия в XVIII веке была уникальная библиотека, он собрал книги по истории... всех революций!

Рассматриваю материалы первой типографии на юге Европы. До 1496 года было выпущено восемь книг. Здесь были отличные шрифты. Печать в два-три цвета. При Иване Черноевиче (XV век) печатал некто Макария. Так и набиралось внизу титульного листа — «Макария от Черногории». Макария уехал в Валахию (бывшую Румынию), печатал первые книги и там. Сохраняет историческая память и имя Божидача Вуковича. Сорок лет прожил он в Венеции, печатая книги для славян. Умирая, завещал сыну Винченцо перенести прах его к берегам Скадарского озера, в Черногорию.

...Всматриваюсь в портреты Марко Милянова. Красно-

та его мужественна. На портретах он такой же, как на первых дагерротипах, донесших, к счастью, облик воеводы-философа.

У него, говорят, один ус был от природы черный, а другой белый. Брови черные, густые, дугой. Вот он сидит на любимом коне своем Арнауте, подпершись горделиво. Это уже он старый, незадолго до смерти.

— Сильный был,— говорит Бранко,— камни метал с плеча огромные...

А вот женщина, перепоясанная патронташами, в меховой шапке. Дочь Милянова! Милица Милянова воевала как солдат с турками! Крупная, сильная девушка. Стоит с длиннотельным ружьем в руке, за поясом ятаган, пистолеты... Ну-ну!

Еще больше поражен, рассматривая фотографию рядом... Мария, внучка Марко, была, оказывается, женой знаменитого американского архитектора Ллойда Райта, создателя теории «открытого пространства», автора великолепных небоскребов и вилл! Вот чудеса! Но и это не все. Во время балканской войны Мария приехала из Америки, переделась в черногорский костюм и воевала в рядах соотечественников! Кончилась война, залечила рану, оставила у очага долому с запекшейся кровью, длинный чубук, поцеловала саблю и, всплакнув по-бабьи, стала натягивать на себя тонкие чулки, узкую, длинную, по тогдашней моде, юбку в серую крупную клетку, надела шляпку и на пароходе греческой кампании через Италию, на океанском корабле в каюте люкс, отправилась к своему Ллойд Райту, в Америку... Тут и «ну и ну»!— не то будет, не правда ли?..

...А кто этот всадник-красавец? Это сподвижник Марко, друг его, Перо Иванов Попович. В 1874 году он убил бега турецкого, который объявил за голову Марко 50 000 золотом. Узнал об этом Марко, опечалился, сел на Арнаута и поехал в город. Он так поразил турок, что его не трогали, только бежали за ним до самой городской площади. Остановил коня белого у мечети, прокричал три раза:

— Я приехал! Я — Марко Милянов! Бери мою голову!

Бег так струсил от неожиданности, что только смотрел из-за занавески дома своего и молчал. Тогда повернул коня Марко и поскакал назад. Только теперь опомнились



турки, погнались за ним, но не догнать им Арнаута! Быстрее ветра скакал Марко.

...А это кто? Поп Илья. Тоже богатырь, был с Марко под Фундином. Герой. Другой — Лазарь Сочица... Жил он без отца. Вот соберутся на огонек очага герои, станут вспоминать подвиги своих отцов, а Сочица молчит. Было так, что и смеялись над ним, безродным. Он, мол, отца своего не помнит. Видно, мол, трус у него отец был. Никто не помнит его подвигів! Молчал-молчал Лазарь, да и не стерпел, вызвал на бой одного, другого, третьего. Бесстрашный оказался, страшный в гневе, на турках показал, чего стоит его сабля из вороненой стали...

Новак Милошевич тоже легендарная личность. Какой черногорец не помнит этого имени! Ему после Фундина сам русский царь саблю прислал с бриллиантами. Вот она, красавица! Новака спросили: «Сколько ты зарубил в бою?» — «Я считал до двадцати семи, — ответил Новак, — а больше не помню...» Когда умер Новак, над ним пела тужилица. Это плакальщица, значит. (Я вспоминаю книгу плачей черногорских, редчайший документ народной сокровищницы искусства — «Поле ядиково. Антология народных черногорских плачей».) Не всякий заслуживал такого эпического отпевания. О Новаке плачи особенно прекрасны.

...Могила владыки Василия в Петербурге. Не каждый знает, вероятно, что похоронен он у нас рядом с Суворовым.

Умирая, завещал Марко Милянов половину своего дома этого под музей черногорской славы, а остальную половину под школу для детей крестьянских, лес же и поле обширное воевода отдал поселянам-соседям. А себя похоронить велел на вершине Медуна...

Идем туда по крутой тропке. Я нет-нет да и держусь за жесткие ветки кизила — страшная высота. Камни из-под ног сыпятся вниз, и звук их долго слышен.

У ворот ограды долго отпираем заржавевший замок, входим в заросший травой дворик. Могила проста — камень с крестом да имя хозяина Медуна... Ветер здесь злой, резкий. Холодная даль... Отсюда даже дом Милянова кажется маленькой коробочкой внизу.

— А там — Ловчен. Там — Негош...

Бранко смотрит, прищурившись, вдаль. Я ничего не вижу. Только цепи гор, заснеженные шапки скалистых отрогов.

Спускаемся осторожно. Говорим о свободе, о высоте, о чувстве почти орлином, когда ты знаешь, что опасность может быть только внизу, а здесь — покой и воля. Бранко говорит:

— Негош был однажды в Венеции. В соборе ему протянули для поцелуя золотую цепь от креста. Он ответил: «Черногорцы цепей не целуют!»

Здесь издавна рождались очень смелые и вольнолюбивые люди. Я вспоминаю рассказ о детстве Марко Милянова. Когда ему было лет четырнадцать, встретил он за большой каменной могилой, оставшейся еще с иллирийских времен (они зовутся «гомилами»), большого волка. На редкость крупного! Марко был безоружен, но величина волка заставила его сделать все, чтобы тот стал его охотничьей добычей. Такого еще никто не имел на своем счету! И Марко камнем и руками победил зверя. Он снял шкуру и понес продавать ее на рынок в городе. Турок, который хотел приобрести огромную шкуру, спросил, кому удалось убить такого великана. «Мне», — ответил мальчик. Турок стал смеяться над ним, сошлись зеваки, и все стали хохотать, когда турок пересказывал им слова Марко. «Позор!» — мелькнуло в воспаленном сознании мальчика. Он вспыхнул, и не успел никто опомниться, как турок лежал у его ног, а в руке Марко был зажат окровавленный нож...

Мы садимся в машину и едем по каменистой, коварной дороге. Бранко показывает мне на каменные плиты, поставленные вертикально, в виде гигантских шатров. Это, оказывается, и есть гомилы.

— Под могилой Марко, где он встретил волка, нашли потом много ценных вещей иллирийского периода. Там были захоронения, а с покойниками клали их оружие, утварь, украшения, зерно...

Дальше идет поляна с вырубкой, за ней котлован, заросший лесом. Бранко говорит, что за той вырубкой и начинается поле брани, где Милянов остановил, а потом загнал турок в ловушку. Тут была страшная сеча. Долго

еще потом плуг находил кости на своем пути, скрежетал по железу. В потревоженных черепах и позвоночниках до сих пор обнаруживают наконечники стрел и копий, пулевые дыры. А леса пошли в рост на этом месте, как сумасшедшие...

Мимо небольшого поля со стерней дорога приводит нас к краю скалы. Террасой расположена деревня Врбича. Лают собаки. Бранко уходит по тропинке, я остаюсь в машине. Вскоре он возвращается расстроенный. Во Врбиче живет один самостоятельный художник, крестьянин. Он хотел меня с ним познакомить, но тот ушел в соседнюю деревню к родственникам.

Утешаемся тем, что разглядываем историческую скалу Орлиную. Она напротив Врбичы, по ту сторону ущелья. В XVII веке туда загнали турок в одном бою, они прыгали и разбивались...

На обратном пути в Титоград обращаю внимание Бранко на странную цепочку развалин на головокружительной высоте.

— О, это остатки большой стены! Ты ничего не слышал о ней? Она когда-то разделяла Византию и Рим. Вроде Большой Китайской. Еще кое-где можно видеть ее остатки. Как строили ее? Сам удивляюсь. Ведь она шла через хребты, пропасти разделяли ее, отвесные скалы вставали на пути... Ты думал о том, почему люди всегда стремились отгородиться от мира? И это никогда им не удавалось. Оставались дороги, мосты, но рушились стены и крепости. От крепости оставались ворота. Разве что ворота...

— Большая протяженность у этой стены?

— Была она от Приморья до Сербии.

И тут я внезапно вспоминаю, что хотел спросить у Бранко о письме к Петру Великому или о нем, хранящемся в архивах которского раздела исторических документов.

— Ах, это действительно любопытное письмо. Жил в Далмации, кажется, в Которе самом, некто Змаевич, мореход. Что-то у него там вышло, он должен был бежать на север. Попал в Карлсбад — нынешние Карловы Вары. До этого он жил некоторое время и в Царьграде. И вот

откуда-то с дальнего севера, видимо с берегов Северного моря, пишет он письмо брату своему после многолетнего молчания. И в письме сообщает, что в Голландии познакомился в таверне с русским гигантом, который за кружкой пива стал его экзаменовывать по морскому делу и уговорил ехать с собой в далекую Россию, обещая богатство и славу. И вот Змаевич достиг уже и того, и другого... Он — кто бы думал? — и есть тот самый адмирал Измайлов, что командовал русским флотом, бил шведов, а «гигант русский» оказался сам царь Петр!.. Письмо действительно найдено не так давно и не обнародовано, я полагаю, не только в России, но и у нас. Нигде, кроме Черногории. У нас оно напечатано в документах по истории Черногории. Я тебя обязательно с ним познакомлю... А ты знаешь, что Врангель, барон тот самый, похоронен в Белграде?

Не знал.

— Видишь, сколько тебе еще знать надо, — смеется Бранко. — С этим белым бароном еще вот что связано. Был такой Душан Василев, юноша, талантливый поэт-революционер. Он написал стихи против белогвардейцев ваших, клеймил Александра Карагеоргиевича, царя нашего, за то, что принял как родных беглых белых. Они тогда, помнишь, из Крыма и Одессы к нам через Грецию бежали...

Упорно думаю, чем бы отплатить Бранко за его посрамление моей эрудиции. И наконец попадаю в яблочко:

— А ты знаешь, между прочим, что хранится в музее на острове Кошлюн в Далмации?

Первый раз слышит даже название такого острова.

— Их у нас, этих твоих островов, тысячи!

— Но Кошлюн-то единственный!

— Ну, говори, что там?

— Там хранится знаменитая карта Птолемея. Подлинник, между прочим.

Теперь настает очередь Бранко ахать и стонать от удивления.

— А где хранится «Законник царя Душана»? — зарываюсь я.

Но это уже не проходит.

— Это ты у моего сына спроси или у сына Мило-рада — он помоложе... Это, милый, каждый школьник знает.

Ну ладно. Утремся.

Он что-то еще рассказывает мне о некоем Савве Владиславовиче, русском помещике родом из Герцеговины, черногорце по происхождению. Но я как-то теряю нить его рассказа...

Сегодня у нас еще одна поездка с Баньевичем. Он везет меня к Скадарскому озеру. Там мы сидим на воздухе, на террасе загородного ресторана, сиротливо стоящего на берегу озера. Мы совсем одни. Официант приносит обед и уходит. Мы долго любимся тихим закатом. Место редкое по красоте. Дали безоглядные, до горизонта — камыши. Горы голубеют мягким полукругом далеко-далеко. К ресторану идет насыпь километров пяти, не меньше. Кричат дикие голуби. По озеру ходят пеликаны.

Бранко рассказывает о Черногории и ее сынах удивительные вещи. Он говорит, что знает своих предков с XV века, и верно, все пятнадцать поколений перечислены. Говорит, что все черногорцы, как это ни покажется парадоксальным, воевали... чтобы не было войны. Что это качество романтическое! Он говорит, что сейчас начался процесс открытия родины для самих черногорцев. Обнаружено 250 церквей XII—XV веков! Открыто около пятидесяти городов, в том числе легендарный Оболон илирийский, о котором высказывались догадки давно и в различных письменных источниках. Он говорит, что выборжены в Черногории всегда был стихийным пониманием... генетики, так как для защиты рода нужны были здоровые и сильные люди. Говорит, что в 1941 году все мужчины Черногории взяли оружие. Что не было у черногорцев промышленности, учебных заведений. Что сейчас открыты месторождения бокситов, алюминия, что туризм приносит солидную прибыль бюджету республики.

Как-то разговор заходит о войне в Испании. Я узнаю, что много черногорцев воевало тогда на стороне республиканцев. Главным образом интеллигенты, те, что учились в Загребе, Белграде, Любляне. Недавно Бранко путешествовал по югу Франции. Он написал стихи о том времени, ему повезло — он познакомился с людьми, которые прятали испанских беженцев.

— Я приехал в местечко Коллиур, на самой границе

с Испанией. Здесь я обнаружил бывшее местонахождение Мачадо, ведь он умер здесь в январе 1939 года. Я говорил со старухой, которая видела его и говорила с ним последней. Он был очень гордый, сказала она, он отказался оставить испанцев, своих спутников, и пойти к ней...

«Я видела — он очень старый, с ним все говорили с большим уважением. Я знала, что это великий поэт. У меня была маленькая гостиница недалеко от лагеря, где держали испанцев. Они жили на земле, грелись у костров. Он сидел, как большая птица, закутанный в старый плед. У него застывали руки. Все умоляли Мачадо идти ко мне, в теплый дом, но он не хотел. Я предложила еду, он гордо отказался, хотя был голоден, как все. Он знал, что еды мало, что всем все равно не хватит, и отказался быть тут исключением...»

Старуха рассказывала, что люди, переходя границу, говорили, что позади себя они жгли леса. Перейдя границу, они бросали оружие, плакали.

«Это были большие несчастные дети. Мне было страшно жаль их. Я им сочувствовала...» — так говорила она.

— В это время, когда мы сидели с ней на террасе ее домика, — продолжал Бранко, — испанские самолеты все время проносились в воздухе недалеко от границы, и я тогда написал стихи. «Звук, как проволока огня в небе. Возвращаются наши кости из ям смерти и небытия. Звук с головой змеи в небе ползет всю ночь...» Мне казалось, что я вижу все, о чем рассказывает старая француженка... Я видел Мачадо, который все-таки, уже в бреду, позволил себя перенести в дом этой доброй старухи. Тогда она, впрочем, не была старухой... Она поила его с ложечки подогретым вином. Он умер на ее коленях... Не знаю, не путает ли француженка, но она говорит, что с Мачадо была его мать. Она умерла якобы через два дня после Мачадо. «Я буду с ним», — последние ее слова... Мачадо умер шестидесяти четырех лет. Может быть, и вправду мать могла быть с ним?.. Самолеты испанцев летали с Майорки. Это я помню. И звук их слился для меня с рассказом о смерти поэта...

Мы гуляли с Бранко по дороге, обсаженной ивами. В лучах заходящего солнца кони на лугу казались красными. Они ржали и били стреноженными ногами. Их ели

комары, и они резко вскидывали красивые головы. Пастуха не было видно нигде.

Вдруг Бранко закричал и остановил меня. На дороге к нам ползла змея. Он схватил палку — сухую ветку, к счастью лежащую на дороге, и не успел я опомниться, как змея с перебитой головой дергалась в агонии... Бранко поддел ее палкой и забросил в озеро.

— Ядовитая? — спросил я.

— Да. Нам повезло. Она быстрая и прыгает. Негош сказал: «Увидишь змею — убей ее...»

— Сколько раз увидишь, столько раз и убей.

— Да, но увидеть ее трудно и один раз.

— Ты молодец...

— Перовичу скажем, что змея была вот такая, — Бранко показывает распахнутые руки, — он поверит.

— Зачем вы с Милорадом смеетесь над ним? Он очень милый и добрый.

— Мы не смеемся над ним, он наш друг, но Сретен не понимает шуток. И бывает смешным от этого. Потом он очень доверчив.

— Это хорошая и редкая черта, — говорю я серьезно. — Твоя француженка говорила о республиканцах — дети, большие дети... Я думаю, только фашисты никогда не были детьми. Мы воевали с фашистами, не только по возрасту будучи детьми, мы были наивны хорошей наивностью. Все больше, становясь старше, я люблю наивных людей, люблю видеть в человеке веру, свет в глазах...

Бранко иронически улыбался.

Бранко родился в 1933 году...

## *12 сентября*

Я прилетел в Белград в дождь. На аэродроме было мало пассажиров. На огромных самодельных щитах против стоянки автомашин расплывающимися буквами было написано: «Парлов и Спиц — наши герои!», «Спиц и Парлов — герои нашего времени!!»

Только что кончилась олимпиада.

В автобусе было тепло от включенных шофером обогревателя и музыки. Гремела американская песенка, ковбойский лихой свист заглушал тоскливую песню юга (ту-

реющую?), которую слушала сидевшая в моем ряду девушка из персонального транзистора. Волосы из-под шапочки с большим козырьком выбивались влажной волной. Капельки светились. Рядом с ней сидел негр и читал журнал. Негр был молодой. Половину его добродушного лица занимали губы.

Неожиданно нос к носу на улице столкнулся с московской знакомой, которая уже два года, как живет в Белграде,— муж здесь в командировке. Спрашивала меня о Москве и радовалась, будто я рассказываю ей о Мадагаскаре, где все так необычно («Неужели? Да что вы! Скажите! Неужто?») и где каждая новость должна быть почти экзотической. У нее выступали слезы, когда мы вспоминали какой-нибудь угол Никитских и Гоголевского бульвара или черный хлеб, который называется «бородинским»... Я понял, что надо ехать домой и мне, пока я не впал в такую же лирику.

А я уже впадал. Только еще крепился...

И впадал постепенно, рассказывая о Москве, словно я только что оттуда, а не провел уже двадцать дней в Югославии.

В Белграде шел дождь.

*12 сентября 1973*

Ровно год прошел с того дня, когда я завершил свою югославскую одиссею.

Я все еще вспоминаю эту страну и ее людей. Читаю их книги, пишу о них.

Но странная вещь — меня не покидает ощущение какой-то грустной вины перед ними, моими друзьями из Югославии...

Может быть, я больше взял там, чем оставил? Может быть, и дневник мой лишь бледный отблеск того прекрасного пламени, которым озарил мир этот редкий по красоте души, гордый и талантливый народ? Наверное, так.

Но я стал богаче за эти поездки. Старше. И многое, что виделось у себя вблизи смещенным, теперь, издали, кажется ясно и отчетливо.



Я не стал объяснять читателю, что мой дневник не бедкер, не характеристика страны, а история встреч.

Человеческая история встреч. Судеб людей, каждый из которых несет с собою прошлое и будущее.

Иво Андрич сказал о мостах: «Из всего, что воздвигает и строит человек, повинуюсь жизненному инстинкту, на мой взгляд, нет ничего лучше и ценнее мостов. Они важнее, чем дома, священнее храмов, ибо они более общие. Они принадлежат всем и каждому, равные со всеми, нужные, воздвигнутые всегда на месте, где сходится максимальное число человеческих нужд, они более долговечны, чем прочие сооружения...»

И нет ничего удивительного в том, добавлю я, что эти символические мосты приводят людей не только друг к другу — к своему прошлому и общему будущему.

Странная встреча с Петером Майером на Белградском аэровокзале оставила долгий и тягостный след... Я вспомнил войну. Последствия фашизма. Я подумал о молодости своей как бы со стороны. Со стороны н о в о й м о л о д о с т и... И все это отозвалось в этой книге.

Может быть, даже о молодости эта книга? О той, что была и будет...

Потому в ней много предупреждений.

И еще одно...

Как-то в черногорском селе, среди диких скал, над самым обрывом, сидел седой человек и тесал камень. Это была плита для могилы. Своей могилы — здесь так принято, в горах. Принято спокойно готовиться в последнюю дорогу. Шел-шел и пришел. Ничто не драматизируется. Старик смотрел на свою работу с явным одобрением. Даже покачал седой шевелюрой: вот, мол, какой я еще молодец, еще работник!.. А знаете, что было выбито на каменной плите? «Под этим камнем лежат желания человека, они рвутся из-под земли, неосуществленные...»

— Это чьи-то стихи? — спросил я.

— Нет, — отвечали мне, — это он написал. О себе. Каждый пишет себе эпитафию.

Сколько поэзии, сколько горькой поэзии в последних словах старика крестьянина!

И — великая правда.

Время всегда недовольно собой. Желания всегда впереди нас...

Время стремительно двигалось вперед.

...Недавно шел я по темному московскому переулку. Тополь сильно и резко пахнул в свежем воздухе.

Чье-то окно одиноко светилось на шестом этаже. Дом напоминал темный корабль. У подъезда шептались влюбленные. Я нечаянно испугнул их. Парнишка смущенно кашлянул и тихо сказал подружке:

— Одиночный загулявший предок...

На лестнице (лифт не работал) я почувствовал, как сильно колотится сердце. В ногах была тяжесть...

Время стремительно двигалось вперед.

Я сделал продолжительный вдох и заставил себя взбежать по лестнице.

*1970—1973*

*Огнев Владимир Федорович*

## ЮГОСЛАВСКИЙ ДНЕВНИК

М., «Советский писатель», 1975, 296 стр.

План выпуска 1975 г. № 38

Художник *А. Л. Костин*

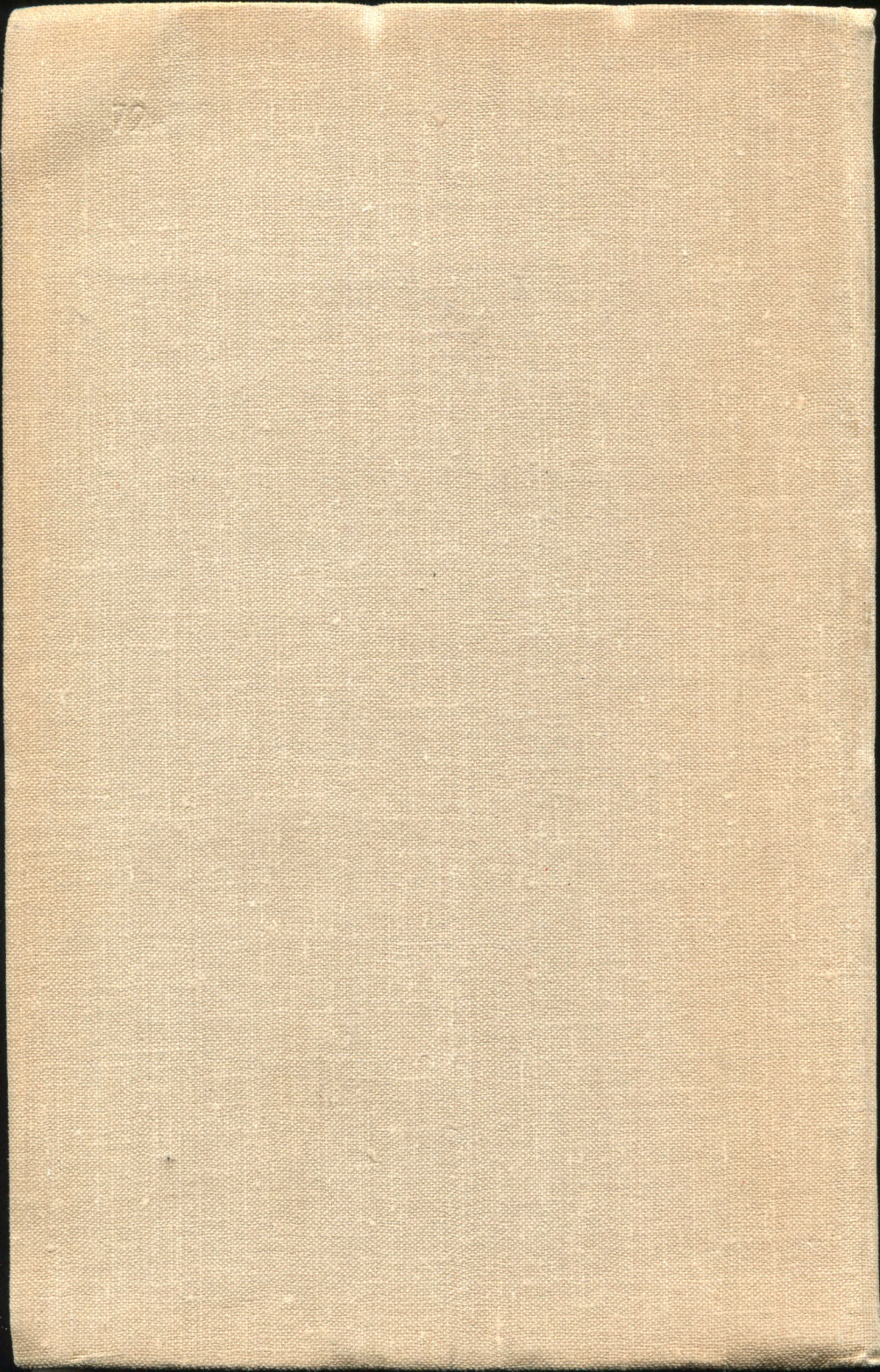
Редактор *В. С. Маканин*

Худож. редактор *В. В. Медведев*

Техн. редактор *А. И. Мордовина*

Корректор *В. Е. Бораненкова*

Сдано в набор 16/I 1975 г. Подписано к печати 26/VI 1975 г. А 02307. Бумага 84×108 1/32 № 1. Печ. л. 9<sup>1</sup>/<sub>4</sub> (15,54). Уч.-изд. л. 15,84. Тираж 30000 экз. Заказ № 146. Цена 72 коп. Издательство «Советский писатель». Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109





ВЛАДИМИР ОГНЕВ

ВЛАДИМИР  
ОГНЕВ

Югослав-  
ский  
Дневник

С